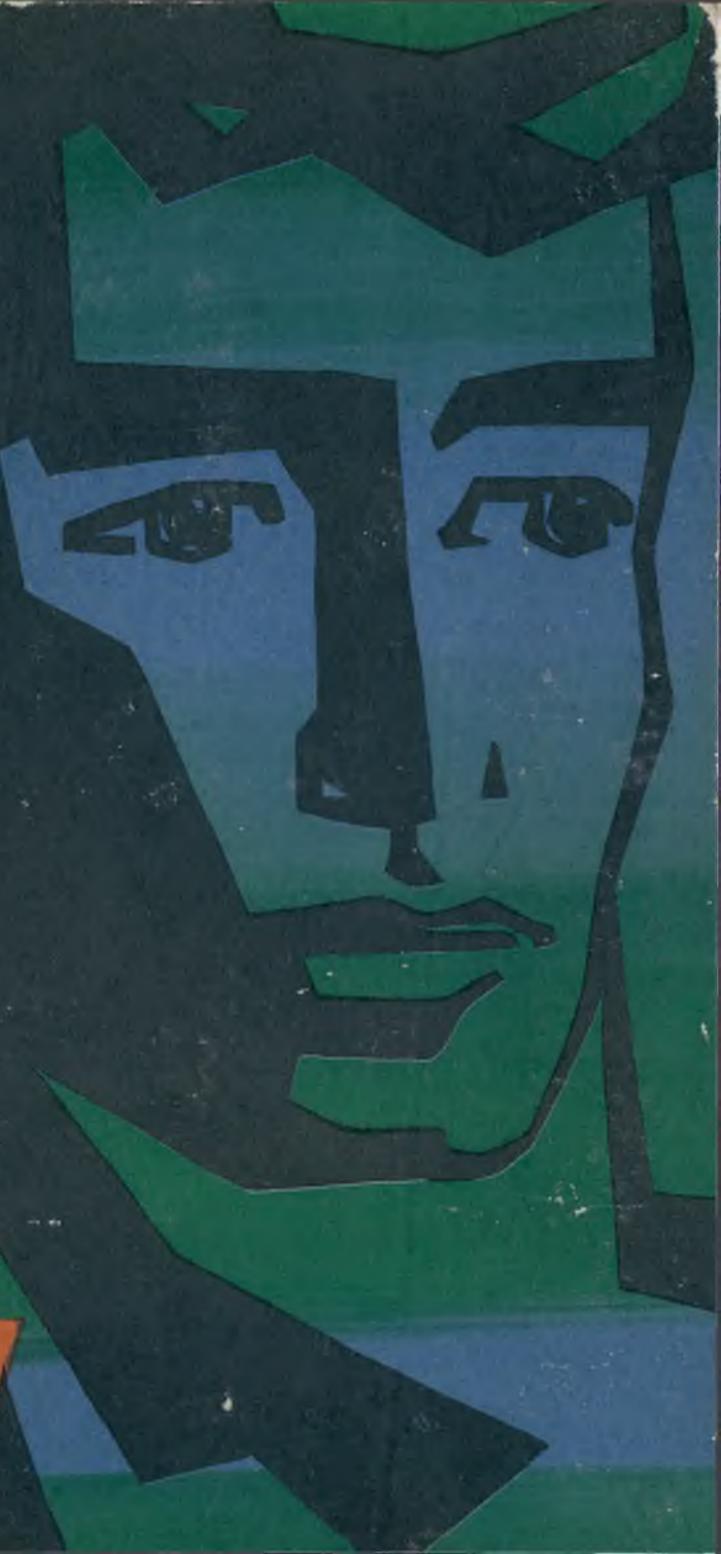


САМОСТІННЯ 1963



ФАНТАС-
ТИКА,
1963
ГОД

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1963

P2
Ф22



Составитель К. АНДРЕЕВ

БЕГ ВРЕМЕНИ

Когда после поездки по Сибири возвращаешься в Москву, все время не можешь отделаться от ощущения, будто побывал в будущем. Реактивный самолет летит в стратосфере; похожие на льдины в ледоход, далеко внизу лежат облака. А когда посмотришь в верхнее хвостовое окно, то видно темно-фиолетовое небо, на котором одновременно сияют косматое малиновое солнце, ясный серп луны и почти уже не мерцающие звезды. И тогда видишь, что живешь на довольно-таки небольшой и плоской планете, которую первый в мире астронавт увидел всю сразу — в голубой дымке, переходящей в черноту, — и все же гораздо более великой и удивительной, чем это казалось в детстве.

Время не движется на этой реактивной машине времени: самолет вылетает из Омска в шесть часов утра и прилетает в Москву тоже в шесть — провожает его все то же утреннее солнце. А когда видишь выступающие из стелющейся ночной мглы высотные дома, лишь до колен погруженные в облака, а выше омытые светом, с затаенным вздохом любуешься ими не потому, что они красивы, но потому, что они тоже наше грядущее; они будут стоять и в третьем тысячелетии.

Но мы бессильно опускаем перо, когда перед на-

ми предстают эти чистые, светлые, просторные дали грядущего: мы не можем войти сквозь широко распахнутую дверь в великолепный новый мир, полный красок, движения и жизни. Представители старшего поколения, безжалостно рассеченного капитализмом на «гуманитариев» и «реалистов», мы уже не можем сложить обе половины разорванного мира. А те, кому выпало редкое счастье собрать вместе то и другое, заплатили за это таким огромным трудом, что на творческий синтез им почти ничего не остается.

Мир не становится старше с каждым столетием. Наоборот, он сейчас юн, как никогда. Мы учили когда-то, что Азия — древняя, а Африка не знает времени. Сейчас же они бушуют и расправляют плечи с гомерическим великолепием.

Детское сознание обладает поразительной силой целостного восприятия. Там, где взрослые анализируют, расчленяют, ребенок не рассуждает, а вбирает в себя все сразу: цвет, звук, запах, материал, движение и, главное, то, ради чего все вещи существуют. Не случайно поэтому на детских рисунках выделено главное, чем живут вещи: солдат состоит преимущественно из штыка, бык — из рогов; машина — всегда мчащаяся, потому что иначе утрачивается смысл ее существования; труба извергает дым, как вулкан, иначе она не труба, а тумба. Но за этой рабочей схемой, где выделено главное, скрывается жизнь мира. Вырастая, мы теряем это ощущение. Так иногда, входя в дом, где провел когда-то детство, в сад, бывший некогда макрокосмосом, поражаешься исчезновению того богатства восприятия, которое делало мир ярким и живущим какой-то скрытой жизнью. Равнодушно переворачиваешь камень, под которым когда-то ловил ящериц, с ленивым любопытством глядишь на дерево, бывшее некогда мачтой, капитанским мостиком, медленно проходишь по дорожкам, не вспоминая те тысячи путей — сквозь кустарник, по верху забора, через крышу сарая, — по которым пробирался когда-то. Такое путешествие по приметам детства похоже на воспоминание о первой любви: помнишь все

до мельчайших подробностей, но не можешь восстановить самого ощущения.

Это целостное восприятие мира, которое составляет счастье детства и как будто навек утерянное, возвращает нам искусство. В его обобщенных образах мы вновь обретаем всю первоначальную прелесть мира, видим всю силу его жизни сразу, во всех ее звеньях. Недаром интуиция художника, вырастающая из огромного опыта не только одного человека, но кол-лективного опыта всего народа или целой эпохи, может быть более точной, чем самый скрупулезный научный анализ.

Да, все великие мастера хорошо знали об этой страшной силе художественного образа, возвращающей нам хотя бы на мгновение целостность и непосредственность восприятия. Разве не заставляют до сих пор сжиматься наши сердца окаменевший полет Самофракийской победы, одна лишь реплика Гамлета: «Умереть — уснуть. Уснуть! И видеть сны, быть может?», блестающие волосы и взгляд «Святой Инессы» Рибера, «мигающие» кварты Шуберта в «Блуждающем огоньке» или страшный выкрик в «Зимнем пути»: «Кружит сердца и гонит прочь!»?

Вот почему нам нужна литература, необходимо искусство. Но ведь писать надо так, как завещал В. Ф. Одоевский в своем дневнике: «Перо пишет плохо, если в чернильницу не прибавить хотя бы несколько капель собственной крови...»

А для этого нужно всегда быть современником своей эпохи — беспрепетно, беспощадно и победно. Только тогда совются обе полы времени — прошлое и будущее, зарубцаются кровоточащий шрам и вернется гипнотическая реальность скрытой жизни вещей.

С тех пор как обезьяна очеловечилась — а учёные утверждают, что за последние тридцать тысяч лет человек биологически почти не изменился, — люди создают произведения искусства. Это значит, что оно было им необходимо. И здесь нужно поставить точку: не могут быть ошибкой триста веков человеческого труда и вдохновения, борьбы и великих побед. Исто-

рия не есть осмысливание бессмыслицы, как утверждал буржуазный философ Базаров. Это повесть о приключениях человеческого рода в поисках социального счастья. А сейчас, когда человек Рассвета стоит на пороге коммунизма, завоеванного трудом и кровью,— разве он забудет свой путь к этому рубежу!

Наскальные и пещерные рисунки первобытного человека поражают беспощадной ясностью, скрытой жизнью вещей, им изображенных. Но он рисовал в темной пещере, где никто не мог восхититься его твореньями. При свете дымного факела, а то и просто пылающей ветки, он высекал и раскрашивал для себя. Он приказывал стреле: «Убей!» Он умолял олена: «Улади». Это была его магия охоты.

Для древних эллинов мир был субстратом, на котором вырастали и искусство и наука; больше того— наука была для них высшим искусством. Недавние обмеры Парфенона показали, с каким поразительным творческим пафосом точности он построен: колонны его имеют разное сечение, толщина их неодинакова, расстояние между ними различное. Это точность не холодной геометрии, а прекрасного живого тела. Вот почему он так трепетно жив до наших дней в отличие от многих других «классических» образцов. В нём воплощен высший синтез чувства и расчета, и не случайно Маркс считал античное искусство высшим и, быть может, неповторимым образцом.

И кошка может смотреть на короля, гласит английская поговорка. Но даже королевская кошка не может глядеться в зеркало: мало кто знает, что животные не понимают зеркальных и живописных изображений. Живая кошка не погонится за нарисованной мышью и не увидит себя даже в королевском стекле. Для этого нужно быть человеком, который обладает пространственным воображением и может абстрагировать зрительный образ от предмета и снова синтезировать из него внешний мир.

Человек борется с природой, но сам он часть природы, ее высшая форма. Именно поэтому так не ограничена его способность к творчеству.

Дочеловеческая природа имела много миллиардов

лет для своего творчества и девяносто два элемента, но она не могла создать крылатого коня Пегаса. Он был создан человеческим воображением, но не синтетическим путем и не методом отдаленной гибридизации. Для этого нужна была живая кровь. Крылатый конь человеческого воображения родился из крови горгоны Медузы, когда Персей отрубил ей голову. Всякий взглянувший в лицо Медузе обращался в камень. Но Персей поступил так, как мог поступить только человек: он до блеска отполировал свой щит, так что мог видеть в нем изображение горгоны без страха — ведь оно было лишь абстракцией! Медуза видеть себя не могла. Но из ее крови родилась человеческая фантазия.

В первые тысячелетия своего существования человечество использовало как материал для искусства лишь тот скучный ассортимент, который природа вяло и нехотя уделяет нашим ограниченным чувствам. Больше того, объявив человека мерой всех вещей, древние греки тем самым наложили запрет на пейзаж и настюроморт, лишь недавно (в историческом плане, конечно) завоевавшие право на существование. Позже «нехудожественной» считалась тема человеческого труда, за которую так яростно сражался художник Парижской коммуны Курбе. А наука? Большая наука, расширявшая нашу вселенную до дальних звезд, воочию увидевшая атомы и живые белковые молекулы? Неужели сейчас, на грани третьего тысячелетия, нужно говорить о ее праве на место — может быть, ведущее место — в искусстве?

Искусство не тень теней, как утверждал когда-то Платон, оно, как и жизнь, всегда конкретно. Но наука — это тоже наша жизнь и живая реальность, и в ней тоже бушует дивная буря красок, звуков и движения.

Она владеет волшебным средством растягивать доли секунды на часы, ускорять, замедлять и обращать вспять время. Она может дать нам рентгеновские или инфракрасные глаза, усилить зрение в миллионы раз и научить видеть атомы и дальние галактики в зрячих и радиолуках!..

Если науку не рассматривать подобно учебнику, как склад и перечень готовых формул и законов, запыленных за много веков и скучных, а уметь видеть в ней полную приключений и романтики погоню за неуловимым, то в ней открывается та поэзия, которая видна самому исследователю, изобретателю, первооткрывателю. Пафос познания, романтика поисков, радость открытия, прелесть изящных математических решений — ведь без этих эмоций немыслим творческий труд ученого. А разве то, что рождено человеческими эмоциями, может быть само лишено эмоций?

Наука не безлична, нет, она всегда связана с именами ученых, с их жизненным подвигом: пространство Эвклида, геометрия Лобачевского, функция Якоби, Абелев интеграл, постоянная Планка, эффект Рамана—Ландсберга...

А ведь за каждым таким именем — буря эмоций, драматические поиски, борьба, неудачи и окончательная победа!

Мир этот совершенно реален, поэтому и искусство, овладевающее этим миром, должно быть реалистическим. Но это иная — высшая реальность, реальность непривычного, необыкновенного. Но она существует, и она ждет умной, доброй и вдохновенной руки мастера!

Почему никто не написал музыки спутника — новой гармонии сфер? Где картины, скульптуры, кинофильмы, театральные постановки, поэмы, раскрывающие этот поистине великолепный новый мир? Скажут: это невозможно. Но говорили же сто лет назад Курбе, что в своих «Каменщиках» он изобразил невозможное. А живым опровержением подобных теорий служит гениальный нестлеровский портрет Павлова, открывающий внутренний мир ученого. Нам, стоящим на пороге коммунизма, нужна и дорога жестокая и человечная вселенная Достоевского, но нам еще нужнее великая вселенная Эйнштейна, в которой мы живем!

Но как обширна она! И могут ли человеческий ум и воображение ее охватить?

Мир не постоянен: он не только расширяется в нашем сознании, он движется от прошлого к будущему со скоростью шестидесяти минут в час.

Мы многое утрачиваем в нашем мире. Забываются знания юности, которые не удалось применить.

Кажется, беднеет наш язык. Исчезли названия лошадиных мастей, а их было больше пятидесяти: каурый конь, чалый, мухортый... Кто помнит их теперь? Остались только: черная и белая лошадь.

В «Песне о Роланде» улыбку вызывают собственные имена рыцарских мечей: Альтеклер, Дюрандаль— ведь в наши дни даже самолеты-лайнеры носят только номера, и астрономы именуют самые блестящие звезды цифрами звездных каталогов.

Никто, кроме искусствоведов, не умеет «читать» картины готических художников XIV—XV веков: ведь их нужно не рассматривать, а читать, как книгу, понимать аллегорический смысл каждого натуралистически выполненного изображения и их внутренние связи.

Становятся непонятными сюжеты многих картин на мифологические и религиозные темы, и они превращаются в своего рода «формалистические» произведения, где зритель любуется композицией, рисунком, колоритом. А ведь они когда-то волновали сердца простых людей именно своим содержанием. Даже «простой», «понятный» Пушкин... Попробуем перечесть сегодня его ранние — чудесные! — стихи:

Плещут волны Флегетона,
Своды тартара дрожат:
Кони бледного Плутона
Быстро к нимфам Пелиона
Из аида бога мчат...

Ведь для молодого человека второй половины нашего века непосредственное ощущение этой поэзии исчезло. Все это ушло вместе с ветром времени, который всегда движется и, вопреки Экклезиасту, никогда не возвращается на круги свои.

Но стали ли мы беднее? Ведь взамен полузабытой греческой мифологии в нашу жизнь вошли подвиги великого Рамы, в ужасной битве за свою похищенную

жену Ситу победившего Равану, царя демонов, пластические образы Махабхараты, огромная и глубокая, как океан, культура Востока, сказочные города-дворцы Индонезии и Камбоджи — Боробудур и Ангкор, величественные и человечные фрески пещер Аджанты, дары целого мира малых и некогда угнетенных народов...

Несмотря на потери, язык наш расширился и обогатился. Словарь науки уже не тот «птичий язык», о котором писал когда-то Герцен, — он властно вторгается в общенародный язык. В нашем детстве мы не знали таких слов, как «дискриминация» или «фестиваль», а сейчас их понимает каждый ребенок. Слова же «совет», «панча шила», «спутник», «лунник» уже не требуют перевода ни на один из языков нашей планеты. Мир переместился в будущее, и молодость властно вступает в свои права — ведь данные последней переписи говорят нам, что почти три четверти населения нашей социалистической страны родилось после Октябрьской революции и более половины населения составляет молодежь, те, кому еще не исполнилось тридцати лет!

И, может быть, нашим школьникам не так уж обязательно знать подробности всех пелопоннесских войн и бесспорно героические деяния Святослава в пределах Тмутараканской земли? Быть может, пора уже начать изучение высшей математики в младших классах средней школы — ведь знание математики не есть привилегия высуги лет: Эварист Галуа, быть может величайший математик мира, умер двадцати одного года!

Молодежь уже скоро начнет обгонять старшее поколение — ведь это юность летит в будущее, это люди рассвета коммунистического дня.

Но старшее поколение строило сегодняшний день, оно и сейчас ведет вперед наш народ и человечество. И пусть у иных из нас стали сухими губы и глаза, но не трещины, а царапины прошли по нашим сердцам, и мы, может быть, более страстно хотим заглянуть за некогда таинственную завесу грядущего. Будущее сейчас — такая же реальность, как прошлое и

настоящее, и мы ждем и от ученых и от писателей жаркого слова о завтрашнем дне.

Архитектура в будущем станет бесконечно разнообразной, она получит в дар от науки бесчисленное разнообразие материалов — то сверкающих всеми цветами, то прозрачных или тускло просвечивающих, то тяжелых и непроницаемых, то легких, пластических и нежных. Техника принесет к ее колыбели небывалые средства возведения, лепки, ковки, спекания и выдувания строений.

Чудесной сетью, причудливо наброшенной на пленительный пейзаж земли, раскинутся ансамбли административных центров, научных городков, жилых районов, детских парков из зелени, цветов, легких построек дворцов культуры, спорта и отдыха. Величественные и массивные здания будут сменяться легко поднимающимися вверх домами из стекла, пластмасс и небывалых еще сплавов и нежными и слабыми на вид, как гнезда птиц или соцветия растений, индивидуальными домами. А гигантские башни из эластичных пленок, наполненных водородом, — маяки, обсерватории, радиомачты, поднимающиеся над землей на десятки километров, — раздвинут пейзаж городов будущего далеко в трех измерениях.

Зеленый цвет растений властно войдет в число архитектурных форм. Покинув парки, деревья войдут внутрь домов, шагнут на террасы и воздушные переходы через улицы, образуя висячие сады. Сверкающее разнотравье, как прибой, захлестнет улицы, пандусы, стены и балконы домов, соперничая с гирляндами вьющихся растений, потоками и фонтанами цветов.

Текущая вода тоже станет одним из элементов архитектуры. Цветная, бушующая, нежно льющаяся, светло-прозрачная и словно сгустившаяся, наполненная живыми водорослями и обитателями моря или освещенная изнутри, она будет падать стенами, взлетать водометами и застывать в нестерпимо сверкающих озерах и глыбах льда.

Живопись, выйдя из музеев и частных коллекций, шагнет в парадные и торжественные залы собраний,

университетов и библиотек и на улицы. Это будет похоже и не похоже на исполненные страсти наскальные изображения и на величие и прелесть росписей Адjanты и даже на огромные фрески и наружную роспись домов современных мексиканских художников, где соединены воедино революционная история с дыханием современности и философия народа с воодушевлением художника.

Как много света будет в этом городе! Свет сольется с архитектурой, сиять будут растения и текущая вода, огненные краски стен, тротуаров и дорог будут запасать днем солнечный свет, чтобы отдавать его ночью. И высоко над прожекторами и маяками, в брызгах затмившихся звезд, будут беззвучно и трепетно сверкать высокочастотные солнца, навеки убившие ночь!

А вся история борьбы, труда и одушевления человечества станет материалом новой скульптуры — иногда циклопической, высеченной из целых гор, обступающих город. Памятники будут вздыматься над площадями и крышами: смутные для нас образы, фигуры и группы, легкие или массивные, навеки окаменевшие или меняющие очертания и цвет.

И даже музыка войдет как составная часть в архитектуру и скульптуру будущего — вспомним, как в древнем Египте статуя Мемнона издавала при восходе солнца музыкальный звук, вспомним дома Греции, увенчанные золовой арфой, поющей под руками ветра.

В не построенных еще городах, о которых мы мечтаем, будут жить обитатели будущего коммунистического мира. Мы до сих пор не умеем еще писать об этих людях, жителях этих полупризрачных городов. Они лишь смутно просвечивают сквозь какие-то фильтры времени, подобные отдаленным горам, размытым голубой дымкой. Мы верим, что над этим миром неминуемо взлетит новая Самофракийская победа, воплотившая мысль и вдохновение человечества, — смелая и неуклонная, словно почтовый голубь, точная, как луч локатора, чистая и сверкающая, как пламя! Мы знаем, что это будет.

Великолепное кипение жизни, бушующей вокруг нас, с ее чистыми и просторными далями, игрой света и теней, нежной прелестью красок, трудом и вдохновением людей, ищет выраженья в искусстве и литературе. Но отражается она не как в плоском раболепном зеркале, а в живых образах, полных света и движения: искусство ведь не осколок стекла, в котором отражается солнце, а сверкающий алмаз, гравированный человеческой рукой.

Подлинная современная фантастика, в какие бы одежды она ни рядилась, это окружающая нас необыкновенная реальность, а не выдумка или игра ума. Авторы сборника «Фантастика, 1963 год» борются именно за такую, реалистическую фантастику, в новых формах отражающую сверкающее великоление нашей жизни.

В наши дни мы присутствуем при расцвете научно-фантастической литературы, но не полеты в космос вызвали к ней такой интерес, не холодное пламя плазмы с электронной температурой в миллионы градусов, не атомные корабли и подводные лодки. Научно-фантастическую книгу взял в руки читатель — сам конструктор космических кораблей и строитель атомных электростанций, ученый-теоретик и инженер-экспериментатор. Это тот читатель, который не только своими руками создает мир будущего, но и хочет сейчас, сегодня видеть облик грядущего во всей его славе и великолепии!

В Советской стране учится каждый четвертый человек. И в каком бы вузе или техникуме он ни числился, какие бы курсы, кружки или лекции он ни посещал, он учится главному: коммунизму. Это то знамя, которое ведет всех нас вперед и увлекает за собой время, поток которого в наши дни ощущается почти физически. Поэтому именно в нашей стране научная фантастика должна расцвести с особенно пышным великолепием. И истекший литературный год — лишь один из дней ранней весны, обещающей нам пышное цветение лета.

Одним лишь перечнем вышедших книг и опубликованных рассказов, хотя бы и очень длинным, нельзя характеризовать фантастику наших дней. Она качественно стала совсем иной: из детского чтения она превратилась в один из отрядов огромной советской литературы — на равных с другими правах.

Советская литература, советское искусство — новаторские по своему существу. Научная фантастика, естественно, не может быть иной: она ведь не обращается к прошлому, а в настоящем ищет главным образом то, что таит в себе зародыши будущего. Ее темы — работа ученых на самом переднем крае науки, ее герои — лучшие люди сегодняшнего дня, но освобожденные от бремени материальных забот, от наследия капитализма, от жестокой угрозы чудовищной войны. Поскольку фантастика вырастает из сегодняшнего дня, она реалистична в своей основе. Но ее языки, образы, герои иные, чем у бытового романа. Ведь нельзя описывать борьбу за завоевание высокотемпературной плазмы языком Тургенева. В этой литературе новый читатель хочет видеть себя, свой труд, свою славу и свои жестокие поражения, закаляющие его для дальнейшей борьбы. Читатель хочет знать все о мире, в котором он живет, и о своем месте в нем, и о завтрашнем дне. И фантастика за все в ответе!

Как видим, высокой и суровой мерой должны мы оценивать сегодня нашу научную фантастику. Это радостно и тревожно. Радостно потому, что великое счастье быть нужным своей эпохе, и бесконечно трудно для писателей, так как им приходится идти неторным путем.

Когда пишут о научной фантастике Жюля Верна, обычно констатируют, что все без исключения научные прогнозы знаменитого писателя осуществлены в наши дни. Но если мы обратимся к произведениям наших современников, составляющим основной фонд нашей литературы этого жанра, к книгам А. Толстого, А. Беляева, С. Беляева, Г. Адамова, Ф. Кандыбы, и еще ближе — к романам и повестям Ю. Долгушкина, И. Ефремова, А. Казанцева, В. Немцова, В. Бра-

гина, Н. Лукина, то увидим, что и здесь осуществлено очень многое, может, не совсем так или даже совсем не так, но мечта стала действительностью. Однако читатели ждут нового прорыва в Неведомое. И здесь за пролагателями первых неторных путей вступает в бой второй эшелон писателей.

Разными путями приходят в литературу новые авторы подобного рода книг. В наши дни — это чаще всего молодежь из научно-исследовательских институтов и лабораторий, с производства. Иным путем шел Геннадий Гор. Давно сложившийся писатель, автор многих книг взялся за фантастическую тему потому, что не мог в иной форме воплотить свою идею, до конца раскрыть свою тему.

До сих пор, быть может, несколько схематически научно-фантастическая литература делилась на два направления. Авторы, идущие в фарватере Жюля Верна, занимались главным образом технической фантастикой, писатели, развивающие традиции Герберта Уэллса, — фантастикой социальной. Крупнейший мастер научно-фантастической литературы наших дней польский писатель Станислав Лем создает третье направление — фантастику философскую. Представителем этого направления в нашей советской литературе стал Геннадий Гор.

Один из героев повести Гора, археолог Ветров, при раскопках наталкивается на странный череп, принадлежащий, по-видимому, космическому пришельцу. Однако фантастическая находка гибнет от немецкой бомбы в первый же день войны. Поиски других остатков неведомой космической экспедиции, посетившей некогда Землю, и борьба с учеными-догматиками, объявившими находку фальсификацией, и составляют основное реалистическое содержание книги.

Второй фантастический сюжет — история Путешественника (как он назван в повести) — разворачивается одновременно в прошлом и отдаленном будущем. В прошлом, поскольку Путешественник посетил нашу планету в эпоху неандертальского человека, в будущем, потому что планета Анейдау, родина космонавта, намного обогнала в своем развитии на-

шу Землю. Анализ проблем пространства и времени и составляет философское содержание повести.

Философская проблема времени и взаимоотношений с ним человека вообще интересует Гора. Этой проблеме посвящена вторая его повесть «Странник и время», опубликованная в прошлом году.

Одной из интересных книг года нужно считать фантастическую повесть А. и Б. Стругацких «Возвращение», имеющую подзаголовок «Полдень. ХХII век».

«Возвращение» братьев Стругацких никак не отнесешь в разряд утопий. Это даже не повесть, а серия рассказов, связанных несколькими проходящими героями и общей темой: Земля в ХХII веке, в эпоху полного расцвета коммунистического общества. Авторы нарисовали яркую картину чудесного, светлого мира, где жить и работать чертовски весело и интересно, где чем дальше, тем больше нерешенных проблем. Но ведь именно в этом и есть бесконечная прелест нашей суматошной и неповторимой жизни!

1962 год для А. и Б. Стругацких плодотворен. Три произведения, опубликованных в этом году и не «проходных», а принципиально новых, — своеобразный литературный рекорд! Одна книга уже была названа. Две другие — повести «Стажеры» и «Попытка к бегству».

Последняя повесть ставит новую, очень важную проблему: мещанство как социальная база фашизма, проблема перехода к коммунизму отсталых народов и племен. То, что действие перенесено в ХХII век и одновременно герой находится в заключении в немецком концлагере, придает повести братьев Стругацких необыкновенную современность и остроту.

Два писателя бакинца, Е. Войсунский и И. Луцкодьянов, порадовали всех любителей научной фантастики великолепным дебютом. Читатель вместе с героями отправляется путешествовать по петровской России, по Индии первой половины XVII века, плавает по Каспийскому морю на яхте «Меконг». Но всегда и везде он сталкивается с самыми последними проблемами сегодняшнего дня: с поверхностны-

ми явлениями, с проницаемостью, со всем тем, что упомянуто в подзаголовке «Экипажа «Меконга»: «Книга о новейших фантастических открытиях и старинных происшествиях, о тайнах вещества и о многих приключениях на суше и на море».

Но как бы ни были интересны и современны проблемы, затронутые в книге Е. Войскунского и И. Лукодьянова, главное в ней все же люди. Они нарисованы ярко, выпукло, смелыми штрихами, со всеми их достоинствами и недостатками. Вместо гениальных изобретателей-одиночек, столь привычных и столь надоевших всем любителям научной фантастики, мы видим здесь целые коллективы, лаборатории, институты. Вместо бородатых профессоров, вешающих прописные истины, — молодые люди, веселые, чуть озорные, смело вторгающиеся в запретные, казалось бы, области, не боящиеся ошибок, которых немало выпадает на их долю, и — никогда не отступающие и поэтому достойные победы. Самые высокие, самые отвлеченные области науки и вопросы наущной практики, инженерные проблемы сегодняшнего дня смело перемешаны в этой интересной новаторской книге.

Анатолий Днепров сравнительно недавно выступил в литературе, но он уже прочно занял место в научной фантастике. Его рассказ «Суэма» — один из лучших в советской фантастике. В текущем году вышла в свет новая книга его рассказов «Мир, в котором я исчез», небольшая по объему, но очень значительная по тем проблемам, которые в ней затрагиваются. А. Днепров — наиболее читаемый писатель в среде молодых ученых: физиков, математиков, кибернетиков. Объясняется это тем, что в его остро-сюжетных рассказах затрагиваются сложнейшие философские проблемы современного естествознания. Рассказы «Мир, в котором я исчез» — о кибернетическом моделировании капиталистической экономики — и «Игра» — о жарко дискутируемой проблеме «Может ли машина мыслить?» — являются большими удачами писателя.

Можно, конечно, продолжить перечень вышедших

в 1962 году научно-фантастических книг, опубликованных рассказов. Но гораздо важнее отметить те существенные черты, которые отличают новую фантастику, рождающуюся и бурно развивающуюся на наших глазах, от литературы этого жанра, впервые появившейся в двадцатых-тридцатых годах, как и литературы следующего поколения, вышедшего на поля литературных сражений в сороковые-пятидесятые годы.

В процессе роста меняется сам жанр фантастики. В нашей стране она вновь родилась после революции на скрещении путей литературы научно-популярной и литературы приключенческой. Пережитки этих генетических линий иногда сильно чувствуются и в наши дни. Об этом направлении до сих пор не может забыть критика, которая если и занимается фантастикой, то лишь как одним из методов «занимательной популяризации». Отсюда подмена анализа художественной ткани произведений, системы образов, характеров героев, языка рассуждениями о тех научных проблемах, которые затрагивают и по-своему решают писатели. Отсюда и оценка фантастики лишь как одной из ветвей детской литературы, с непонятной «спецификой» и обязательным схематизмом героев и бедностью образов и языка, «неизбежными» в этом «ущербном» жанре.

А советская фантастика живет и борется не за внимание читателей — этого ей не надо завоевывать, — а за законное место в общем потоке большой литературы, сражающейся за построение коммунистического общества и воспитание гармонического человека завтрашнего дня.

Новая фантастика, как ее хочется назвать, не является ни выдумкой, ни привилегией молодых писателей. Ее мастера — И. Ефремов, Г. Гор, А. Глебов, Л. Лагин — принадлежат к старшему поколению. К ним относятся и такие писатели, как Александр Полещук, автор книг «Звездный человек», «Великое делание» и «Ошибка Алексея Алексеева»; Владимир Савченко, написавший очень интересную повесть «Черные звезды»; Игорь Забелин. Они активно рабо-

тают, на письменных столах их лежат новые рукописи, которых с нетерпением ждут читатели.

А дальше идут Илья Варшавский, Север Гансовский, Глеб Анфилов и многие другие молодые авторы. У них еще нет отдельных книг, но книги эти уже в портфелях издательств и вскоре увидят свет.

Илья Варшавский выступил в литературе очень недавно, но уже много его рассказов появилось в периодической печати. Своеобразный, острый, иронический рассказчик, он работает в жанре сатирическом, полемическом, а то и просто пародийном. Его рассказ «Роби» («Наука и жизнь») — один из самых ярких памфлетов этого года. И не случайно его другой рассказ, «Индекс-81», отмечен премией на международном конкурсе.

Север Гансовский публикуется сравнительно мало, но он уже имеет свой стиль, свой почерк. «Хозяин бухты» («Мир приключений») по научной идее и по своим литературным достоинствам очень интересен.

Интересными рассказами дебютировали в жанре научной фантастики молодые авторы М. Емцев и Е. Парнов. Умение работать над формой, найти то центральное событие, которое позволяет сконцентрировать на малой площади большое содержание, позволяет надеяться на интересный сборник рассказов, который они готовят.

Молодые авторы, берущиеся за перо, всегда должны помнить, что большая литература — это литература больших идей, не научно-технических, а прежде всего социальных, психологических, этических. И произведение научно-фантастическое должно создаваться по тем же законам, что и любое другое произведение художественной литературы: сюжетно завершенно; психологически оправданно, по стилю и языку оно должно быть совершенное и образное.

В сборнике «Фантастика, 1963 год» собраны разные произведения разных писателей — представителей старшего и младшего поколений и рядом с ними рассказы авторов начинающих, публикующихся впер-

вые. Но всех их объединяет одно — стремление отразить реальную, окружающую нас необыкновенную жизнь, нашу великолепную современность, бесконечный и победоносный бег времени!

Перед всеми поколениями, перед всем нашим народом, людьми, чьи лица освещены светом будущего, новые вершины, иногда покрытые снегом, но всегда освещенные солнцем, и новые трудности, которые нужно одолеть. И в одном строю со всеми, кто сражается за коммунизм, находятся и советские писатели, работающие во всех жанрах, в том числе и в жанре научно-фантастическом. Молодая фантастика полна сил. Она наступает, она борется, она непобедима, потому что за ней будущее.

УРАВНЕНИЕ С БЛЕДНОГО НЕПТУНА

Профессор Крабовский был одинок. Детей у него не было, жена умерла много лет назад. Всю свою непрастраченную любовь, соединенную с ревнивой ста-риковской привязанностью, профессор перенес на племянника Марка. Родители Марка погибли в одном из звездных рейсов, когда мальчику было четыре года. Ворчливый и педантичный ученый, высокий и тощий, как Дон-Кихот, стал для Марка отцом, учителем и няней одновременно.

Когда Марк подрос и обзавелся первыми в своей жизни друзьями, профессор испытал щемящее чувство ревности. Вопреки логике непоседливые мальчишки с изодранными коленками и визгливые девчонки, чьи косички напоминали крысиные хвостики, почему-то значили для Марка неизмеримо больше, чем тихие вечерние часы, проведенные в неторопливой беседе с ним, дядей.

Профессор хотел воспитать из племянника мыслителя, точного и кропотливого исследователя. Чтобы дисциплинировать жадный и впечатлительный ум ребенка, профессор (кстати, вопреки советам учителей школы первой ступени, куда осенью должен был пойти Марк) начал обучать его латыни.

И как смущен и растерян был ученый, когда Марк, вместо того чтобы прочесть знаменитую речь

Цицерона, начинавшуюся словами «О темпора, о морес», захлебываясь от счастья, пропел:

Эне, бене, рабе,
Квинтер, минтер, жабе.
Эне, бене, рес,
Квинтер, минтер, жес.

— Это меня Нинка научила! — сказал мальчик, переводя дух.

Профессор обиделся, но не подал виду. Он пытался вспомнить свое детство, но на него повеяло чем-то смутным и неуловимым. Как запах, который никак не можешь понять.

Профессор всегда старался быть сдержаным в своих чувствах. Он не расточал мальчику ласковых слов, не закармливал его сладостями. Но когда Марк засыпал, Крабовский на цыпочках подходил к его постели и осторожно касался сухими губами горячего детского лба.

Про себя профессор уже четко определил весь жизненный путь племянника. Мысленно он видел Марка в лекционном зале среди студентов или представлял его своим ассистентом. Самым способным учеником, о котором не переставал мечтать с того дня, как впервые почувствовал усталость. Крабовский даже вообразил себя сгорбленным, седым стариком, торжественно передающим кафедру молодому, полному сил преемнику. Но все вышло совсем иначе.

Марк никогда не будет профессором университета. Он избрал другой путь... Может быть, лучший. Даже, наверное, лучший, но другой.»

Старик сидит у себя в кабинете. Уже вечер, но он не зажигает света. Ему грустно и обидно. Вот уже скоро две недели, как Марк вернулся на Землю. Но все еще не удосужился зайти домой. Лишь два раза его лицо на минуту мелькнуло на экране видеофона. Мелькнуло и исчезло. Крабовскому показалось, что Марк выглядит немного странно. На лице его ясно читались смущение и тревога. «Отчего бы это? —

думает старик и тут же решает: — Наверное, чувствует себя виноватым...»

Крабовский не видел Марка почти семь лет. Когда он провожал племянника на Фомальгаут, то мысленно прощался с ним навсегда. «Сорок шесть световых лет, — с горечью думал профессор, — он слегка постареет, а я умру».

Конечно, Крабовский знал о новой теории Бруно Райша. Но он был человеком старой закалки, воспитанным на классике Эйнштейна и Гейзенберга. Временной парадокс Райша, основанный на торможении тела в собственном гравитационном поле, профессор считал блестящей математической формалистикой, не более.

Но Райш оказался прав: Марк вернулся и застал старика в живых.

«Люди перехитрили время, а я должен уйти на покой, — казнит себя Крабовский. — Я постарел, не заметно превратился в консерватора и... наверное, скоро потеряю контакт со студентами... Такова жизнь, как говорят французы».

Крабовский смотрит в темное окно, где проносятся наполненные светом машины, мелькают фиолетовые вспышки энергораздатчиков.

Ему кажется, что где-то в глубине памяти так же вот внезапно вспыхивают воспоминания о давно прошедших днях. Вспыхивают и гаснут в черной неподвижной воде невеселых старческих мыслей.

Звякнула открывшаяся дверь. Крабовский не шевельнулся, не сделал попытку зажечь свет и пригласить редкие седые пряди. Пусть все будет, как есть. Но в сердце Крабовского произошла великая перемена. В резонанс с открываемой дверью в нем зазвучала неслышимая для посторонних победная симфония радости, наполненная пением медных труб, громом литавров и расцвеченная пурпурными клубами.

И старик понял, что Марк наконец-то дома.

— Ну что же ты молчишь, мой мальчик? — бодро и весело говорит Крабовский.

— Я не знаю, с чего начать, дядя, — как-то не-

уверенно отвечает Марк. Он смущенно улыбается, мнется и умолкает.

Старик помнит Марка прямым, даже немножко грубоватым, и ему непонятны эти неожиданные колебания и неуверенность.

— Ты что, боишься сообщить мне неприятную новость?

— Неприятную новость? Но о чем? — как будто искренне удивляется Марк.

— Тогда рассказывай!

— Мы так давно не виделись, дядя...

— Ну, вырази свою радость по поводу нашей встречи в одной короткой фразе и рассказывай.

Марк улыбнулся. Шумно вздохнул, будто проглатывая какую-то тяжесть, и начал рассказывать.

— Фомальгаут была выбрана нами не совсем случайно. Эта звезда...

— Альфа Южной Рыбы, светимость шестнадцать солнц, спектральный класс А3, семь планет, — перебил Крабовский племянника. — Все это я знаю! Избавь меня от ненужной информации. В моем возрасте это вредно. Расскажи только самое главное.

— Хорошо, дядя, — покорно согласился Марк. — Ты только не прерывай меня. Ты не сердись. Я знаю, о чем должен рассказать тебе... Так вот! Наша задача состояла в экспериментальной проверке гравиконцентраторов и в установлении параметров Райша. Фомальгаут была выбрана не случайно. Она не так уж далека от нашей системы, и вместе с тем дважды по двадцать три световых года — вполне достаточный путь, чтобы проверить справедливость нестационарного следствия причинной релятивистской теории...

Ну, ты об этом уже знаешь, шли мы с постоянным ускорением, приблизительно соответствующим силе тяжести. Сразу же за границами Системы мы утроили ускорение и включили концентраторы. Создаваемое звездолетом круговое гравитационное поле вытянулось и сосредоточилось у него на пути. Мы, таким образом, все время должны были преодолевать собственное тяготение. Приборы звездолета сейчас же

зарегистрировали эффект! Но мы не могли знать, как идут часы на Земле, и поэтому, лишь вернувшись на Землю и увидев знакомые лица, мы поняли, что опыт удался. Но главное не в этом. Тем более что все уже известно из информационных передач психосвязи.

Марк замолчал. Невидящим взглядом уставился он в окно. Кто знает, какие видения проплывали тогда перед ним! Крабовский выждал немного, потом спросил:

— А что же главное, мой мальчик? Вы привезли людям великую победу... Что может быть важнее?

Марк встрепенулся. Его бледные щеки заалели. От недавней растерянности и скованности не осталось и следа. Он резко встал, прошелся по кабинету и остановился у Крабовского за спиной.

— Только не считай меня сумасшедшим, дядя. Я расскажу тебе такое... Об этом еще никто не знает...

Марк замолчал, точно собираясь с мыслями.

Крабовский иронически улыбнулся. Он хотел поблагодарить племянника за доверие, но сдержался.

— Так вот, — опять начал Марк, — почти три года собственного времени шли мы на Фомальгаут. Когда мы уже стали явственно ощущать тяготение звезды в три солнечные массы, наш командир Алик Вревский приказал мне сбросить напряжение с гравиконцентраторов. Потом мы включили двигатели и в состоянии невесомости уравняли свое поле с изогравами ближайшей планеты. Мы обследовали все семь планет. Пять из них оказались похожими на Юпитер. Плотные газовые шары, раздиаемые электромагнитными бурями. Внешняя планета — я невольно ищу аналогий — несколько походила на Луну: холодное небесное тело, почти лишенное атмосферы. И только одна бледно-зеленая планета, четвертая от звезды, показалась нам более или менее интересной.

Когда мы легли на круговую орбиту, то нам почудилось, что вся поверхность планеты представляёт собой единый зеленоватый океан.

Приборы показывали, что температура на Бледном Нептуне, так мы назвали планету, сто девяносто—двести градусов ниже нуля. Вода в жидким состоянии при такой температуре существовать не может: Поэтому мы сделали вполне естественное предположение, что океан состоит из какого-то сжиженного газа... Так оно и оказалось. Спектральные исследования подтвердили, что под нами бушуют и пенятся волны жидкого азота. На семнадцатом или восемнадцатом витке вокруг Бледного Нептуна мы разглядели огромный остров. Совершенно ровное серо-свинцовое плато площадью, наверное, в две или даже в три Гренландии.

Я было предложил спуститься и обследовать остров, но капитан нашел, что никакого интереса он для нас не представляет и единственное, что можно сделать, это еще немного снизиться. Капитан был, по сути, прав, и я не стал возражать. Мы приблизились к азотному океану. До его поверхности оставалось каких-нибудь сорок километров. И тут я заметил, что береговая линия острова светится мертвенным желто-зеленым светом.

Капитан решил послать разведывательную ракету. Я вылетел в ракете один.

В воздухе носились белые игольчатые хлопья. Была ли то замерзшая вода или метан, углекислота, аммиак, углеводороды — не знаю. Меня интересовало только свечение. Когда до суши оставалось всего четыре километра, раздался легкий звон. Машина сообщила мне, что Р-В-Т соотношения* изучены и проанализирован спектр свечения. Я нажал кнопку, и из окошка выскочила еще теплая фрелоновая лента с цифрами. Все оказалось довольно тривиальным. На границах раздела твердого тела и жидкого азота физические условия были как раз такими, когда плотность жидкого азота становится равной плотности азота-газа. Различия между фазами исчезли, поверхностное натяжение стало равным нулю, и на-

* Основные термодинамические параметры состояния.

ступило критическое состояние, сопровождаемое опалесценцией.

Я был разочарован. Запечатлев азотное море и остров на кристаллах синемапамяти, я вернулся на звездолет.

Марк замолчал. Крабовский слушал его рассказ, не поворачивая головы, хотя ему было неприятно, что рассказчик стоит у него за спиной, а не сидит напротив. Воспользовавшись паузой, он повернулся и спросил:

— Ну, а что было дальше?

Как будто угадав его чувства, Марк опустился в кресло.

— Потом мы отправились в обратный путь, — сказал он и вновь замолк.

— Ну и что?

— И все. Больше ничего не было... Только уже здесь, на Земле, готовя доклад отделению физико-математических наук Академии, я изготовил несколько отпечатков с запечатленных в блоках синемапамяти картин.

Крабовскому опять показалось, что Марк испытывает какую-то мучительную борьбу с самим собой.

— Послушай, Марк, послушай старика, мальчик, если тебе трудно сказать мне правду, не говори. Я не обижусь. Но если ты решил поделиться со мной своей тайной, то... В общем я всегда пойму тебя.

Крабовский умолк, чтобы не высказать слишком много из того, что накопилось у него в сердце за долгие годы одиночества и ожидания.

— Я знаю это, дядя, — тихо сказал Марк, — но... Это случилось в тот момент, когда моя разведракета возвращалась на звездолет. У меня было чудесное настроение. Я тихо настыпал что-то очень веселое... Это был узкий пучок какой-то лучистой энергии. Он возник откуда-то из пространства; не с поверхности Бледного Нептуна. В этом я уверен. Тихо зажужжал моторчик синемапамяти. Кибера включили ее сами, без меня. Они запрограммированы на всякие неожиданности... Потом началась цепь глупейших ошибок и нелепых случайностей. То ли по

легкомыслию, то ли еще почему, сейчас я сам не понимаю, но я не заинтересовался этим явлением. Может быть, я решил, что за ним кроется такая же простая физическая сущность, как и за свечением критического азота? Не знаю. Но это была моя основная ошибка. Решил, что энергетический луч какое-нибудь метеорное явление в атмосфере Бледного Нептуна, я не проанализировал его спектр и, главное, до самой Земли не прокрутил запись на экране синемапамяти! А она хранила удивительные вещи. Одна формула чего стоит. Она написана нашими, земными математическими символами! Она и знакома и не знакома нам. Первый член такой же, как в уравнении Дирака-Гейзенberга. Впрочем, смотри сам...

Резким движением Марк достал из кармана пачку снимков и бросил их Крабовскому на колени. Профессор же не мог даже рта закрыть, настолько ошеломительным был смысл залпом обрушившихся на него слов. Он никогда еще не попадал в столь нелепое, прямо-таки неестественное положение. Марк, видимо, понял состояние дяди, так как сам, вероятно, пережил нечто подобное.

— Знаешь что, дядя, — сказал он ласково, — ты посмотри снимки один, успокойся, подумай, я приду к тебе завтра утром.

Марк настолько быстро выскочил из кабинета, что Крабовский не успел бы удержать его, даже если бы захотел.

Вот уже четыре часа профессор разглядывает снимки. На них изображены смятые, небрежно исписанные листки бумаги с математическими выкладками. Последняя формула заключена в рамку. Вероятно, это конечный вид уравнения.

$$\sum_{\gamma=1}^4 \delta_{\gamma} \frac{\partial \Psi}{\partial x_{\gamma}} + K \left(\frac{\partial R_1}{\partial R_2} \right)_{\tau} \Psi + \lambda \Psi^3 = 0$$

Есть только три уравнения, которые похожи на эту формулу. Чтобы вспомнить их, Крабовскому не нужно листать справочники или запрашивать электронную память. Он мог бы написать их с закрытыми глазами. Профессор записывает уравнения на отдельных листках и укладывает эти листки рядом со снимками Марка.

Порыв ветра распахивает форточку. В кабинет врывается прохладное и свежее дыхание марта. Но Крабовский не замечает ничего вокруг. Им завладело прошлое; ураганным вихрем оно ворвалось в мозг и понеслось по невидимым полочкам памяти.

Профессор смотрит на уравнения, грызет пластмассовый наконечник ручки и рассуждает вслух — привычка, появившаяся у него за годы одиночества:

— Прежде всего линейное уравнение Дирака, описывающее поведение дебройлевских спинорных Ψ -волн электронов. Вот оно:

$$\sum_{\gamma=1}^4 \gamma_y \frac{\partial \Psi}{\partial x_y} + \frac{2\pi mc}{\hbar} \Psi = 0.$$

Первый член этого уравнения и таинственной формулы совпадает. В 1938 году Иваненко применил дираковское уравнение для описания первичной материи. Новый вариант отличался от предыдущего наличием нелинейного члена:

$$\lambda \Psi^3$$

Оно записано на втором листочке:

$$\sum_{\gamma=1}^4 \gamma_y \frac{\partial \Psi}{\partial x_y} + \frac{2\pi mc}{\hbar} \Psi + \lambda \Psi^3 = 0.$$

Этот вариант еще более напоминает формулу с Бледного Нептуна. Оба уравнения совершенно однозначны относительно волновой функции Ψ . Разница лишь во втором члене.

Наконец, есть еще одно и тоже нелинейное уравнение. В прошедшие времена его называли «Уравнением Мира» или просто уравнением Гейзенберга:

$$\sum_{\gamma=1}^4 \chi_\gamma \frac{\partial \Psi}{\partial \chi_\gamma} + \lambda \Psi^3 = 0,$$

Здесь второй член вообще выброшен. А первый и третий одинаковы с уравнением, изображенным на снимке. Вот и все, что я знаю об уравнении с Бледного Нептуна. Если это не мистификация, не грубая и нелепая ошибка, то... я не знаю, что это! Как могло попасть земное и вместе с тем никому не известное на Земле уравнение в чужую звездную систему? Нет, это совершенно невозможно! Но все же... От этого буквально раскалывается голова.

Крабовский закрыл глаза руками и попытался сосредоточиться. Потом он неторопливо поднялся из-за стола и прошелся по кабинету. Так ничего и не придумав, он вновь возвратился к столу. Промучившись еще часа два, он придвинул к себе аппарат видеотелефонной связи и набрал номер кафедры. На экране возникло полное красивое лицо аспиранта Володи Волкова.

— Здравствуйте, Володя...

Юноша улыбнулся и поздоровался.

— Володя, я сегодня себя плохо чувствую и не смогу быть на семинаре. Попросите Александра Максимовича, чтобы он меня заменил... И вот еще что... я сейчас дам вам одну формулу. Поезжайте с ней в вычислительный центр, пусть ее срочно закодируют. Потом зайдите в Центральное хранение и отдайте им код с алгоритмами.

Володя кивнул и заверил Крабовского, что все сделает самым тщательным образом.

— Евгений Владимирович, — спросил он смущенно, — вы еще не прочли мой автореферат?

— Вы знаете, Володя, — сказал Крабовский, — еще нет, не прочел. Но он лежит у меня на столе сверху. На этой неделе я обязательно прочту.

Володя закивал головой и стал уверять шефа, что ему совсем не к спеху, что он просто так спросил и Евгений Владимирович может не беспокоиться. Но Крабовский прекрасно понимал, что аспирантский срок истекает и Володе нужно спешить с защитой диссертации. Понимал, но... времени на все не хватало, и все сильнее напоминали о себе годы.

— Я обязательно прочтү, Володя, обязательно. А вы... как только получите в Центральном хранении ответ, немедленно вызовите меня. Хорошо?

Крабовский быстро написал формулу на белом фрелоновом листке и положил его на экран. Через минуту он выключил аппарат, принял капли и прилег на кушетку.

Он подумал, что все-таки нужно будет прочесть Володин автореферат.

* * *

Звонок резко и бесцеремонно ворвался в тяжелый и путаный сон. Какую-то долю секунды Крабовский не мог понять, где он находится и что с ним происходит. Вновь зазвенел звонок и помог ему преодолеть мучительную границу между кошмаром и явью.

Крабовский открыл глаза. В комнате было сумрачно и скучно. Окна были залиты водянистой синью осеннего вечера. Он подошел к аппарату и включил его. Это вызывал Володя. Он только что получил в Центральном хранении уже обработанную карту с ответом на запрос по поводу формулы с Бледного Нептуна. Володя что-то говорил Крабовскому, но профессор не понимал и не слышал его слов. Его глаза, не отрываясь, следили за широкой белой лентой с перфорированными краями, которую Володя держал в руке. Наконец Володя положил ленту на экран. Крабовский увеличил частоту строк и освещенность. Сразу же бросились в глаза знакомые с юности фамилии.

Крабовский опять поймал себя на том, что читает ленту вслух.

— Так, так, — шептал он, — 1925 год. Луи де Бройль постулировал, что первичная материя должна быть, во-первых, спинорной, а во-вторых, обладать спином, равным половине.

Все было хорошо знакомо: Дирак, Иваненко, Бродский, Мирианашвили, Курделайдзе, Вернер Гейзенберг. После 1958 года ничего нового не было сделано. На экране прыгали чистые строчки. Профессор разочарованно вздохнул. Но вот пошли примечания к запросу. Опять знакомые имена творцов геометрического единства мира: Вейль, Эдингтон, Картан, Калюца... Наконец Эйнштейн, Фок, Марков.

Мелькали строчки, наполненные фамилиями, датами и наименованиями источников. Напряжение ожидания, с которым Крабовский следил за первыми строками, исчезло. Он уже спокойно проглядывал длинный список, надеясь, что тот скоро кончится.

— Ага, вот и конец! — пробурчал Крабовский.

И тут его взгляд вцепился и выхватил из мелькания букв незнакомую фамилию.

Виктор Мандельблат, 1938 год, нигде не опубликовано (об этом говорило отверстие, пробитое на третьей линии), источник: личный архив профессора истории Оксфордского университета Чарлза Кронфорда. Лондон, Блумсбери, 6/12.

Вот и все.

На экране вновь появилось улыбающееся красивое лицо Володи.

— Володя! Закажите-ка мне билет в Лондон... Я бы мог вылететь... ну, хотя бы завтра утром... Да, именно утром... Большое спасибо, Володя!

Крабовский выключил аппарат и вновь включил его. Соединившись с секретарем, он попросил его разыскать племянника.

Потом профессор опустился в кресло и в раздумье забарабанил пальцами по столу. Света он не зажигал. В потемках как-то свободнее думается. А обдумать нужно было многое. Крабовский так и не определил своего отношения к формуле с Бледного Нептуна. Он хотел на некоторое время избавить себя от мучительной оценки и необходимости сделать

правильный и скорый выбор. Он любил работать не торопясь, со вкусом и добираться до всего постепенно.

Но больше откладывать разговор с самим собой он не мог. От него требовалось так немного: ясно и четко ответить на вопрос, верит ли он в ту совершенную невероятную историю, которую поведал Марк. Да или нет? Профессор всегда был немножко нерешителен. Альтернативы его пугали. Но если он видел, что иного выхода нет, то заставлял себя принять твердое решение. После этого отступления назад для него уже не существовало. За этой чертой уже не было места колебаниям.

«Итак, верю или не верю? — мысленно спрашивал себя Крабовский. — Теперь никуда не увишь, нужно принять решение. Ну что ж, раз иного выхода нет, попробуем разложить все по полочкам».

Крабовский взял лист фрелона и провел вертикальную черту. Слева он написал «за», справа — «против».

«Посмотрим, где окажется сальдо», — подумал Крабовский, собираясь написать первое слово.

И тут ему в голову пришла превосходная мысль.

Он даже удивился, что подумал об этом только сейчас.

По существу, профессор пытался обмануть самого себя. Он искал повода, чтобы уйти от окончательного решения. Если бы дело шло только о научной стороне вопроса, он бы не колебался. Но проблема лично для него, Крабовского, была гораздо шире и сложнее, чем для любого другого исследователя. К альтернативе «верю ли я в формулу с Бледного Нептуна или нет» примешивалось и мучительное чувство любви к Марку.

«Я не могу поверить в эту формулу, — думал профессор, — не могу! Но это значит, что я не верю Марку! Сомневаюсь в нем и в его отношении ко мне».

Поэтому Крабовский все время пытался уйти от решения или хотя бы оттянуть его на неопределённый срок.

А подумал он вот о чем: «Почему Марк не поделился своим открытием с товарищами? С Александром Вревским и астронавигатором Шубенко? Ведь это не только естественно, но и единственно верно. Иначе нельзя! Нужно обо всем расспросить Марка. А там посмотрим!..»

«Все-таки почему он им ничего не сказал? Или сказал? Конечно, ему могло что-нибудь помешать... Вревский как будто заболел и остался в госпитале на Луне. Да, это нужно будет выяснить».

Крабовский сразу повеселел. Он облегченно вздохнул, включил осветительные панели и пододвинул к себе снимки, чтобы еще раз тщательно их просмотреть.

Марк вернулся уже поздно вечером. Он выглядел очень усталым, но держался гораздо увереннее и тверже, чем утром. Вероятно, он успокоился и успел о многом поразмыслить. Крабовский поймал себя на том, что заранее предвзято относится к Марку. Точно собирается в логическом единоборстве уличить его во лжи.

— Ты, наверное, уже собираешься укладываться, дядя? — спросил Марк, входя в кабинет.

— Нет, Марк. Ты же знаешь, что я ложусь очень поздно. Нам нужно поговорить.

Марк направился к креслу.

— Скажи, мой мальчик, — спросил Крабовский, как только Марк сел, — что думают по поводу всего этого твои товарищи?

Марк неопределенно пожал плечами и как-то смущенно и нерешительно промямлил:

— Алик тяжело заболел сразу же после того, как мы возвратились в Систему. Мы оставили его у Вортерса на восьмом Лунном космодроме... Как только его состояние улучшится, я ему обязательно сообщу.

— А Шубенко?

— С ним я говорил... Позавчера.

— Ну?

— Все это очень сложно, дядя. Мне трудно тебе объяснить! Во всем этом нет ни малейшей логики... Совсем иные, не знаю, как это выразить...

Крабовский чувствовал, что Марк говорит с трудом, борется с чем-то для него неприятным.

— Здесь совсем иные мотивы, — продолжал он уже какой-то скороговоркой, точно перескочив через невидимое препятствие, — все очень сложно...

— Я отказываюсь тебя понимать, — сухо сказал Крабовский.

В нем постепенно росло раздражение. Он хотел еще что-то добавить, вероятно, более резкое, но Марк остановил его жестом руки.

— Шубенко не хочет об этом ничего знать! — сказал он твердо и зло. — Эх, если бы Алик был здоров! Шубенко какой-то скользкий тип... Понимаешь, дядя, он очень всем заинтересовался, все смотрел и высматривал, а потом сказал, что нам лучше обо всем этом молчать. По крайней мере некоторое время.

— Но почему? — тут уж Крабовский действительно ничего не мог понять.

— Ах, дядя! Почему, почему... Да разве ты веришь этому? Даже ты! Вот Шубенко и считает, что незачем набрасывать тень недоверия на наш великолепный эксперимент по проверке следствия Райша. Все равно нам никто не поверит. Этому ведь просто нельзя поверить, невозможно. А доказательств никаких!

— Позволь, а это? — возразил Крабовский, указывая на пачку снимков.

Марк безнадежно махнул рукой.

— Снимки — это не доказательство... Наш агрегат синемапамяти не запломбирован.

— То есть как это? — Крабовский все еще ничего не мог понять.

«Час от часу не легче, — думал он, — синемапамять перед отлетом пломбируется, а пломбу может снять лишь доверенное лицо Академии наук. Да и то только на Земле».

— Тут целое сплетение нелепых случайностей, — продолжал Марк. — Я не знаю, как это получилось. Но Алик был не осторожен. Он попал под облучение.

— Как это случилось?

— Я не знаю. Я дежурил у гравилокаторов, и был очень занят. Когда я вернулся в салон, то Алик лежал с окровавленной головой на полу. Агрегат синемапамяти был тоже разбит... Почти вдребезги. Я поднял Шубенко. Он к тому времени уже седьмые сутки находился в анабиозе. Алик только раз пришел в себя. И то ненадолго. Он сказал, что внезапно ослеп и упал. Я спросил его, чем он занимался до того, как упал. Алик ответил, что собирался уложить синемапамять в контейнер абсолютной жесткости, куда только что отправил катушки с записью.

— Зачем он собирался это сделать?

— Так всегда делают при подходе к Системе. Мало ли что может с нами случиться... Документы должны уцелеть... На чем я остановился?

— Что Алик вдруг ослеп, стоя у агрегата, и упал.

— Ах, да! Я спросил его, где он попал под облучение.

— А почему ты думаешь, что это облучение?

— Я исследовал глазное дно. Анализ латентных изменений свидетельствует о мгновенном лучевом ударе.

— Нейтроны?

— Нет, скорее ро-мезоны. Мы стали думать, где это могло произойти. Алик ничего не мог припомнить. Лишь однажды, это было еще на Бледном Нептуне, когда я летал на разведракете над островом, Алик вышел в пространство. Он хотел, как говорит-ся, подышать свежим воздухом. Никакой опасности в этом не было, так как на нем был скафандр высшей защиты. Тут-то он и почувствовал мгновенную вспышку и резь в глазах, это было как раз над островом, но так как все сразу же прошло, он не обратил на это внимания.

— Но ты же сам говоришь, что на нем был скафандр высшей защиты!

— Эта защита хороша против чего угодно, но не против ро-мезонов. В природных распадах они не встречаются, вот и не предусмотрели фильтра... Ведь это тоже загадка: откуда на проклятом острове ис-

точник ро-лучей? Сейчас мне начинает казаться, что Алик пострадал от того самого пучка лучистой энергии...

— Да, действительно стечеие обстоятельств... Так что же было дальше?

— Алик опять впал в забытье. Мы оставили его на Луне... Вотерс говорит, что он выздоровеет и будет жить и наслаждаться. Но не раньше чем через год.

— Ну, хорошо, положим, что Алик разбил прибор, как же ты получил эти снимки?

Марк хотел вспылить. Крабовский видел это по его лицу. Но он все же сдержался и медленно, растягивая слова, ответил:

— Агрегат синемапамяти можно разбить. Но алмазно-индиеевые блоки памяти неуничтожимы. Я вынул их из груды исковерканных обломков и положил в карман.

— Ну и превосходно! На них есть номера, и ты мог их сдать на Луне сразу же после посадки!

— Ах, дядя! Конечно, мог! Но я забыл. Я был слишком взволнован несчастием с Аликом. Я просто доложил, что агрегат разбит... Пойми, что, если бы не эти проклятые формулы, ни у кого бы и не возникла мысль обвинить меня в... шарлатанстве, что ли... Ну, забыл сдать память от разбитого прибора! Какой в этом грех? О, если бы я знал, что хранится в этой памяти, тогда бы... я просто не смог забыть ее сдать. Но мне казалось, что мы не везем совершенно ничего интересного, кроме результатов эксперимента, к которым синагрегат не имеет никакого отношения... Это действительно порочный круг нелепых случайностей! Прав Шубенко, что нужно молчать, прав!

— Ну и молчал бы себе! Кто тебя за язык тянет?

— Дядя! Ну зачем ты так? Ты же прекрасно знаешь, что, увидев такое, я не могу молчать. Шубенко может, а я не могу! И Алик бы не смог, и ты бы тоже не смог.

— Да, ты прав, конечно...

— И, главное, что никто не может помочь! Проклятая шутка теории вероятности. Самый исключи-

тельный, самый дичайший факт за всю историю Земли, и ни одного формального доказательства! Ты не думай, что я отчаиваюсь, я буду бороться, ух, как я буду бороться! Землю рыть буду. Мне просто очень обидно, что все так получилось...

— Я понимаю и постараюсь тебе помочь. У меня есть одна зацепка... Правда, она может неожиданно оборваться и никуда не привести... Ну что ж, тогда подождем выздоровления Вревского. Он подтвердит, что разбил прибор в пути.

— Это ничего не даст. — Марк безнадежно махнул рукой. — Ну и что же, что разбил? Блоки-то я не сдал! Мало ли что я мог с ними сделать на Земле за эти дни?

— Как тебе не стыдно! Неужели ты думаешь, что кто-нибудь будет тебя подозревать? Это...

— Ты про факт вспомни, дядя, про факт! Ведь только сумасшедший может поверить в эти земные формулы, привезенные из другой звездной системы! Только сумасшедший... Если бы что-нибудь иное! Конечно, никто бы не стал оскорблять подозрением исследователя. Здесь же все по-другому! В это просто нельзя поверить. Нужны безупречные факты.

— Да, положение... Ну как бы там ни было, а блоки ты обязан сдать и включи формулу в свой доклад отделению. Уж здесь-то других решений быть не может. Поверят или не поверят, это дело другого рода. А перед самим собой ты должен быть безупречен. А пока давай, знаешь, что сделаем? Поедем ко мне в университет.

— Зачем?

— У меня превосходная синемаустановка, мы прокрутим на ней твои блоки.

— Я наизусть помню все, что там записано. Хоть сейчас могу рассказать.

— Я хочу все видеть сам. Понимаешь? Сам!

Сначала на параболическом экране синагрегата появилась яркая световая линия. Она была тонкой и сплошной, точно струна. Потом она начала расши-

ряться и расслаиваться, как веревка, на отдельные волокна.

И Крабовский увидел внутреннюю поверхность огромного цилиндра. Всего на миг. На сотую долю мига! Он даже успел различить контуры какой-то огромной нелепой машины. Такие металлические рептилии жили в те времена, когда люди еще не знали ни молекулярной, ни атомной электроники. Наука о строении атома тогда только лишь зарождалась, не было ни квантовых генераторов, ни полупроводников, Ландау только начал работать над теорией сверхтекучести гелия-II.

Потом Крабовский увидел... руки! Огромные мужские руки. Тонкие нервные пальцы с чуть заметным пушком. Они разглаживали смятые, небрежно оторванные листки бумаги. Эти листки он уже видел на снимках, которые принес Марк. Крабовский узнал неровный торопливый почерк неведомого автора таинственного варианта формулы единого поля.

Мог ли профессор знать, что скоро опять увидит этот почерк и никогда уже не сможет его забыть...

На экране дрожали мятые, небрежно исписанные листки. Потом они осветились, точно стали зеркалами, в которые упало солнце. Где-то внутри металлической рептилии вспыхнуло пламя. Оно вырвалось из машины упругим бичом и заплясало вдоль цилиндрических стен молниеподобными кольцами и спиралями. И все исчезло.

На экране был мрак космических бездн и незнакомые контуры далеких созвездий.

Крабовский был потрясен и озадачен. То, что он увидел, ошеломило его и обрадовало, как может ошеломить и обрадовать ученого встреча с Неизвестным. И вместе с тем Крабовский ни на миллиметр не приблизился к решению. Он в одно мгновение увидел очень многое и не узнал ничего.

Марк молчал, и Крабовский был благодарен ему за это. «Слишком много впечатлений за один день! — думал он. — Как бы не лопнули предохранители. Мне уже под восемьдесят...»

Нужно было ехать домой... Утром Крабовскому предстояло лететь в Лондон на встречу... Но он старался не думать о том, что его ожидало в Лондоне.

* * *

Уже не первый раз Крабовский осторожно разворачивает лист грубой, со следами дерева, бумаги. Когда-то она висела на стене. Об этом говорят следы клейстера и штукатурки. Это отголосок эпохи величайшего варварства и памятник высокого мужества.

Типографская краска местами смазана. Потемнело и стало неясным лицо человека. Высокий, с залысинами лоб, темные впадины на щеках, внимательные умные глаза. Все это лишь смутно угадывается под пятнами и подтеками, которые оставило время.

Под фотографией огромным типографским шрифтом набрано пятизначное число — 10 000. Потом идет помельче: «10 000 рейхсмарок лицу, которое может указать местопребывание Мартина Рилле, он же доктор физики Виктор Мандельблат, разыскиваемого имперским управлением безопасности».

Крабовский с трудом перевел это со старого датского языка.

Есть еще и тетрадь. Нечто вроде дневника, написанного по-немецки. Страницы ее стали сухими и желтыми. Чернила местами побледнели, стерлись следы графитового стержня. Сначала ее берегли. Она стала реликвией. Потом о ней забыли. И она долгие годы скрывалась под грудами папок и рукописей. Профессору Кронфорду она досталась от далекого пращура датчанина, служившего еще у великого Бора.

Когда Крабовский прилетел за тетрадью в Лондон, сер Чарлз долго не мог понять, что ему нужно. Потом с сомнением покачал головой и прошел в свой архив. Крабовский уже начал терять надежду, что он когда-нибудь вернется. Но он вернулся и огорченно развел руками. Кронфорд не знал о существовании этой тетради.

Как потом выяснилось, последний раз ее держали в руках в начале прошлого столетия, когда только что созданное в то время Центральное хранилище информации произвело полную перепись материалов всех крупных архивов и личных библиотек.

Если бы не племянница старого Чарлза Кронфорда, Сузи, облизывшая каждую полку, заглянувшая в каждый ящик, Крабовскому, наверное, никогда бы не пришлось держать в руках этот уникальный человеческий документ. Вот он.

* * *

Наконец я в Копенгагене! Не сон ли это? А может быть, сном было все, что осталось по ту сторону границы? Кошмарный, безысходный сон...

Тихая сытая жизнь. По утрам я пью превосходный кофе со сбитыми сливками, на улицах мне не нужно оборачиваться, чтобы убедиться в отсутствии слежки. Но я все же часто обрачаюсь, подолгу смотрю в зеркальные стекла витрин — привычка. У меня очень изощренные органы чувств. Помню, в 1929 в Гамбурге я мог за сотню шагов услышать звон упавшей на тротуар монеты, даже в туман, даже в дождь... Я голодал тогда... Но от голода отвыкаешь быстрее, чем от слежки.

О страна воинствующих идиотов! Как я ненавижу тебя, когда, повинуясь властному рефлексу, оглядываюсь на улицах... Я был возмутительно слеп. Когда Эйнштейн отказался вернуться в Германию, я насторожился, но... Великий Альберт еще раз безмолвно предупредил меня, когда отказался от членства в Прусской академии. Но и тогда я не сумел продумать все до конца.

На площадях жгли книги. Коричневые топали по ночным улицам с факелами и оголтело орали. Но я только рассмеялся, когда впервые услышал идиотские слова их песни:

Когда граната рвется,
От счастья сердце бьется.

Я просто не мог принять их всерьез. Ну кто же может принимать всерьез дегенератов? Помню, мы собирались как-то вечером у Гейзенбергов. Они на несколько дней приехали в Берлин. Были Лауэ, Иорданы, Борн, старикашка Фуцштосс, тихий интеллигентный Отто Ган, еще кто-то. Красный абажур бросал на ослепительную скатерть закатные тени. Тихо и нежно дымился чай. Вишневое варенье казалось почти черным, а сахар — чуть голубоватым. Было почему-то очень грустно. В иные вечера вдруг как-то чувствуешь, что перед тобой распахивается будущее и ты можешь заглянуть туда одним глазком. Так было и тогда. Я вышел на балкон. Тихо шелестела ночь. Мерцали звезды и огни Луна-парка. Кущи Тиргартина казались синими, как спустившиеся с небес тучи.

Меня давило и жгло какое-то предчувствие. Мне казалось, что нужно только сосредоточиться и я увижу будущее, пойму, наконец, куда все это идет. Но я боялся, может быть потому, что в подсознании уже тлел страшный ответ.

Где-то внизу, наверное на втором этаже, завели граммофон. Хрустальный и волнующий женский голос выплыл из тишины, шороха и треска, как полная свежая луна из опаловых облачков.

И песню прошептал я тем шорохам в ответ.
И лился в ней, мерцая, любви бессмертный свет.

Господи, как хорошо! Льется и мерцает, мерцает и льется, как Млечный Путь, как лесной ручей в лунную ночь. Бессмертный свет любви. Все пройдет, все кончится. В бесконечность улетают потоки света, которыми залиты Унтер-ден-Линден и Луна-парк, но даже свет стареет в пути. Прорываясь сквозь невидимые путь гравитационных полей, он краснеет и умирает где-то у границы вселенной. Но свет любви бессмертен. Его частицы нельзя увидеть, его поле нельзя проквантовать, но и жить без него нельзя. Без него бытие становится нелепым фарсом или рациональной нелепицей.

Песня умолкла. Из-за купола рейхстага, как голубоватая жемчужина, выкатилась луна.

Я вернулся в комнату. Только один шаг — и я попал из мира тишины и полутонов к яркому и надоедливому свету, остывшему чаю и пресным изделиям профессорского остроумия.

Я разглядывал своих друзей как бы со стороны, может быть даже с высоты лунной орбиты или с высоты открывшегося в сердце озарения. Тихий и гениальный Вернер Гейзенберг, немного похожий на Черчилля, все понимает, но не все допускает к сердцу. Паскуаль Иордан похож на святых с полотен Греко. Он убежден в непознаваемости основ мира и не верит в абсолютность мировых констант. Боюсь, что он не поймет меня. Кто знает, может быть, мы все для него лишь субъективные представления. И что ему Гитлер, если даже галактикам он отказывает в реальности! Он мужественный человек и умеет переносить неудачи. Но это не то мужество, которое хочется взять за образец. Есть мужество борца и есть мужество бретера. Мужественным может быть и трус на глазах у толпы.

Мир умирает вместе с нами! Эти слова часто повторяет Паскуаль. Но много ли стоит такой мир? Нужно ли за него бороться? А какое может быть мужество без борьбы? Такой мир не жаль потерять.

Нет, мы уносим с собой лишь какую-то ничтожную часть мира, лишь одну капельку мерцающего бессмертного света. Когда мы приходим, мы сразу же получаем право на все: солнце, книги, любовь, полынь. Пока мы живем, мы в ответе за все... Не помню, кто это сказал.

Тихо звякнула ложечка в стакане. Маститый Макс фон Лауз выжал в чай кружок лимона. Темный янтарь стал белым, бесцветным.

Я сел рядом с Отто. Он сразу же повернулся ко мне и, приложив несколько раз салфетку к колючим, коротко подстриженным усам, приготовился слушать.

— Отто! — тихо сказал я, наклоняясь к нему. — Чем все это кончится, Отто?

Ган беспомощно сцепил длинные тонкие пальцы.

На высоком и нервном лбу его ясно обозначились пульсирующие жилки.

— Все считают, что так долго продолжаться не может. Они образумятся. Гитлер пришел к власти и постепенно успокоит свою шваль. Она теперь ему уже не нужна, он постарается от нее отделаться... Так многие думают.

— А ты что думаешь, Отто, ты что думаешь?

— Во всяком случае, на следующих выборах наци провалятся. Михель больше не свалит такого дурака. А нас, ученых, это вообще не касается. Они сами по себе, мы сами по себе. Правительства приходят и уходят, а физика остается.

— Какая физика, Отто?

— То есть как это «какая»? — Отто смотрел на меня с искренним изумлением.

Бедный Отто! Великий неустанный труженик, талантливый слепой крот.

— Я спрашиваю тебя, Отто, какую физику ты имеешь в виду, арийскую или неарийскую?

Отто все еще не понимает, и я разъясняю ему:

— Милый Отто! Я, наверное, уже не вернусь в альма матер. В институте кайзера Вильгельма для меня уже нет места.

— Ты шутишь! Они не посмеют! Любимого ассистента старика Нернста!

— Они бы могли и старика Нернста... И Архимеда тоже...

— Неужели атмосфера так накалилась?

— Когда я последний раз был в институте, там устроили настоящую свистопляску. Эта пара нечистых...

— Ленард и Штарк?

— Они самые. В институт приехал крейслейтер, толстомордый, с жировыми складками на затылке. Настоящий немец! Ты меня понимаешь? С ним была целая шайка из районного управления партии. Всюду шныряли, во все совали арийские носы, давали советы, учили, страшали. Потом устроили митинг. Когда все собрались, крейслейтер обошел весь зал,

тыча пальцами в портреты: «Кто такой?» Рентгена велел немедленно снять, кайзера повесить над дверью, а на место кайзера повесить Адольфа.

Вероятно, последнюю фразу я сказал достаточно громко. Дамы зашикали:

— Тише! Ради бога тише! Вас могут услышать. Не надо забывать, в какие времена мы живем.

Вернер закрыл балконную дверь и включил радио. Я мог продолжать.

— Потом крейслайтер пролаял речь. Обтекаемые фразы из передовиц «Фолькише Беобахтер» плюс шутки колбасника и юмор вышибалы. Речь была встречена стыдливыми и трусливыми хлопками. Партайгеноссе нахмурился. Тогда поднялся Ленард и заорал: «Встать! Зиг-хайль! Зиг-хайль!»

Надо отдать справедливость, его мало кто поддержал. Потом Ленард разразился речью. Можешь себе представить, что он говорил. Его программа ясна: немецкая наука, антисемитские выпады, нападки на теорию относительности. «Институт станет оплотом против азиатского духа в науке, — хрюпел он, брызгая слюной. — Мы противопоставим евреям, космополитам и массонам нашу арийскую физику».

— Боже, какая немочь, какое убожество мысли! — Ган покачал головой. — Витийствующая бездарность! Как будто есть физика немецкая, физика английская, физика русская! Наука интернациональна, она смеется над границами.

— Не в этом дело, Отто. Разве настоящий учёный станет говорить о национализме в науке? Об этом говорят лишь ничтожества, которые не смогли занять место в той интернациональной физике, о которой ты говоришь. Вот они и создали себе новую физику, арийскую. Здесь-то у них не будет соперников, поверь мне. Разве что партайгеноссе крейслайтер захочет стать доктором арийской физики. Так-то, Отто, а ты говоришь, что учёных это не касается...

— Да, но, может быть, это лишь временные эксцессы... Волна отхлынет и...

— Кого ты хочешь успокоить, меня или себя?

— Скорее себя, коллега. Все это очень горько. Лиза Мейтнер тоже считает, что нужно что-то предпринять радикальное.

— Что именно?

— Она собирается покинуть Германию.

— Не может быть!

— Да, коллега. Нам всем будет без нее очень трудно. Я уговариваю, чтобы она не спешила. Может быть, все еще переменится.

— Да, ты прав. Не нужно спешить. В конце концов уехать мы всегда сможем.

О, как я был тогда слеп! Но разве легко покинуть страну, где ты родился? Разве легко порвать все, что тебя с ней связывает? Впрочем, это не оправдание. Просто то, что пришло потом, превзошло даже самые мрачные наши предположения.

Я навсегда запомнил этот разговор с Ганом. Может быть, потому, что через день «юнкеры» сбросили бомбы на деревни Теруэля и Гвадаррамы, бомбы, которые раскололи мир надвое. Потом начался беспросыпный кошмар. Тихий национал-социалистский ад. У меня отняли лабораторию, меня выселили из моей квартиры, меня на ходу выбрасывали из трамвая. Словом, я разделил участь сотен тысяч людей. С моим паспортом нельзя было покинуть пределы рейха. Оставался только нелегальный путь, но к нему следовало подготовиться. Прежде всего мне нужно было покинуть Берлин. Тяжелее всего я переживал встречи со знакомыми, когда люди отводили глаза и делали вид, что не узнают меня.

Гейзенберг и Ган хлопотали насчет меня в рейхсканцелярии, но, кажется, безуспешно. Единственное, чего они добились для меня, было разрешение полицейпрезидиума проживать в небольшом приморском городке Нордейх Халле, где у близкой родственницы Гана была дача.

Каждое утро ходил я к холодному бледно-зеленому морю. Накатывались злые белогривые волны. Вздымались у самого берега, застывали на миг пузырчатой массой бутылочного стекла и обрушивались

на блестящую гальку шипящей белой пеной. Ветер гнал низкие сумрачные облака, шелестел в песчаных дюнах. Дрожала осока, тихо покачивались розоватые тонкокорые сосны.

«И дурак ожидает ответа», — вспомнил я строки Гейне. Но мне не хотелось уходить от моря, хотя и не ждал я от него ответа на мучившие меня вопросы.

Уже тогда я понял, что мы, физики, должны дать человечеству такое оружие, которое каленым железом выжжет расползающийся по миру коричневый муравейник. Я понимал, что научная мысль не пойдет традиционными путями. Не сверхмощные взрывчатые вещества, не сверхтоксичные газы должны были уничтожить фашизм. Мне мерещились иные силы, вырванные у природы, раскованные и подчиненные людям. Энергия космоса, чудовищное притяжение между частицами атомных ядер, грозные тайны пространства — вот где нужно было искать.

Я верил, мне до боли хотелось верить, что человечество устоит в великой битве с варварством и мракобесием, но я бессилен был избавить его от бессмысленных жертв. В том, что война вот-вот разразится, я уже не сомневался. Не питал я иллюзий и в отношении своей судьбы. Введенные на территории рейха расистские законы были только началом.

Но все отходило на задний план, когда я задумывался о судьбах науки. Ничто не случайно. Гальвани открыл электричество; прошло сто лет, и оно стало могучей силой. Мы проникли в тайны вещества, пространства и времени. Сколько же лет нам понадобится, чтобы подчинить эти первоосновы мироздания своей воле? Я не сомневался, что настанет день, когда все самолеты и танки покажутся детской игрушкой по сравнению с той силой, которую подчинят себе физики.

Нет, на этот раз мы, ученые, не будем дураками. Генералы и министры не получат из наших рук нового оружия, гитлеры и муссолини не смогут больше грозить миру. Вопрос только во времени, когда мы сумеем крикнуть безумцам: «Остановитесь, или мы уничтожим вас!»

Я вернулся на дачу, но каково же было мое удивление, когда я застал в своей комнате старикашку Фуцштосса. Мы никогда не были с ним близки, и меньше всего я мог в такое время, как сейчас, ожидать визита профессора Адриена фон дер Фуцштосса, потомка многих поколений прусских юнкеров.

Когда я вошел, Фуцштосс встал и поклонился, я сдержанно ответил на приветствие.

— Профессор Мандельблат, я осмелился побеспокоить вас по весьма важному делу.

— Чем могу служить, коллега?

— Вам нужно немедленно бежать отсюда. Не спрашивайте меня, что и почему, я не имею права удовлетворить ваше любопытство. Но промедление смерти подобно. Если у вас есть основание не доверять мне, то прочтите вот это письмо. Оно от профессора Гана.

Я взял протянутый мне незапечатанный конверт и сунул его в карман.

— Я верю вам, герр профессор, — сказал я Фуцштоссу, — но куда я могу бежать?

— Это уже не ваше дело. Я привез вам документы на имя Мартина Рилле и немного денег. После завтра, в четверг, у Арнского маяка вы встретитесь с Уго Касперсоном, шкипером рыболовного баркаса. Он брат моего садовника, смелый и порядочный человек. Он поможет вам переправиться в Данию.

— Я не знаю, как благодарить вас... Это так неожиданно, право.

— Вы ничем мне не обязаны. Я всегда делал только то, что считал нужным. Итак, вы едете?

— Да. Но... мне бы хотелось, чтобы сперва позаботились о коллеге Мейтнер, а потом уже обо мне. Я слышал, что она все еще в Германии.

— Пусть это вас не волнует. Вы встретитесь с ней за границей. Что-нибудь еще?

— Видите ли, коллега, несколько лет назад, еще в моей лаборатории в Кайзер-Вильгельме, я собрал уникальный прибор. У меня есть основания опасаться, что его могут использовать в преступных целях.

Такая вероятность есть, хотя она и невелика. Я бы хотел взять его с собой... Или по крайней мере мне нужно убедиться, что он уничтожен.

— Это все значительно осложняет... Очень осложняет...

— А знаете что? Там есть одна деталь. Деспинатор. Он легко уместится в портфеле. Конечно, если другого выхода не будет, я уеду и без него. Но мне хотелось бы сделать все возможное, чтобы извлечь его из установки... Я не успел сделать этого сам. Ко мне в лабораторию пришли штурмовики и вышвырнули меня на улицу...

— Нарисуйте мне, как выглядит ваша деталь и где она вмонтирована в установку.

Я нарисовал. Фуцштосс достал из жилетного кармана серебряный «мозер», щелкнул крышкой и заторопился на поезд. Мы условились отложить мой отъезд до вторника. Но, по совету Фуцштосса, я покинул виллу фрау Беатрисс, так звали родственнику Гана, и поселился в рыбачьем селении у Касперсена под именем Мартина Рилле.

Когда я прощался с фрау Беатрисс, она как раз срезала на клумбах хризантемы. Я сказал ей, что уезжаю обратно в Берлин. Она ничем не проявила своей радости по поводу моего отъезда, но мне показалось, что она облегченно вздохнула. Я ее вполне понимаю. Какое страшное, какое бесчеловечное время!..

Ревел ревун. Маслянистым пятном вспыхивала мигалка на маяке. Ровно рокотал мотор. За кормою остался большой неспокойный концлагерь, имя которому Германия. Удалялись, бледнели и таяли в тумане береговые огни. Где-то рядом дышала холодом невидимая черная вода. Пахло отработанным бензином и рыбой. Эту рыбу Уго наловил вчера и специально не выгрузил из баркаса. Под ее скользкими, скучно поблескивающими грудами запрятан аккуратно завернутый в целлофан мой деспинатор, который, ри-

скуя жизнью, добыл стариk Фуцштосс и привез мне Иоганн Касперсен, брат Уго.

Уго укутал мне шею теплым шарфом, связанным из собачьей шерсти. Зюйдвестка защищает меня от влажного свежего ветра. Мне тепло и покойно. Хочется сладко подремать под ровный рокот мотора.

Но я думаю о том, что ждет меня там, в Дании. Смогу ли я быстро собрать новую установку и возобновить прерванную работу? Работа, работа, всегда работа. Отец мой погиб в пятнадцатом году на Марне, мать умерла, когда я был еще студентом. Ни жены, ни детей у меня никогда не было. Вся жизнь для меня была только работой с перерывами на еду и сон. Но даже во сне мой мозг не переставал искать новые пути и неожиданные решения. Я не привык к иной жизни, да и не хочу ее.

Может быть, я и обокрал себя...

Впервые я провожу ночь в открытом море. Уже растаял маяк. Плотные слои облаков не пропускают ни звездного, ни лунного света. За бортами дышит холодная бездна, которая изредка вспыхивает голубатым свечением.

Я слежу за ним и вспоминаю, как гасли береговые огни, как гасли свечи на концерте в Вене.

Есть у Гайдна симфония, которую он назвал Прощальной. До сих пор ее принято исполнять при свечах.

В огромном концертном зале с очень высоким потолком зажгли на людях свечи. В зал пахнуло разогретым воском. Погасли хрустальные люстры и бра, дрожали лишь шаткие языки свечей. Родились первые звуки музыки. «И лился в них, мерцая, любви бессмертный свет». Тоска и жалость, прощание и надежда на встречу, и грусть, и радость. Свечи сгорели ровно на одну треть, когда оркестр заиграл последнюю часть. Как волны, накатывались соло и дуэты. Одна за другой гасли свечи, и, как темные призраки, уходили со сцены музыканты. Ушли виолончель и валторна, ушли валторна и скрипка, ушли два гобоя, ушли скрипка и виолончель. Все меньшие

и меньше остается колеблющихся языков пламени, но музыка не исчезает. Все так же страстно и наивно течет она бессмертной мерцающей рекой. Наконец остались лишь две скрипки — первая и вторая. Они приняли на себя всю тяжесть и всю боль одиночества и тоски. И когда они погасили свои свечи, я еще слышал в ушах музыку. Она не исчезла. И я закрыл глаза, чтобы не видеть, как зажгутся люстры и бра и как выйдут раскланиваться на сцену оркестранты. Я знал, что стоит мне открыть глаза, и звучащая в ушах музыка оборвется.

Я вспомнил, как когда-то в Вене гасли свечи, как только что погасли береговые огоньки, но видел, как гаснут в моем приборе атомы, как исчезают их ядра, как меркнут элементарные частицы. Я вспоминал тот вечер в моей лаборатории в Далеме.

Ровно и весело гудели трансформаторы. Между разрядниками мощных вандерграафовских генераторов проскачивали ветвистые молнии — голубые и аметистовые. В их дрожащих отсветах меркли электрические лампы.

В огромное стрельчатое окно лаборатории стучались обнаженные ветви деревьев. Причудливыми каскадами космических ливней расплывались по стеклу струи дождя. Ярко пылал в камине торф. Но мне трудно было избавиться от какой-то непонятной внутренней дрожи. Я грел над огнем ладони, а потом поглаживал ими плечи и грудь, но озноб не проходил. Я вспомнил стихи Эдгара По:

Поздней осени рыданье и в камине угасанье
Тускло тлеющих углей...

Как средневековый чернокнижник и духовидец, я готовился сейчас задать природе вопрос, кощунственный и дерзновенный. Что есть основа сущего? Каков кирпичик, лежащий в основе мироздания? О, не я первый спрашиваю ее об этом. Под темно-синим небом Эллады, в сумраке халдейских храмов и среди каменистой пустыни Иудеи звучали эти слова в устах мудрецов. Какие слова? Разве природа понимает сложный, смутный язык людей?

Я подошел к стенду и повернул рычажок включения. Медленно поползла стрелка гальванометра. Конденсатор начал накапливать энергию. Потом я налил в самописец красной туши и включил механизм подачи ленты. Повернув колесик потенциометра, я совместил с риской цифру «10»: разряды будут производиться импульсами — через каждый порядок нарастания мощности. Стрелка гальванометра дрожала у крайней черты. Я включил блок индуктивности и поставил автоконденсатор на пиковые частоты. Все приборы работали превосходно.

Я подержал над камином руки и приложил их к вискам. Мне показалось, что к лицу прикоснулись ледышки. Окно смотрело на меня огромным мутным бельмом. Гудели приборы, трещали машины. Причудливые конструкции камеры, в которой был установлен деспинатор, бросали на белый кафель стен странные расплывчатые тени.

Я чувствовал, что время проложило свою дорогу через мое сердце. Медлить больше было нельзя. Казалось, что с каждым мгновением уходит жизнь. Минутная стрелка на больших часах под потолком почти не двигалась, но я-то знал, что время бежит, как стремительный водопад, прыгающий через камни, в такт ударам сердца. Я включил деспинатор. Где-то в глубинах массивных хрустальных призм родился еле заметный сапфировый лучик. Я начал медленно вращать лимб настройки... лучик сузился до толщины волоса. Потом я включил реостат развертки во второе гильбертово пространство. Лучик исчез. Вместо него где-то далеко-далеко горела крохотная голубая пылинка, словно далекая звезда девятой звездной величины. Теперь нужно нажать только эту маленькую черную кнопку, и конденсатор начнет периодически изрыгать все более и более чудовищную энергию. В голубой звездочке все элементарные частицы меняют свой спин на спин кванта единого поля. Закон сохранения полного спинового момента количества движения при этом не нарушается. Происходит как бы перераспределение, которое я назвал вырождением спина. Если теперь разрядить там энергию кон-

денсатора, то плотность ее резко возрастет, и вырожденные частицы будут сближены до размеров меньших, чем их собственные диаметры. Что будет тогда? Об этом не знает ни один человек в мире. Я надеюсь, что они исчезнут, превратятся в какое-то основное поле. И я включаю кнопку.

У меня за спиной щелкают реле. Конденсатор сбросил первую порцию мощности. Я не отрываюсь от окуляра и медленно вращаю лимб. Голубая звездочка вытягивается в едва заметный эллипс. Еще сброс! Эллипс становится похожим на гантельку. Я нахожусь где-то на уровне молекул. Конечно, то, что я вижу, это не сама молекула, а лишь сигнал о пройденном рубеже дробимости материи. Но верный сигнал! Вновь щелкнули реле. Но что же это? Голубая звезда исчезла. Неужели что-то испортилось? Мне сразу становится жарко. Я опускаюсь в черное кожаное кресло и вытираю лоб платком. Опять щелкают реле. Я бросаюсь к окуляру. Там чернота осенней ночи. В чем же дело?

И вдруг приходит озарение. Ведь материя прерывна и непрерывна одновременно. Великое единство противоположных качеств. Я шагнул за границу молекулярного уровня, но еще не достиг атомного! Нужно ждать!

Прошло около часа. Белая плесень за окном чуть посинела. Плотность энергии возросла в семнадцать миллиардов раз. И тут я опять увидел дорогую, бесценную сапфировую пылинку. Лимб становится уже грубой системой фокусировки. Я начинаю вращать колесико верньера. Все точнее и четче изображение. И звездочка раздвоилась! Пробую осмыслить происходящее. Очевидно, передо мной все та же молекула, но я вижу уже не целое, а составные части — атомы двухатомной молекулы какого-то газа. А может быть, это уже ядра?

И потянулись томительные часы. Один раз экран был темен три с половиной часа, и я уже отчаялся увидеть элементарные частицы. За окном было совсем темно. Наверное, моя лаборатория была единственным обитаемым помещением во всем институте.

Я подошел к раковине и смочил холодной водой виски. Вероятно, есть какой-то предел, дальше которого человек не может идти. И как бы в ответ на эту мысль щелкнули реле. Уже ни на что не надеясь, совершенно рефлекторно, я подошел к прибору и склонился над оптической системой. На черном бархате вновь горела звезда. Наверное, так древним мореплавателям светила с незнакомого неба одна-единственная путеводная звезда. Я тоже пустился странствовать в просторы «маре инкогнитум», я тоже сбивался с курса и приходил в отчаяние, но всякий раз вспыхивал и дружески мерцал мне голубой огонек. Я увеличил четкость, и звездочка распалась на множество микроскопических точек. Они сливались друг с другом, вспыхивали и исчезали, рождались из пустоты и исчезали в небытие. Я видел игру элементарных частиц, изменчивую комбинацию изменчивых субстанций. Они обеспечивают относительную стабильность мира, который кажется нам незыблемым и вечным.

Потом элементарные частицы исчезли. Они гасли постепенно, как свечи в Прощальной симфонии. И когда погасла последняя и когда я девять часов провел в ожидании новых вспышек, в моих ушах зазвучала музыка Гайдна. Как тогда, на концерте, я продолжал слышать музыку, которой уже не было, так и теперь, когда исчезло вещество, я верил, что звезда еще раз вспыхнет.

Настало утро. Погас камин. Нежным желтоватым пеплом подернулся сгоревший торф. По-прежнему шел дождь, и растекались по стеклу холодные серые капли.

А я все ждал. И я увидел! Я дождался.

Я увидел мириады огоньков, переливающихся всеми цветами радуги. Это было глубоко за порогом элементарных частиц. Я видел субквантовый мир! Может быть, это даже была праматерия. Апейрон древних греков, из которого построено все.

Меня поразили знакомые очертания многообразия светящихся точек. Я не мог избавиться от ощущения, что вижу что-то хорошо знакомое. Я снял спектр, не-

сколько раз сфотографировал и даже зарисовал расположение точек. Потом я проверил приборы. Все было в порядке. Периодически щелкали реле. Конденсатор сбрасывал океаны энергии. И только счетчик, обычный электрический счетчик бешено вертелся... в обратную сторону. С того момента, как исчезли элементарные частицы, энергию конденсатору давала моя установка.

Я рванул рубильник и отключил прибор от сети, рухнул в кресло и заснул.

Проснулся я от внезапно наступившей тишины. Мотор не работал. Уго сидел рядом со мной и осторожно отвинчивал компас.

— В чем дело, Уго? — спросил я.

Уго молча прижал палец к губам и показал рукой куда-то в темно-серую туманную пустоту. Я пригляделся и увидел, как где-то далеко мечется расплывчатое светлое пятно. Уго сделал мне знак пройти за ним в каюту. Согнувшись, чтобы не задеть головой низкий потолок, я пролез в крохотную комнатку. На маленьком откидном столике стоял ацетиленовый фонарь, жестянка с табаком и валялись брезентовые рукавицы.

Уго нагнулся и достал из ящика бутылку темного сладкого пива доппель-карамель. Открыл ее и протянул мне. Потом он еще раз нагнулся и достал бутылку для себя. Отпил несколько больших глотков и тихо сказал:

— Патруль. В ночь и туман они нас не заметят. Но уже светает, и утро обещает быть ясным. Если нас засекут, скажем, что сбились с курса из-за поломки компаса. Я его уже отвинтил.

Мы вышли на палубу. Было удивительно тихо. Я ничего не слышал, но Уго уверял, что различает рокот моторов.

Так, сидя в полном молчании, мы провели часа полтора. Уго несколько раз вставал и прислушивался. Потом, наконец, махнул рукой и сказал:

— Все! Кажется, проскочили.

Он вынул из кармана отвертку и поставил компас на место. Закурил трубку и спустился вниз запустить мотор.

Я чувствовал себя превосходно. Короткий сон среди безмолвного моря удивительно освежил меня.

Вернулся Уго и сказал, что нам осталось часов пятнадцать пути и я могу еще поспать. Здесь или в каюте.

— А вам разве не хочется спать, Уго? — спросил я.

— А кто поведет за меня баркас? — совершенно спокойно возразил он.

Я прошел в каюту. Снял зюйдвестку, стащил огромные резиновые сапоги и лег на застланную верблюжьим одеялом койку. В крохотном иллюминаторе было темно.

Я поймал себя на том, что жду, чтобы там вспыхнула маленькая сапфировая искра. Вероятно, когда человеку нечего делать, он вспоминает. Баркас слегка покачивало...

Я вспомнил ту минуту, когда понял суть своего эксперимента. И как тогда, я испытал необъяснимое и несравненное чувство ужаса и благоговения. И вновь мечты увлекли меня в прошлое.

* * *

Когда я вдруг осознал, на что похоже распределение светящихся субквантовых точек, я почувствовал, что схожу с ума. Я даже сжал голову руками и закрыл глаза. Мне показалось, что в моем черепе помещается драгоценная влага и если я не буду сидеть спокойно, то могу расплескать ее.

Некоторое время провел в каком-то оцепенении.

Я узнал приблизительную картину распределения галактик в метагалактике.

Было ли это случайным совпадением или природа уподобилась собаке, кусающей свой собственный хвост?

Мысль эта была дикой, неожиданной, она сбила меня с ног, завертела в водовороте догадок и вопро-

сов. Но я постарался взять себя в руки. В конце концов почему бы и нет?

Наши представления о пространстве основаны на многовековом опыте человечества и нескольких десятках физических уравнений. Все сводится к тому, что в природе существуют две бесконечности. Бесконечность микромира и бесконечность космоса*. Применяя слово «бесконечность» к элементарной частице и вселенной, мы еще раз подчеркиваем их диалектическое единство. В нем выражено то общее, что заставляет нас располагать и атомы и галактики на одной прямой — от мельчайших размеров к большим, — и так до тех пор, пока не откажет воображение, пока не взбунтуется наше ограниченное мышление. Тогда мы прибегаем к спасительному значку ∞ и, направив оба конца прямой в противоположные стороны, считаем, что пространство нами понято.

В наших мыслях большое убегает от малого. В наших представлениях мы искусственно отрываем бесконечность Микро от бесконечности Макро. Как иногда подводит людей их способность раскладывать все по полочкам! Полочки-то выдуманные... Ведь в природе микрокосмос непрерывно и повсеместно присутствует в макрокосмосе. Природа едина и целостна. Значит... Значит, должно существовать место или, может быть, момент, когда две великие бесконечности сливаются в одну, чтобы вновь и вновь демонстрировать материальное единство Мира. Время или место? А может быть, и то и другое? Что же я увидел в своем приборе? Может, это как раз и есть оно?..

Я был слишком взволнован, я должен был отвлечься, но нельзя терять ни одной минуты...

Я поднялся, чтобы пройти в фотолабораторию и проявить пленку. Потом я хотел обработать спектральные данные. Только тогда я мог бы поверить, что не схожу с ума.

Но в этот момент дверь распахнулась, и в комна-

* На современном языке — мегамира. (Примечание профессора Крабовского.)

ту вошли три штурмовика. Цилиндрические фуражки с длинным козырьком, коричневые френчи, перекрещенные ремнями, красные повязки со свастикой на рукавах. Я плохо помню, что произошло дальше.

Очнулся я на улице. Мой белый халат был запачкан кровью и грязью. Одежда разорвана, лицо разбито.

Так я и не смог получить ответа на волновавший меня вопрос. А я-то мечтал обработать все данные и написать статью! Один экземпляр я послал бы в «Анналы физики», два — в Англию, Резерфорду и Эддингтону, два — в Америку, Эйнштейну и Хабблу, два — в Россию, Капице и Фоку, и один в Данию, Нильсу Бору.

Вот поднялась бы буря! Мы бы все вместе устроились в узкую брешь, случайно забытую природой! Бог не успел бы оглянуться, как в самой тайной его комнате сидели бы несколько физиков и преспокойно писали свои уравнения.

Но теперь я мог надеяться лишь на себя. Мне ничего больше не оставалось, как размышлять. Только чисто философски я мог проверить правильность своих неожиданных выводов.

Итак, природа похожа на собаку, кусающую свой собственный хвост. Нет ни микромира, ни макромира, ни еще большего мира метагалактики. Мы их придумали для удобства, чтобы легче было понять единый физический мир.

Эйнштейн доказал относительность многих наших законов. Даже такая мера, как длина, оказалась зависимой от скорости. Стонней высказал идею о минимальных пространственных расстояниях и минимальных длительностях. В пространственно-временных ячейках, измеряемых длинами, меньшими 10^{-45} см, и промежутками, меньшими 10^{-35} сек., нет уже ни времени, ни пространства. По крайней мере в нашем понимании. Это элементарный четырехмерный пространственно-временной объем Стонея, Амбарцумяна, Иваненко. Значит, вселенная не бесконечна в сторону уменьшения. А в сторону увеличения?

Закрытая модель Фридмана — и это все? А мо-

жет быть, относительны не только меры пространства, но и принцип сравнения этих мер? Мы говорим, что килограмм больше грамма, атом меньше звезды, и это кажется нам само собой разумеющимся. Но мы не говорим, что электрон больше фотона на том лишь основании, что он способен испускать фотоны. И вообще до каких пределов верны и применимы наши понятия «больше», «меньше», «А больше В, так как состоит из В»? Может быть, есть такие границы и в сторону увеличения и в сторону уменьшения, когда просто нельзя сравнивать, что больше и что меньше. Там просто нет этого качества, без которого нам никак не обойтись в привычном нам мире. Мы можем сказать, что галактика больше протона, но уже не имеем права сравнивать субквантовую частицу с метагалактикой!

Ура! Я, кажется, нашел решение. Главное, не отвлекаться и не дать мыслям расплзтись... Значит, когда в моем приборе погасли элементарные частицы и до тех пор, пока в нем не появилась метагалактика, я видел мир, где неприменимы понятия «больше» и «меньше»? Именно там находится точка, где зубы собаки касаются ее хвоста! Место спая великого кольца... Кольцо, именно кольцо, а не линия, обоими концами уходящая в бесконечность вселенной и бесконечность микромира. Тысячи раз правы те мои коллеги, которые утверждали, что природа устроена гораздо проще, чем мы думаем. Проще и хитрой. Попробуем выразить все это математически. Итак, у нас есть уравнение Дирака. Если волновая функ... (здесь из тетради вырвано несколько страниц).

...тороплюсь окончить свои записи. Больше всего меня пугает, что я не знаю, зачем и для кого их пишу. Иногда передо мной встает лицо матери, и я забываюсь. Я начинаю рассказывать ей, больной и ласковой, о самом волнующем и самом печальном. Маме нужно знать, как я жил эти годы, что ел и о чем думал. И, точно боясь огорчить ее, я стараюсь мень-

ше говорить о страданиях и больше о надежде. Когда передо мной встают лица друзей, я вспоминаю свой долг, и страницы покрываются тензорами и вириалами. Я даже набрасываю эскизы установки, расчитываю параметры процесса, нахожу оптимальный режим. А потом... я вырываю листы, сжигаю их на застекленном столе и превращаю ломкие сморщеные комочки в черный порошок. На стекле после этого остается коричневатое, маслянистое, как иприт, пятно, которое я вытираю платком.

Иногда я думаю о таких людях, как Уго и Иоганн, или о спокойных, исполненных внутренней силы рабочих большущей копенгагенской верфи «Бурмейстер и Вайн». Над миром пронесется беда, многих она прихватит с собою: правых и виноватых, не будет Шикльгрубера и его шайки, может быть, в жернова истории затянет и тех, кто видел, но молчал, кто знал, но не сопротивлялся. Может быть, погибну я или мои коллеги и ни одного физика не останется в том... новом мире. И все придется начинать сначала, чтобы опять идти вперед, стараясь не падать хотя бы в старые ямы...

Я думаю о простых и скромных рабочих людях, как о наследниках. И, только что уничтожив страницы с цепочками формул, я пишу о себе для них, которым вновь предстоит открыть то, что исчезнет, быть может, вместе со мною. Я спорю сам с собой, увлекаюсь и путаюсь, захожу в тупик и хватаюсь за спасительный круг формул, чтобы через минуту сжечь в огоньке зажигалки еще один лист.

Вот так я и пишу, быстро и путано. У меня крупный почерк, строки загибаются книзу, я люблю, размышляя, рисовать женские головки. Вот почему в моей толстой гимназической тетради все меньше остается чистых страниц. А написал я, наверное, очень мало. Ведь пишу я всего четыре дня. Я встаю рано утром, пью кофе из большой фаянсовой кружки, съедаю два бутерброда с сочной розовой ветчиной, маленькую шоколадку и немногого чудесного сыра из картонного стаканчика. Потом я достаю свою тетрадь и пишу, пишу до обеда.

Обедаю я в маленьком и дорогом ресторанчике. Он расположен в тихом районе Хеллеруп.

Тенистые улицы, высокие каменные заборы с крохотными калитками. Сановитые дощечки из бронзы. Строгие, на вид совершенно необитаемые виллы. Здесь чаще слышен цокот копыт, чем шуршание автомобильных шин. Я иду и оборачиваюсь...

В ресторане мне подают миноги и креветки, немножко русской икры и отличный бифштекс по-английски, с кровью. На десерт — сыр, финский, нежный, как крем.

И вновь я иду по тихим и чистым улицам.

Я живу недалеко от порта. Там всегда грохот и шум. Визжат цепи, кричат пароходы и чайки, стонут натянутые канаты и скрежещут поворотные платформы кранов. Вода постоянно подернута тусклой радужной пленкой пролитой нефти.

Но когда приходит ночь, вода преображается. Становится глубокой, глубокой, как черное зеркало, в котором пляшут разноцветные змеи. Больше всего золотых, меньше красных и зеленых, и очень редко они бывают фиолетовыми.

Я подымаюсь на пятый этаж старого, закопченного шестиэтажного дома. У меня квартирка: большая квадратная комната с балконом, белая кафельная кухня и ванная. В кухне я готовлю себе завтрак, съедаю его, пишу и слушаю радио. В комнате я только сплю...

Я открываю английский замок, вешаю на олений рог шляпу и прохожу в кухню. Сажусь за стол, накрытый kleenкой с белыми и голубыми цветочками, и принимаюсь писать. И пишу я до самого позднего вечера, до самой белой ночи, пока можно писать, не зажигая света.

Я тороплюсь. Завтра у меня, возможно, уже не будет ни одной лишней минуты. Никогда я так не торопился работать и жить, как здесь, в Дании. Я не успеваю следить за временем. Дни сгорают, недели проваливаются, месяцы проносятся.

Я получил немного денег из Германии, кое-что

мне прислали Дирак и де Бройль. Бору тоже удалось выколотить несколько грошей из Датской академии. Средства в общем есть. Я форсирую монтаж новой установки. Один из учеников Нильса высказал превосходную идею. Он предложил заменить сегнето-конденсатор исполнинской лейденской банкой, внешней обкладкой которой должны стать стены цилиндрической лаборатории. Сброс энергии будет производиться прямо на гадолиниево-серебряный стержень дес спинатора. Это значительно повысит разрешающую способность прибора. Я подсчитал, что если нанести тонкий слой сегнетовой соли на кварцевую пластинку, то диэлектрическая проницаемость (зачеркнуто)... и потенциальную яму можно будет описать круговым интегралом в пределах от экспоненты... (вырвано несколько страниц)..

Я так мечтал попасть в Копенгаген! Я хорошо знаю скандинавскую литературу, музыку, но зрямо представить себе этот туманный и великий город мне помогли скучные строчки писем Нильса.

Университет, академия, величественная биржа, музей Торвальдсена и песчаник причудливых украшений замка Розенборна — все это я уже видел задолго до приезда в Данию. Но я никогда не думал, что утренняя дымка над морем и далекий туманный диск на горизонте могут быть так прекрасны. Я долго глядел туда, где лежала невидимая и невозвратимая родина. Железнодорожные паромы упливали и приплывали, а я все смотрел и смотрел, как волны сливаются с небом.

В порту складывали ящики с апельсинами, катили бочки сельди, грузили уголь. Легкая зыбь била в красные, заросшие ракушками бока судов. Гнили выброшенные прибоем черные кучи, прыгали стеклянные морские блохи, качались на воде чайки.

Где-то там шумели другие порты, Варнемюнде и Гамбург.

Лиза рассказала мне, что два месяца тому назад Ган и Штрасман осуществили реакцию деления

ядер урана. Кроме осколков деления, образовывались и вторичные нейтроны. Лиза изучила кинетику процесса и считает, что реакция становится цепной. Я думаю, что она права. Вероятно, Эйнштейн ошибся, и ядерную бомбу создать можно. Появились первые тревожные симптомы. Германия запретила продажу чехословацкого урана. Наци наложили лапу на запасы тяжелой воды. Я долго думал: зачем им нужна окись дейтерия? Вероятно, они ищут замедлитель, чтобы увеличить вероятность поглощения нейтронов ядрами. Очевидно, дело зашло довольно далеко. Нужно торопиться.

Я чувствую запах грозы, кислый пороховой запах. Неужели они нападут и на Данию?

Бор едва успел собрать в свой объемистый, крокодиловой кожи портфель самые необходимые вещи. Мы сидим в его лаборатории и молча переживаем последние минуты. За ним должна заехать машина. Она отвезет его в аэропорт Кastrуп. Бор улетает за океан. Он уговаривал меня лететь вместе. Но я не могу, физически не могу! Столько готовиться, столько ждать! И все затем, чтобы вновь отложить эксперимент до лучших времен. А настанут ли они, эти лучшие времена?

Нет, я не могу. Я доведу работу до конца. Чего бы это мне ни стоило!

Гитлер напал на Данию и Норвегию. Скоро они будут здесь. Может быть, они уже здесь... Последние два дня я всюду вижу субъектов с рыбьими мордами. Резиновые плащи, кирпичные подбородки, взгляд манекена куда-то мимо и вдаль — это мне знакомо! Но я постараюсь успеть, я постараюсь!

Бор спокойен и бодр. Он, как всегда, собран, насмешлив.

— Я уверен, что скоро вернусь сюда! — говорит он и кладет мне на колено свою широкую чуткую руку.

Я молчу.

— Я даже оставлю залог своего возвращения, — говорит Нильс и встает во весь свой могучий рост.

Он проходит к рабочему столу, выдвигает ящик и достает оттуда черную замшевую коробочку. Открывает и протягивает мне.

Это его Нобелевская медаль.

Затем он подходит к вытяжному шкафу, достает кювету, несколько бутылок с пришлифованными пробками и мерную воронку. Открывает бутылки и осторожно начинает готовить какую-то смесь. Я подхожу ближе и читаю этикетки.

Так! Понятно... Нильс готовит всесокрушающую смесь, известную под названием царской водки. Интересно, зачем она ему.

Медаль покрывается пузырьками. Они сначала медленно, а потом все быстрее выскакивают на ее поверхности. Кювета начинает кипеть пузырьками водорода.

— Сейчас растворится вся! — весело говорит Бори, прищурившись, вполоборота следит за мной.

— А потом что? — спрашиваю я, чтобы не молчать.

— А потом? Потом я вернусь сюда, к себе. Подвергну содержимое этой кюветы электролизу, получу свое золото обратно и закажу новую медаль! А?!

Он смотрит на меня и ждет ответа. А мне плакать хочется... До медали ли... Хоть бы свидеться еще раз...

Прощай, Нильс... Прощай!.. *

Они уже здесь. Только бы успеть. Дороги секунды. Тетрадь я отдаю старому швейцару. Почему ему? Он плакал, когда старенький «ситроен» увозил Бора. Да и некому больше. Когда чума пройдет, все, что здесь написано, станет и нужным и важным. Главное — это идея, до остального постепенно доберутся и без меня. Хотел бы оставить хоть основное уравнение

* Бору не удалось покинуть в этот раз Данию. Он вынужден был вернуться, но Мандельблата он уже не застал. Через некоторое время Бора и его сына Оге переправили в Швецию борцы Сопротивления. Оттуда в бомбовом отсеке бомбардировщика их доставили в Англию. (Примечание профессора Крабовского.)

ние мирового поля, но боюсь. В наш век формулы начинают стрелять слишком быстро. А быстро нельзя, предстоят долгие годы борьбы, и неизвестно, где окажется моя тетрадь. Ведь недаром всюду я вижу теперь резиновые плащи. Да и может ли один человек, что бы ни дал он человечеству, изменить судьбы истории? Я верю в мировой разум, в священную и неугасимую искру. Люди победят. Я тоже был с ними в час великой борьбы. Просто мне не удастся дожить до победы. Но я умираю и верю, что победа придет. Сейчас я вырву все листки с формулами, которые не успел еще вырвать и сжечь. Если успею, то уничтожу их раньше, не успею — они погибнут вместе со мной. Спасибо тебе, старик Фуцштосс, спасибо, Уго! Человек всегда останется человеком, что бы ни случилось. Прощайте!

Вся страница написана карандашом. Ее удалось прочитать лишь в отраженных ультрафиолетовых лучах. Больше в тетради ничего не было.

Крабовский достал стопку френононых листов и крупным уверенным почерком написал окончание этой удивительной истории. Вот оно.

* * *

На этом кончаются факты. Рельсы повисают над зыбкой почвой, имя которой Домыслы. А я там чувствую себя не очень уверенно. Может быть, поэтому мне хочется причислить к фактам еще некоторые детали. Строгий исследователь, возможно, осудит за это. Но события последнего времени заставили меня пересмотреть многие оценки и взгляды. Я теперь несколько иначе отношусь к тем непогрешимым истинам, на которых, как на китах, держится Земля. Я не хочу делать никаких выводов, не хочу ничего предрешать. Не скоропалительное решение нужно здесь, а внимательное, дотошное изучение.

Но не буду отвлекаться. Итак, что еще я могу добавить к тому, что можно считать фактом?

Когда Вревский после болезни возвратился на Землю и навестил нас с Марком, то, увидев портрет автора формул с Бледного Нептуна (так, с легкой руки пресс-вещания, говорят теперь все), сразу же заявил, что видел это лицо в короткий миг яркой вспышки.

Это признание значит очень много и не значит почти ничего. Вот если бы Алик не был в курсе всех последних событий и ничего не знал о формулах, о тетради... Но факты приходится принимать такими, как они есть.

Я мог бы назвать еще две-три второстепенные детали, но боюсь показаться пристрастным. Я подожду новых подтверждений правоты или ошибочности гениальной гипотезы.

Несколько слов о формулах. Они были подвергнуты детальному машинному анализу и серьезно изучены в математическом институте. Ученые склоняются к тому, что скользящая матрица $\frac{\partial R_1}{\partial R_2}$ описывает

процесс кратчайшего взаимоперехода микромира в мегамир.

Возможно, Мандельблат нашел простейший путь в метагалактику. И начинается этот путь в субквантовом мире. Все говорит за то, что в последнем эксперименте ученому удалось создать вокруг себя единое спинорное поле и, перескочив через критерий меры, попасть в какой-то неизвестный нам тоннель в пространственно-временном многообразии.

Двигаясь вне привычного нам времени и пространства, когда-то вырвавшийся на просторы вселенной сгусток энергии случайно встретился с звездолетом у Бледного Нептуна...

Впрочем, я, кажется, начинаю фантазировать, а это мне совершенно чуждо.

Я вспоминаю неожиданное сравнение вселенной с собакой, кусающей себя за хвост. Оно очень рассердило и озадачило Марка. Он даже начал сомневаться, что так мог сказать настоящий ученый-классик. Боюсь, что молодежи все труднее понимать

прошлое. Я-то еще могу представить себе ту блестящую плеяду великих физиков и неутомимых шутников, которые так властно изменили лицо мира.

Уже давно никто не улыбается при словах «атомный котел», хотя этот «строгий» физический термин всего лишь прижившаяся шутка Ферми. Модель атома старика Джи Джи* называли пудингом с изюмом, эффект несохранения четности кто-то объяснил тем, что бог левша... И все это нисколько не мешало большой науке.

В конце концов сдобренная юмором фантазия — это самая драгоценная вещь в мире. Я в этом уверен.

Последнее время я постоянно об этом думаю. И дело не в том, как вели себя нацисты, услышав взрыв в лаборатории. Марк уверен, что они ворвались в нее и, никого там не обнаружив, бросились на розыски творца сверхмощного оружия. Не напав даже на след неведомо куда ускользнувшего «государственного преступника», они напечатали объявление о награде, которое сорвал и бережно сохранил старик швейцар. Возможно, что все было именно так, а может, и совершенно по-иному. Всякая конструкция, основанная на чистой логике, весьма относительна.

Бесспорно одно. Посадив человека в тюрьму, заключив его в стальную клетку или бросив его за колючую проволоку, нельзя отнять у него свободы. Мысль не заковать в кандалы и не уничтожить, она всегда отыщет верный и неожиданный ход.

Примечания:

1) Гравиконцентраторы — аккумуляторы энергии гравитационных полей (фантастическое).

2) Причинная релятивистская теория — единая теория поля, дающая зависимости между энергией и временем (фантастическое).

3) Пси-связь — связь, основанная на распространении телепатических волн (фантастическое).

* Так шутливо прозвали великого английского физика Джозефа Джона Томсона — учителя Резерфорда. (Прим. авт.)

4) Фрелон — синтетическая бумага, навечно сохраняющая написанный или напечатанный на ней текст (фантастическое).

5) Спин — собственный внутренний момент вращения, присущий элементарной частице. От слова «спин» образован термин «спинорное уравнение».

6) Нелинейное уравнение — уравнение, содержащее члены с функциями в степени выше первой.

7) Агрегат синемапамяти — аппарат, записывающий стереоскопическое изображение и звук (фантастическое).

8) Деспинатор — устройство, компенсирующее спин (см. 5) элементарной частицы (фантастическое).

9) Апейрон — так древнегреческие философы называли конечную частичку дробности материи.

10) Тензоры и вираиалы, точнее — тензоры и вираильные коэффициенты, — термины из специальных разделов высшей математики.

ЧЕРНЫЙ СТОЛБ

Что такое в нас тяжесть? Разве
тело наше тянет? Тело наше, милый
человек, на весу ничего не значит:
сила наша, сила тянет, не тело!

Н. С. Лесков

Вы, наверное, видели портрет Александра Кравцова: его помещают во всех учебниках геофизики, в том разделе, где идет речь о Кольце Кравцова. А когда-то этот портрет из номера в номер печатали все газеты мира.

С портрета смотрит молодой парень в распахнутой на груди белой одежде, какую тогда называли «тенниска». В глазах его, прищуренных, должно быть, от яркого солнца, есть что-то детское и в то же время непреклонное. Портрет в общем-то не из блестящих: чувствуется, что он получен путем воздействия сфокусированного светового пучка на бромистое серебро, как было принято во второй половине XX века. Такие аппараты можно увидеть в Центральном музее истории техники.

Этот снимок сделал на борту «Фукуока-мару» корреспондент «Известий» Оловянников, и, конечно, он никак не мог предположить, что запечатлел лицо человека, имени которого было суждено остаться в веках,

Но, как это часто бывает, имя заслонило человека.

Спросите первого попавшегося школьника, знает ли он, кто такой Александр Кравцов.

— Кравцов? Ну как же! — ответит мальчишка. — Кольцо Кравцова!

— Я спрашиваю тебя не о Кольце, а о самом Кравцове.

Он наморщит лоб и скажет:

— Ну, это было очень давно. Он сделал что-то героическое во время Великого Замыкания.

«Сделал что-то героическое...»

Так вот. Нужно рассказать этому всезнающему школьнику нашего времени о самом Кравцове.

НЕ ОБ ИМЕНИ, А О ЧЕЛОВЕКЕ.

Потому что он вовсе не был героем. Он был самым обычным парнем. Просто на него можно было во всем положиться.

Газеты того времени печатались на бумаге — не прочном, быстропортящемся пластике из древесно-целлюлозной массы. Но есть снятые с них микро. К счастью, сохранился прекрасный очерк о Кравцове (микро № кммА2рк—2681438974), написанный Оловянниковым. Да и сам Лев Григорьевич Оловянников, несмотря на свой очень преклонный возраст, еще достаточно бодр и памятлив, и он рассказал нам многие подробности о том далеком событии. У него даже сохранилась копия последнего, неотправленного письма Кравцова.

Рассказывать об этом нелегко. Дело в том, что на фоне гигантского события всепланетного масштаба — а Великое Замыкание было именно таким событием — любая попытка рассказать об индивидуальной человеческой судьбе выглядит несколько претенциозной. Вольно или невольно приходится вести речь не о человеке, а о человечестве, ибо одному ему — человечеству — под силу укroщение мировых катастроф.

И все же мы попытались, насколько это возможно, проследить личную удивительную судьбу Алексея Кравцова.

сандра Кравцова — активного участника описываемых событий.

Словом, судите сами.

1

Странное состояние — пробуждение от сна: древние считали, что спящего нельзя неожиданно будить: на время сна душа покидает тело, и пока она не вернется сама, спящий мертв. Но древние ничего не знали об электрофизикохимической деятельности клеток мозга и о свойствах нуклеиновых кислот.

За несколько мгновений проснувшийся человек вспоминает все: кто он такой, где находится, что ушло в прошлое и что предстоит...

Еще не открывая глаз, Кравцов представил себе, что над ним привычный с детства беленый потолок с лепной розеткой в середине. Потом, все еще не открывая глаз, он понял, что розетка находится за двенадцать тысяч километров отсюда, а здесь над ним — узкие доски, крашенные белой эмалью, а по ним бродят, переливаются отблески океанской зыби. Он вспомнил все и с неудовольствием открыл глаза.

Будет жаркий день с неподвижным воздухом. Будут споры с Уиллом. Да, сегодня у них русский день: они будут разговаривать только по-русски. Он, Кравцов, будет готовить еду по своему усмотрению. Чем бы отплатить Уиллу за вчерашний омлет, политый кислым вареньем из крыжовника?

Он надел защитные очки, вышел на палубу, взглянул на полуоткрытую дверь каюты Уилла. Оттуда доносилось жужжание электробритвы: старый педант скорее отдаст себя на завтрак акулам, чем появится утром с небритой физиономией. Что до Кравцова, то он уже второй месяц ходит небритый. Все равно на триста миль окрест ни одной живой души. Но дело даже не в этом. Кравцов знал, что его реденькая коричневая бородка раздражает Уилла, а это доставляло ему не то что радость, а... ну, развлекало его, что ли.

— Доброе утро, Уилл, — сказал Кравцов. — Что бы вы хотели на завтрак?

— Доброе утро, — раздался за дверью ворчливый голос. — Вы очень внимательны, благодарю вас.

Кравцов хмыкнул и пошел на камбуз. В раздумье постоял перед холодильником, затем решительно направился к полкам и взял жестянку с гречневой крупой. Гречневая каша на завтрак — как раз то, чего Уилл терпеть не мог.

Пока поспевала каша, Кравцов обошел плот. Это заняло с полчаса: круглый плот имел пятьсот метров в диаметре. Он был неподвижен, хотя и не стоял на якорях: здесь, над глубочайшей океанской впадиной, якорная стоянка была невозможна.

Шесть мощных гребных винтов удерживали плот на месте: три винта — правого вращения, три — левого. Спущеные за борт датчики непрерывно сообщали электронно-вычислительной машине все, что надо, о ветре, волне и течении, машина непрерывно обрабатывала эти сведения и давала команды на приводы винтов.

Винты второй группы — тоже шесть — стояли вертикально под плотом. Они противодействовали крену и качке. Как бы ни бесновался океан — Кравцов и Уилл дважды убеждались в этом, — плот оставался почти неподвижным; его дрейф не превышал ста метров, и колонна труб, проходившая сквозь плот до дна океанской впадины, отклонялась от вертикали меньше чем на один градус.

Самые высокие волны не достигали края палубы, поднятой на тридцатиметровую высоту. Только ветер изредка швырял на нее клочья пены, сорванной с гребней штормовых волн.

Сегодня, как всегда, все было в порядке. Атомный котел исправно грел воду, опресненную ионообменными агрегатами, пар исправно вращал роторы турбин. Генераторы электростанции работали на минимальном режиме, потому что океан был тихим, оправдывая свое старинное название. Излишки энергии шли на побочное дело — электролиз серебра, содержащегося в океанской воде, что в какой-то степени окупало немалые расходы Международного геофизического центра.

Автоматика работала безотказно. Кравцов поглядел на синюю океанскую равнину, мягко освещенную утренним солнцем. Первое время у него дух захватывало от этой величественной картины. Теперь океан вызывал у него только скуку, больше ничего.

«Двадцать семь дней до конца вахты», — подумал он и поскреб бородку под левым ухом — новая, благоприобретенная привычка.

Кравцов прошел к центру плата, где возвышалась стопятнадцатиметровая буровая вышка, посмотрел на ленту в окошке самописца. Взгляд его стал внимательным: за минувший день слабина талевого каната увеличилась на пятнадцать миллиметров. Еще вчера они с Уиллом заметили, что канат чуть-чуть свободнее обычного, но не придали этому значения. Однако пятнадцать миллиметров за сутки?..

Уилл плескался в «бассейне» — небольшом участке океана, огороженном противоакульей сеткой. Ровно в четверть восьмого он вылезет из лифта, отфыркается и скажет: «Сегодня очень теплая вода». В сухопаром теле Уилла сидела точная часовая пружина, заведенная раз навсегда.

Кравцов положил в кашу масло, посолил ее, заварил чай и вышел из камбуза в тот самый момент, когда Уилл поднялся на палубу. Кравцов вяло отсалютовал ему рукой. Уилл кивнул, стянул с головы белую резиновую шапочку, согнал ладонями воду с загорелого тела и сказал:

— Сегодня очень теплая вода.

— Кто бы мог подумать, — буркнул Кравцов.

Они завтракали под навесом. Уилл словно бы и не заметил гречневой каши. Он надрезал булку, зарядил ее толстым ломтем ветчины и налил себе в стакан чаю и рому.

— Напрасно вы не едите кашу, — сказал Кравцов.

— Спасибо. В другой раз, — спокойно ответил Уилл. — Как вы спали?

— Плохо. Меня мучили кошмары.

— Не читайте на ночь журналов на эсперанто.

— Лучше заниматься эсперанто, чем лепить из пластилина отвратительных гномов.

— Да, — сказал Уилл, отхлебывая чай с ромом. — Мне пока не удается вылепить вас. Может быть, потому, что я не совсем ясно представляю себе вашу духовную сущность.

— Духовную сущность? — Кравцов, ухмыльнувшись, посмотрел на короткий седоватый ежик Уилла. — Хотите, расскажу сказку? Заяц спросил у оленя: «Зачем ты носишь на голове такую тяжесть?» — «Как зачем? — отвечает олень. — Для красоты, конечно. Терпеть не могу тех, кто ходит с пустой головой». Заяц обиделся и говорит: «Зато у меня богатый внутренний мир».

Уилл молча набивал трубку рыжим табаком. Но Кравцов видел по прищуре его глаз, что он размышляет над сказкой.

— Теперь я расскажу, — сказал Уилл, окутываясь дымом. — Один ирландец попал в лапы к медведю. «Вы хотите меня съесть?» — спросил он. Медведь сказал: «Да, я вас съем». Ирландец говорит: «Но как вы будете есть меня без вилки?» Медведь был очень самолюбив, не хотел признаться, что не знает, что такое вилка. Думал, думал и говорит: «Да, вы правы». И отпустил ирландца.

— Это все?

— Да, это все.

Кравцов хмыкнул.

— Слабина каната — пятнадцать миллиметров, — сказал он, помолчав.

Уилл выколотил пепел из трубки и сплюнул в ящик с песком.

— Полезем вниз, парень. — С этими словами он встал и неторопливо направился к вышке.

Кравцов поплелся за ним, глядя на его крепкие волосатые ноги и аккуратную складку на светло-зеленых шортах.

Они отвалили тяжелую крышку люка в палубе и спустились под пол буровой вышки. Здесь было темно и душно. Кравцов включил свет.

Перед ними был верхний край обсадной колонны,

увенчанный набором превентеров *, сквозь которые уходила вверх бурильная труба.

Уилл постоял в раздумье, потом залез на верхний фланец, вытащил линейку и замерил расстояние до подроторных брусьев.

— Ну, что вы обнаружили? — спросил Кравцов.

Уилл спрыгнул вниз, снова осмотрел превентеры, забормотал себе под нос:

На питерхэдском берегу
В засаде Мак-Дугал.
Шесть дюймов стали в грудь врагу
Отмерит мой кинжал...

— Ну и что? — Кравцов начал терять терпение.

— А то, что я сам устанавливал эти превентеры шесть лет назад. И будь я проклят, если обсадная колонна не поднялась на добрых шесть дюймов!

— Вы твердо помните, как было, Уилл?

Уилл промолчал. Он не отвечал на такие вопросы.

2

Шесть лет назад по решению очередного МГГ — Международного геофизического года — здесь, в океанской впадине, было начато бурение сверхглубокой скважины для изучения состава земли. Все страны-участницы внесли свой вклад в сооружение плавучего основания. Четыре бригады бурильщиков, отобранных международной комиссией, обосновались на плоту. Все они были опытными морскими нефтяниками, но бурить на глубину пятидесяти километров приходилось впервые. Правда, океанская впадина экономила свыше десяти километров, но и сорок километров — не шутка.

Буровому инструменту впервые предстояло войти в подкорковую оболочку Земли — загадочную мантию. Здесь, под океанским дном, слой Мохоровичича — зона изменения свойств — ближе всего подходил к поверхности планеты.

* Превентер — мощная задвижка для герметизации всей скважины или кольцевого пространства между бурильными и обсадными трубами на случай выброса подземных газов.

Для проходки скважины были применены новейшие достижения мировой техники. Металлические обсадные трубы из особо прочного сплава не опускались до забоя; они проходили сквозь толщу океанской воды и углублялись в донный грунт всего на несколько километров. Дальше стенки скважины не укреплялись металлом: термоплазменный способ бурения, сжигавший породу до газообразного состояния, одновременно оплавлял стенки и делал их прочными, герметичными, предохраняя от обвалов и наглоухо перекрывая встречные водоносные пласти.

Сквозь этот колодец уходили в неизведанную глубину бурильные трубы. Они не соединялись, как обычно, резьбовыми замками. Высокочастотный сварочный автомат сваривал их между собой почти мгновенно во время спуска колонны. А при подъеме трубы разрезались на стыках автоматическим плазменным резаком.

Если бы вся скважина бурилась термоплазменным способом, то проходка была бы закончена сравнительно быстро, «с одного захода». Но целью было не само бурение, а последовательное взятие образцов породы из всех встреченных пластов. Поэтому приходилось то и дело переходить на старинное вращательное бурение с промывкой забоя утяжеленным глинистым раствором: только медлительное колонковое долото могло выгрызть алмазными зубами керн — образец породы в неискаженном природном состоянии с ясно различимым углом падения пласта, с сохранением естественной пористости, насыщения и множеством других важных для геологов показателей.

Подчас приходилось прибегать не только к электробурам и турбобурам, но и к роторному бурению, вращая всю огромную колонну труб. Пользоваться ротором на таких глубинах удавалось только потому, что бурильные трубы были изготовлены из нового, специально разработанного легкого и прочного сплава.

Святилищем плата был «керносклад» — помещение, где на нумерованных стеллажах в полукруглых лотках лежали керны — длинные цилиндриче-

ские столбики породы, выбуренные колонковым долотом. Хранилище занимало добрую половину средней палубы плота. Там же помещалась лаборатория для исследования образцов: некоторые сведения надо было получать немедленно, сразу после подъема керна на поверхность. Потом образцы консервировались до дальнейших исследований — заливались раствором, быстро полимеризовавшимся в прозрачную пластмассу.

Много раз подымалась бурильная колонна, и геологи медленно читали — буква за буквой — удивительную повесть недр и ломали головы над ее загадками.

На сорок втором километре бурение внезапно застопорилось. Там, внизу, стотысячеградусная плазма — электронно-ядерный газ — бушевала, билась о забой. Стрелки приборов ушли вправо до упоров — ничего не помогало: плазменная бурильная головка, не знавшая до сих пор преград, встретила на своем пути неодолимое препятствие.

Решили поднять трубы и осмотреть головку, но трубы не поддавались: что-то непонятное держало их в скважине.

Именно тогда один из буровых мастеров, бакинец Али-Овсад Рагимов, сказал свою фразу, ставшую впоследствии знаменитой:

— Ни туда, ни сюда не хочет, совсем как кара-бахский ишак.

Несколько недель бились бурильщики, пытаясь сломить сопротивление породы или поднять гигантскую колонну труб. Лучшие геологи мира спорили в кают-компании плавучего острова о непонятном явлении. Тщетно. Скважина, уходившая в немыслимую глубь, не собиралась выдавать людям свою тайну.

И тогда президиум МГГ решил прекратить работы. Круглый плот опустел. Стих разноязычный говор, не приставали к причалу транспорты с гематитом, глиной и поверхностно-активными веществами для бурильного раствора. Улетели ученые. Опустел керносклад — образцы вывезли для окончательных исследований.

Геологическая комиссия МГГ держала на плоту трехмесячные вахты. Вначале вахта состояла из двух буровых бригад. Но шли годы, и вахта постепенно сократилась до двух человек — инженеров по бурению.

Так продолжалось почти шесть лет. Каждое утро вахтенные инженеры запускали лебедку, пытаясь поднять трубы. Каждое утро проверяли натяжение талевых канатов. И неизменно в вахтенном журнале появлялась запись — на всех языках она всегда означала одно: «Трубы не идут».

«Карабахский ишак» продолжал упорствовать.

Саша Кравцов был еще студентом, когда началось бурение сверхглубокой скважины. Его чубатая голова была набита уймой сведений об этом небывалом бурении, вычитанных из специальных журналов и услышанных от очевидцев. Кравцов мечтал попасть на круглый плот в океане, но вместо этого, окончив институт, получил назначение на Нефтяные Камни — морской нефтепромысел на Каспии. Там он проработал несколько лет. И вдруг, когда все уже и думать позабыли о заброшенной скважине, Кравцов был назначен на трехмесячную вахту в океане.

Он обрадовался, узнав, что его напарником будет Уилл Макферсон — один из ветеранов скважины. Первое время и впрямь было интересно: шотландец, попыхивая трубкой, смешивая английские и русские слова, рассказывал о «сверхкипящей» воде двенадцатого километра и о черных песках восемнадцатого — песках, которые не поддавались колонковому буру и за два часа «съедали» алмазную головку. Посмеиваясь, Уилл вспоминал, как темпераментный геолог чилиец Брамулья бесновался, требуя во что бы то ни стало добыть с забоя не менее восьми тонн черного песка, и даже молился, испрашивая у бога немедленной помощи.

И еще рассказывал Уилл о страшной вибрации и чудовищных давлениях, о странных бактериях, населявших богатые метаном пластины тридцать седьмого километра, о грозных газовых выбросах, о пожаре, который был задушен ценой отчаянных усилий.

Шотландец не любил повторяться, и, когда его

рассказы иссякли, Кравцову стало скучно. Выяснилось, что во всем, кроме морского бурения, их взгляды были диаметрально противоположны. Это значительно усложняло жизнь. Они вежливо спорили о всякой всячине — от способов определения вязкости глинистого раствора до сравнительного психоанализа русской и английской души.

— Ни черта вы не понимаете в англичанах, — спокойно говорил Уилл. — Для вас англичанин — смесь из Сэмюэла Пиквика, полковника Лоуренса и Сомса Форсайта.

— Неправда! — воскликнул Кравцов. — Это вы не понимаете русских. Мы в вашем представлении — нечто среднее между братьями Карамазовыми и мастером Али-Овсадом!

Кравцов бесился, когда Уилл рассуждал о вычищенных у Достоевского свойствах загадочной русской души, где добро и зло якобы чередуются параллельными пластами, как глина и песок в нефтеносных свитах. Кравцов усмехался, когда Уилл вспоминал мастера Али-Овсада с его изумительным чутьем земных недр. Однажды шотландец рассказал, как на двадцать втором километре произошел необъяснимый до сих пор обрыв труб. В скважину опустили фотокамеру, чтобы по снимкам определить характер излома. Пленка оказалась засвеченной, несмотря на сильную защиту от радиоактивности. Тогда мастер Али-Овсад тряхнул стариной. Он спустил в скважину на трубах «печать» — свинцовую болванку, осторожно подвел ее к оборванному концу бурильной колонны и прижал «печать» к излому. Когда печать подняли и она повисла над устьем скважины, Али-Овсад, задрав голову, долго изучал вмятины на свинце. Потом, руководствуясь оттиском, он собственноручно отковал «счастливый крючок» замысловатой формы, отвел этим крючком трубу от стенки скважины к центру и, наконец, поймал ее мощным захватом — глубинным овершотом.

— Ваш Али-Овсад — истинный ойлдриллдер*, —

* Нефтяник-бурильщик (англ.).

говорил Уилл. — Он хорошо видит под землей. Лучшего специалиста по ликвидации аварий я не встречал.

Шотландец неплохо говорил по-русски, но с азербайджанским акцентом — следствие близкого знакомства с Али-Овсадом. Он вставлял в речь фразы вроде: «Отдыхай-мотыхай — такое слово не знаю, иди буровой работа работай». Он вспоминал русское, по его мнению, национальное блюдо, которое Али-Овсад по выходным дням собственноручно готовил из бараньих кишок и которое называлось «джыз-быз».

Кравцов знал Али-Овсада по Нефтяным Камням, и формулы типа «отдыхай-мотыхай — такое слово не знаю» были ему достаточно хорошо известны.

Любовь к морскому бурению и уважение к мастеру Али-Овсаду были, пожалуй, единственными пунктами, объединявшими Кравцова и Уилла.

3

Прошли еще сутки. Индикаторы показали, что обе колонны труб — бурильная и обсадная — поднялись вверх еще на двадцать миллиметров. Поднять бурильную колонну с помощью лебедки не удавалось по-прежнему. Было похоже, что земля потихоньку выталкивает трубы из своих недр, но произвести эту работу человеку не позволяет.

Уилл заметно оживился. Напевая шотландские песенки, он часами торчал под полом буровой вышки, у превентеров, возился с магнитографом, что-то записывал.

— Послушайте, Уилл, — сказал Кравцов за ужином, — по-моему, надо радиоровать в центр.

— Понимаю, парень, — откликнулся Уилл, подливая ром в чай. — Вы хотите заказать свежие журналы на эсперанто.

— Бросьте шутить.

— Бросьте шутить, — медленно повторил шотландец. — Странное выражение, по-английски так не скажешь.

— Повторяю по-английски, — подавляя закипающее раздражение, сказал Кравцов: — Надо радиоровать в центр. В скважине что-то происходит.

Утром они запросили внеочередной сеанс связи и доложили Геологической комиссии МГГ о странном самоподъеме труб.

— Продолжайте наблюдать, — ответил далекий голос вице-председателя комиссии. — Ведь вам не требуется срочная помощь, Уилл?

— Пока не требуется.

— Вот и хорошо. У нас, видите ли, серьезные затруднения на перуанском побережье. Новая военная хунта препятствует бурению.

— Советую вам свергнуть ее поскорее.

— Ценю ваш юмор, Уилл. Привет Кравцову. Всего хорошего, Уилл.

Инженеры вышли из радиорубки, и духота полудня схватила их влажными липкими лапами. Кравцов поскреб бородку, сказал:

— Черт бы побрал военные хунты!

— Не все ли равно? — Уилл вытер платком шею. — Лишь бы они не мешали работать ученым и инженерам.

— Мир состоит не только из ученых и инженеров.

— Это меня не касается, я не интересуюсь политикой. Смешно на вас смотреть, когда вы со всех ног кидаетесь к приемнику слушать последние известия.

— А вы не смотрите, — посоветовал Кравцов. — Я же не смотрю на вас, когда вы лепите женские фигуры и плотоядно улыбаетесь при этом.

— Гм... Мои улыбки вас не касаются.

— Безусловно. Так же, как и вас, мои броски к приемнику.

— Вы проверили канат?

— Да, я выбрал слабину. Послушайте, Уилл, какого дьявола вы согласились на вахту здесь? Вы, с вашим опытом, могли бы бурить сейчас...

— Здесь хорошо платят, — отрезал шотландец и полез в люк.

А трубы продолжали ползти вверх. Утром шестого дня Кравцов заглянул в окошко самописца — и глазам своим не поверил: полтора метра за сутки.

— Если так пойдет, — сказал он, — то обсадная колонна скоро упрется в ротор.

— Очень возможно. — Уилл, свежевыбранный, в синих плавках, вышел из своей каюты.

— Вы будете купаться? — хмуро спросил Кравцов.

— Да, обязательно. — Уилл натянул на голову шапочку и пошел к бортовому лифту.

Кравцов спустился в люк. Превентеры лезли вверх прямо на глазах. «Придется вынуть вкладыши из ротора, чтобы превентеры могли пройти сквозь него», — подумал он и принялся отсоединять трубы гидравлического управления.

Тут явился Уилл, от него пахнуло морской свежестью.

— Сегодня очень теплая вода, — сказал он. — Ну, что вы тут делаете, парень?

Они освободили превентеры от подводки, сняли с них все выступающие части и поднялись наверх.

— Ничего не понимаю, — сказал Кравцов. — Ну ладно, самоподъем бурильных труб. Невероятно, но факт. Но ведь низ обсадной колонны сидит в грунте намертво. А она тоже лезет вверх. Дьявольщина какая-то. Не сегодня-завтра верх обсадки с превентерами пожалует сюда.

— Придется срезать верхние бурильные трубы, — сказал Уилл.

Кравцов задрал бороденку и, щуря глаза за стеклами очков, посмотрел на талевый блок. В последние дни они много раз выбирали слабину канатов, и теперь талевый блок оказался вздернутым чуть ли не до самого «фонаря» вышки. Подойдя к пульту, Кравцов взглянул на стрелку указателя.

— Только девять метров запаса, — сказал он. — Да, придется резать.

Уилл встал у клавиатуры пульта. Взвыл на иуске

главный двигатель, мягко загудели шестерни редукторов мощной лебедки. Уилл дал натяжку бурильным трубам. Затем он тронул пальцами одну и другую клавиши. Из станины автомата выдвинулся длинный кронштейн с плазменным резаком и приник к трубе. За синим бронестеклом из вольфрамового наконечника со свистом вырвалось тонкое жало струи электронно-ядерного газа. Автомат быстро обернулся резаком вокруг бурильной трубы, пламя погасло с легким хлопком, и кронштейн ушел назад.

Отрезанная восьмидесятиметровая «свеча» бурильных труб плавно качнулась на крюке, автомат-верховой отвел ее в сторону и опустил на «подсвечник» — будто пробирку в штатив поставил.

Освободившийся крюк с автоматическим захватом — спайдером быстро пошел вниз. Там, наверху, он оказался немногим больше рыболовного крючка, теперь же, спустившись, занял чуть ли не все пространство между металлическими ногами вышки.

Спайдер сомкнул стальные челюсти вокруг оставшегося внизу конца бурильной колонны. Уилл включил подъем, «подергал» трубу — на всякий случай. Нет, скважина не отпускала колонну, трубы не поддавались, как и прежде.

Больше делать было нечего. Кравцов уселся в шезлонг под навесом и уткнулся в журнал на эсперанто. Ветерок приятно обвевал его тело. Уилл снял ленту с магнитографа и, настынивая, рассматривал запись.

Кравцов поднял голову.

— Что это может быть, Уилл? Скважина будто взбесилась...

— А что мы вообще знаем о земных недрах? — Голос Уилла прозвучал необычно резко. — Мы знаем, да и то прескверно, лишь тонкий слой бумаги, наклеенный на глобус.

«Неплохо сказано», — подумал Кравцов.

— Если бы человечество не тратило столько сил и средств на вооружение...

— Что вы сказали?

— Это я так, про себя, — устало проговорил

Кравцов. — Мы бы сумели многое сделать, если бы сообща, всем миром...

— Никогда этого не будет, — перебил его Уилл.

— Будет. Обязательно будет.

— Человечество, о котором вы любите рассуждать, более склонно к драке, чем к научным изысканиям.

— Не человечество, Уилл, а отдельные...

— Знаю, знаю. Вы мне уже объясняли: монополисты. Меня это не касается, будь оно проклято.

Впервые Кравцов видел шотландца таким возбужденным.

— Ладно, оставим это, — сказал он, вытягивая длинные загорелые ноги. — Но почему трубы прут вверх? Может быть, подъем морского дна? Какие-нибудь подводные толчки...

Уилл отбросил ленту и что-то отметил в блокноте.

— Вы мне лучше скажите, почему намагничиваются трубы, — проворчал он.

— Намагничиваются? — Кравцов недоуменно вздернул брови. — Вы уверены?

Уилл не ответил.

— Но этот сплав не может намагничиваться...

— Знаю. Но факт есть факт. Вот вам график ежедневных замеров за два месяца. — Он протянул Кравцову раскрытый блокнот.

Кравцов считал возню шотландца с магнитографом причудой. Но теперь, посмотрев на аккуратный график, он поразился. Намагниченность труб, ничем себя не обнаруживавшая прежде, внезапно возникла две недели назад и заметно увеличивалась с каждым днем. В целом она была очень слабенькая, но ведь ей не полагалось быть вовсе...

— Вы хотите сказать, Уилл...

— Я хочу сказать, что надо идти обедать.

Кравцов проснулся от завывания ветра. Было еще очень рано, рассвет только начинал подсвечивать густой мрак ночи. Ветер врывался сквозь распахнутые иллюминаторы в каюту, раскачивал шторки, шелес-

тел страницами журналов на столе. Он был прохладный и влажный, пахнул далекой московской осенью, и Кравцову стало тревожно и сладко.

«Скоро конец вахты», — подумал он и вдруг вспомнил то, что происходило в последние дни на плоту. Дремотная размягченность мигом слетела. Он оделся и вышел из каюты. Буровая была освещена. Что там делает Уилл в такую рань? Кравцов быстро пошел к вышке. Он слышал, как посвистывает ветер в ее металлических переплетах, слышал, как рокочет океан, разбуженный начинаящимся штормом. В темном небе не видно было ни луны, ни звезд.

Кравцов взбежал на мостки буровой. Там возле устья скважины стоял шотландец.

— Что случилось, Уилл?

Но он уже и сам увидел, что случилось. Превентеры медленно поднимались сквозь восьмиугольное отверстие ротора, освобожденное от вкладышей. Они лезли вверх прямо на глазах, выносимые обсадной колонной — дикое, непонятное, небывалое зрелище.

— Придется снять превентеры, — сказал Уилл.

— Не опасно, Уилл? А вдруг газовый выброс...

— Надо их снять, пока они здесь. Когда их унесет наверх, снимать будет трудней.

Они принялись орудовать электрическими гайковертами, освободили массивный фланец и сняли превентеры, подцепив его к крюку вспомогательной лебедки. Так же отсоединили они второй и третий превентеры. Когда они возились с последним, он был уже на уровне груди: обсадная колонна продолжала лезть вверх, выталкиваемая таинственной силой.

Правда, она лезла не так быстро, как бурильная колонна, — та уже здорово поднялась, метров на сорок над устьем, — но что будет дальше? Что будет, когда она вылезет еще и закроет собою бурильные трубы? Резать? Но автомат плазменного резака рассчитан только на восьмидюймовую бурильную трубу, он не сможет обернуться вокруг двадцатидюймовой обсадной. Да и кому могло прийти в голову, что обсадная колонна вздумает вылезать из скважины...

Кравцов поскреб бородку, сказал:

— Что сделал бы на нашем месте Али-Овсад?

— То же, что сделаем мы, — ответил Уилл.

Они взглянули друг другу в глаза.

— Опустить в бурильную колонну труборезку? — спросил Кравцов.

— Не успеем. Скорость все время возрастает. Да и не справимся вдвоем. Будем рвать бурильные трубы.

Такие решения принимают лишь в самых крайних случаях. Но тут и был самый крайний случай. Им не справиться с обеими колоннами труб, ведь их скорость все время прибывает. Да, только это и остается: тянуть бурильную колонну, пока она не порвется где-нибудь в глубине, а затем как можно быстрее вытягивать и резать автоматом оборванную плеть. После этого останется только борьба с обсадной колонной.

Снова легли пальцы Уилла на клавиатуру пульта. Взвыл главный двигатель, загудели шестерни редукторов. Поскрипывали, вытягиваясь под страшной нагрузкой, талевые канаты — жутковато становилось от этого скрипа. Ветер, налетая порывами, путался в тую натянутых канатах, высвистывал пиратскую песню.

Стрелка индикатора нагрузки, дрожа, подползла к красной черте. Молча смотрели инженеры на стрелку, и вдруг они услышали слабый щелчок. Звук доносился из глубины по длинному телу колонны. Стрелка резко качнулась влево: теперь на крюке висело только девять тысяч триста метров труб.

— Порвали! — радостно воскликнул Кравцов. — Включайте резак.

Крюк продолжал вытягивать из скважины оторванную плеть бурильных труб. Уилл уравнял скорость резака со скоростью подъема, и кронштейн пополз вверх по штанге рядом с трубой, и синее пламя плазмы опоясало трубу. Пока автомат-верховой отводил отрезанную свечу, резак съехал вниз и снова приник к трубе, и так они отрезали свечу за свечой, и резак ходил вверх-вниз, вверх-вниз.

Уже давно рассвело, припустил и перестал дождь, и ветер гнал низко над океаном стада бурых туч.

Потом обсадная колонна вылезла настолько, что мешала резать бурильную. Пришлось заняться ею. Кравцов снял плазменный резак с кронштейна-автомата и, держа его в руках, принялся кромсать шершавое, облепленное морскими раковинами тело обсадной трубы, пока не срезал его «под корень». И снова заходил вверх-вниз автомат.

Незаметно текли часы, наступил вечер.

Наконец они закончили эту дьявольскую работу: вся оборванная плеть бурильных труб была вытянута, и порезана, и расставлена на подсвечниках.

Кравцов поплелся варить кофе. Когда он вышел из камбуза с подносом в руках, Уилл корчился в шезлонге, держась за сердце.

— Нитроглицерин, — прохрипел он. — В стеклянном шкафу, верхняя полка... Слева...

Кравцов кинулся в каюту Уилла, схватил стеклянную трубочку. Уилл положил под язык две белые горошины.

— Ну, лучше вам? — встревоженно спросил Кравцов.

Уилл кивнул.

Кравцов напоил его кофе и поспешил в радиорубку. Только в одиннадцатом часу вечера ему удалось связаться с центром.

— Да, да! Срочно! — кричал он. — Не менее двух бригад! И врача! Что? Да, врача, у Макферсона приступ...

Уилл выхватил у него микрофон.

— Не надо врача, — сказал он ровным голосом. — Четыре аварийные бригады — полный круг — поскорее.

Моросил дождь, и океан был неспокоен.

Кравцов ничего не замечал. Всю ночь он резал обсадные трубы и не заметил, как наступило серое утро. Лишь два раза он позволил себе сделать пере-

дышку, чтобы проведать Уилла. Шотландец лежал у себя в каюте без сна.

— Какая скорость? — чуть слышно спрашивал он.

— Четыре метра в минуту, — отвечал Кравцов, беспокойно глядя на него. — Как вы тут? Не лучше?

— Резак, — шептал Уилл. — Резак исправен?

— Исправен. — Кравцов пожал плечами. — Ну ладно, постарайтесь поспать, Уилл. Пойду.

Плазменный резак работал исправно, только вот руки ныли от его тяжести. Трубы лезли из скважины все быстрее. Кравцов еле успевал цеплять обрезки труб на крюк вспомогательного подъемника.

Кончился аргон, и ему пришлось бежать на склад, грузить на тележку новые баллоны. Он провозился там с полчаса, и когда он подъехал на тележке по рельсовому пути к буровой, обсадная колонна подбиралась уже чуть ли не к самому кронблоку.

Кравцов переключил управление с главного пульта на пульт лифта и поднялся наверх. С трудом ему удалось сменить восьмидюймовый спайдер на двадцатидюймовый. Затем, когда спайдер двинулся вниз, навстречу трубе, и, лязгнув, обхватил мертвый хваткой ее верхний край, Кравцов отрегулировал скорость подъема, спустился вниз и включил резак.

Он перерезал трубу — рез пошел косо — и оттянул вспомогательным подъемником ее конец, подвев под него тележку. Несколько осторожных манипуляций — и стодвадцатиметровая плеть легла на мостик по ту сторону вышки.

Теперь над устьем скважины возвышался, как пень срубленного дерева, трехметровый обрезок. Пока он дойдет до верха, есть немного времени.

Надо напоить Уилла чаем.

Сутулясь и едва передвигая ноги, Кравцов побрел к каюте шотландца. Он снянул рукавицы и вытер ими лицо, мокрое от пота и дождя. Голова слегка кружилась от усталости, а может быть, оттого, что он, в сущности, целые сутки ничего не ел.

Уилла в каюте не было.

Дверь камбуза была распахнута, Кравцов побе-

жал туда. Ну, конечно, торчит у плиты, помешивая ложкой в кастрюле.

— Какого дьявола вы возитесь тут? — заорал Кравцов, не помня себя от ярости. — Сейчас же ложитесь!

— Гречневая каша, — тихо сказал Уилл. — Я не представлял себе, что она так медленно разваривается.

Кравцов помолчал, глядя на синие круги под глазами шотландца.

— Ложитесь, — повторил он. — Я сам доварю ее.

— Вам следовало стать тюремным надзирателем, а не горным инженером, — проворчал Уилл и вышел на веранду.

Кравцов снял с плиты чайник и налил чаю Уиллу и себе. Он сделал несколько глотков и поставил кружку на стол. Отсюда, с веранды, было видно, как ползла внутри вышки обсадная колонна, скорость ее заметно возросла.

Кравцов побежал к вышке. Но когда он включил резак, вместо острого синего жала высокотемпературной плазмы вспыхнуло широкое, ленивое, коптящее пламя.

Кравцов выругался и отошел с резаком назад под яркий свет лампы, чтобы посмотреть, в чем дело. Но едва он сделал пять шагов, как резак в его руках исправно выбросил плазму.

Что еще за новости?..

Он поспешил к трубе, наставил резак, но плазма опять превратилась в простой огонь. Кравцов нервно крутил ручки вентиляй, дергал шланги — ничто не помогало.

— Я ожидал этого, — раздался голос за его спиной.

— Послушайте, Уилл, если вы сейчас же не ляжете...

— Потушите резак, он не будет работать.

— Почему?

— Самоподъем ускоряется, и магнитное поле колонны возросло. Ионизатор резака вблизи скважины отказывает. Нейтрализация, понимаете?

— Что же делать? — Кравцов выключил резак и швырнулся на палубу.

— В складе есть газовые горелки.

— Старье, — пробормотал Кравцов.

— Другого выхода нет. Надо резать.

Они взобрались на тележку и поехали в склад. Баллоны с газами пришлось вытаскивать из дальнего, заставленного разным инвентарем угла. Уилл вдруг глухо застонал, сел на ящик. Кравцов оставил баллон, подбежал к шотландцу.

— Ничего... Сейчас... — Уилл трясящейся рукой вынул из кармана стеклянную трубочку, положил под язык две белые горошины. — Сейчас пройдет. Езжайте...

Кравцов погнал нагруженную тележку к буровой. Лихорадочно, до крови сбивая суставы пальцев, он вталкивал баллоны в гнезда рампы, навертывал соединительные гайки.

Газовая резка шла куда медленнее. Нескончаемо тянулось время, и нескончаемо тянулись из устья скважины новые и новые метры трубы.

Семь метров в минуту!

Он кромсал трубу как попало и уже не оттаскивал отрезанные куски, только отскакивал, когда они с грохотом рушились на мостки. Гудело, не переставая, голубое пламя, и горелка дрожала в руках, и резы шли вкривь и вкось.

Час прошел? Или сутки? Время остановилось. Гудящее пламя — и грохот отваливающихся кусков труб. Больше ничего. И еще только одна мысль в отупевшем мозгу: «Сам ее доварю... Сам...»

Он не видел, как припался Уилл и стал следить за давлением, переключая рампу с пустых баллонов на полные.

Он не слышал рокота воздушных моторов. Не видел, как возле плата сел на неспокойную воду белый гидросамолет и как надувные красные шлюпки с людьми в брезентовых плащах направились, прыгая на волнах, к причалу.

Чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо.

— Убирайтесь! — рявкнул он из последних сил и дернулся.

Рука отпустила плечо, но не исчезла. Она выхватали у Кравцова горелку, а другая рука мягко отстранила его.

Кравцов поднял голову и тупо уставился на жесткое, в морщинах лицо с черными усиками над губой.

— Али-Овсад?.. — проговорил он, с трудом ворочая языком. И повалился навзничь.

7

В те дни во многих газетах мира появились небольшие сообщения собственных корреспондентов из Манилы, Джакарты и Токио, подхваченные затем провинциальными газетами.

«Вести с Тихого океана: ожила стодвадцатитысячечутовая скважина, заброшенная еще во времена прошлого МГГ» (*«Нью-Йорк геральд трибюн»*).

«Загадочное явление природы. Недра выталкивают бурильные трубы из сверхглубокой скважины» (*«Таймс»*).

«Подвиг советского инженера. Сутки напряженной борьбы на плавучем острове в Тихом океане» (*«Известия»*).

«Мастер Али-Овсад приходит на помощь» (*«Бакинский рабочий»*).

«Схватка русского и шотландца с морским дьяволом» (*«Стокгольм тиднинген»*).

«Что бы ни случилось, Объединенная Арабская Республика останется нейтральной» (*«Аль-Гумхурия»*).

«Кара Господня за дерзкое проникновение в глубь Земли» (*«Оссерваторе Романо»*).

«Мы встревожены: это опять около нас» (*«Ниппон таймс»*).

8

Кравцов посмотрел на индикатор и, сморщившись, поскреб шею под левым ухом. Бороду он сбрил сегодня утром, но привычка осталась.

Десять метров в минуту... Скоро вся обсадная колонна выползет наружу.

Четыре бригады, сменяясь, резали и резали трубы, еле справлялись с бешеным темпом подъема. Плот был завален кусками труб; автокран беспрерывно грузил их в самосвалы, а у причала трубы перегружались в трюмы транспортного судна под голландским флагом. Это судно было по радио зафрахтовано президиумом МГГ в Маниле. Туда же, в Манилу, срочно прилетели два представителя Геологической комиссии МГГ, и судно, приняв их на борт, форсированным ходом направилось к плоту. Сразу по его прибытии началась погрузка.

К Кравцову вразвалочку подошел мастер Али-Овсад. Жесткая, дубленная ветрами и зноем кожа его лица лоснилась от пота.

— Жалко, — сказал он.

— Да, жарко, — рассеянно отозвался Кравцов.

— Я говорю: жалко. Такой хороший труба — очень жалко. — Али-Овсад поцокал языком. — Джим! — крикнул он белобрысому долговязому парню в кожаных шортах. — Давай сюда!

Джим Паркинсон спрыгнул с мостков и пошел по трубам, размахивая длинными руками. Несмотря на свою молодость, Джим был одним из лучших монтажников техасских нефтяных промыслов. Он остановился, балансируя на трубе, и с улыбкой посмотрел на Али-Овсада. Тень от зеленого целлULOидного козырька падала на его узкое лицо, челюсть ритмично двигалась, пережевывая резинку.

Али-Овсад указал ему на крюк вспомогательного подъемника.

— Люльку подвешивай, билирсен? * Свои ребята-автогенщик в люльку сажай, поднимай рядом с трубой. Такая же скорость, как труба лезет, да? — Али-Овсад показал руками, как поднимается колонна труб, а рядом с ней люлька. — Лифт! Ап! Билирсен?

Кравцов хотел было перевести это на английский, но оказалось, что Джим прекрасно понял Али-Ов-

* Понимаешь? (азерб.).

сада. Он выплюнул резиновый комок, удачно попав между своими ботинками и ботинками Али-Овсада, и сказал:

— О'кэй!

Затем он нагнулся, дружелюбно хлопнул бакинца по плечу и добавил:

— Али-Офсайт — карашо!

И, хохотнув, пошел отдавать распоряжения своим парням.

Через четверть часа люлька, подхваченная крюком подъемника, поползла вверх рядом с обсадной колонной. Здоровенный черный румын из подсменной бригады оглушительно свистнул и заорал:

— Давай, давай!

Техасец-газорезчик выглянул из люльки и, осклабившись, оттопырил вверх большой палец. Затем он выставил, как ружье, горелку и впился огнем в серое тело трубы.

9

Около семи часов вечера представитель Геологической комиссии чилиец Брамуля созвал в кают-компании совещание.

— Сеньоры, прошу высказываться. — Он залпом осушил стакан холодного лимонада и откинулся на спинку плетеного кресла. — Уилл, не угодно ли вам?

Уилл, несколько оправившийся после приступа, сидел рядом с Кравцовым и листал свой блокнот.

— Пусть вначале мой коллега Кравцов сообщит результаты последних замеров, — сказал он негромко.

— Да, пожалуйста, сеньор Кравцов.

— Скорость самоподъема — одиннадцать метров в минуту, — сказал Кравцов. — По моим подсчетам, при наблюдаемом нарастании скорости обсадная колонна примерно через четыре часа будет полностью вытолкнута из грунта. Ее нижний край повиснет над дном океана...

— Позвольте, молодой человек, — перебил его сухонький австриец Штамм, единственный из всех обитателей плота при галстуке, в пиджаке и брю-

ках. — Вы употребили выражение «вытолкнута». Если так, то низ колонны никак не может «повиснуть», как вы изволили выразиться. Его, очевидно, будет подпирать то, что вытолкнуло его, не так ли?

— Пожалуй... — Кравцов слегка опешил. — Просто я не так выразился... Теперь о бурильной колонне. Вы знаете, что мы оборвали ее на глубине, но она, несомненно, тоже ползет вверх. По моим подсчетам, ее верхний край находится сейчас на глубине около семи тысяч метров, то есть он поднимается внутри обсадной колонны, в той ее части, которая находится в толще воды. — Кравцов говорил медленно, тщательно подбирая слова. — К шести часам утра можно ожидать появления бурильной колонны над устьем скважины. Я предлагаю...

— Позвольте, — раздался дребезжащий голос Штамма. — Прежде чем перейти к предложениям, следует кое-что уточнить. Считаете ли вы, господин Кравцов, что вместе с обсадной колонной выталкивается и искусственная обсадка, иначе говоря — оплавленная порода стенок скважины, которая служит как бы продолжением обсадной колонны?

— Не знаю, — неуверенно произнес Кравцов. Он немного робел перед Штаммом, чем-то австриец напоминал ему школьного учителя географии. — Я, строго говоря, не геолог, а всего лишь бурильщик...

— Вы не знаете, — констатировал Штамм. — Пожалуйста, продолжайте.

— Наши газорезчики... — Кравцов прокашлялся. — Газорезчики уже сейчас с трудом управляются. Что же будет, когда трубы попрут... извините, полезут еще быстрее? Я предлагаю срочно радиоровать в центр, чтобы на плот доставили фотоквантовый нож. У нас в Москве есть прекрасная установка — ФКН-6А. Она мгновенно режет материал какой угодно прочности.

— ФКН-6А, — повторил Брамулья и покивал головой. — Да, это мысль. — Он влил в свою глотку еще стакан лимонада. — Почему вы замолчали?

— У меня все, — сказал Кравцов.

— Сеньор Макферсон!

— Да, — отозвался Уилл. — Мое мнение таково. Скважина прошла в какую-то трещину мантии. Неизвестное вещество, сжатое огромным давлением до пластичного состояния, нашло выход и выталкивает колонну...

— Позвольте, — вмешался Штамм. — Господа, нужна какая-то последовательность. Я возвращаюсь к вопросу об искусственной обсадке. Считаете ли вы...

— Не думаю, мистер Штамм, что стенки скважины могут быть столь сильно разрушены, — сдержанно сказал Уилл.

— Вы не думаете, — резюмировал австриец. — А я думаю, что надо немедленно спустить телекамеру и посмотреть, что происходит с грунтом. Телекамера на плоту имеется, не так ли? Пока мы будем ее опускать, обсадная колонна выйдет из грунта, и мы увидим, как ведет себя искусственная обсадка. Я удивлен, господин Макферсон, что вы не предприняли спуска телекамеры с самого начала явления. Прошу вас, продолжайте.

— Да, насчет камеры — моя оплошность, согласен, — сказал Уилл. — Вещество, которое выдавливает трубы, обладает магнитными свойствами. Я проводил измерения с начала вахты и убедился: трубы намагничены. Минуточку, — повысил он голос, видя, что австриец открыл рот, — я предвижу ваш вопрос. Да, трубы сделаны из немагнитного сплава, но тем не менее это факт: они намагничены. Их магнитное поле нейтрализует ионизатор плазменного резака. Прошу ознакомиться со сводным графиком моих наблюдений.

Штамм поспешил нацепил очки и склонился над графиком. Брамулья, шумно отдуваясь и оттопыривая толстые губы, смотрел через его плечо. Али-Овсад подставил Кравцову волосатое ухо, и тот, понизив голос, переводил ему слова Уилла. Выслушав до конца, Али-Овсад задумчиво поковырял в ухе. Старый мастер, на своем веку основательно издырявивший землю буровыми скважинами, был озадачен.

— Хотите что-нибудь сказать, сеньор Али-Овсад? —

спросил Брамулья, и Кравцов перевел мастеру его вопрос.

— Что сказать? Бурение-мурение — это я, конечно, немножко понимаю, — нараспев ответил Али-Овсад. — А такую породу, честное слово, никогда не встречал. Давай подождем, это вещество наверх пойдет — тогда посмотрим.

Штамм поднял голову от графика.

— Ждать нельзя ни в коем случае. Неизвестно, что произошло в недрах. Извержение обсадки может вызвать сильные толчки. Господа, я предлагаю после спуска телекамеры эвакуировать всех на голландский транспорт.

— Ну уж нет! — вскричал Кравцов. — Простите, мистер Штамм, но я поддерживаю Али-Овсада: надо подождать, посмотреть, что последует за выбросом труб. Надо получить информацию!

— Согласен, — кивнул Уилл. — Приборы здесь, уходить нельзя.

Теперь все посмотрели на Брамулью — за ним оставалось последнее слово. Толстяк чилиец размышлял, поглаживая себя по лысой голове.

— Сеньоры, — сказал он наконец, — вопрос, насколько я понимаю, стоит так: есть ли прямая опасность? Ответить трудно, сеньоры, поскольку мы столкнулись с непонятным природным явлением. Но я привык подходить к подобным вопросам как сейсмолог. Мне кажется, коллега Штамм, что с сейсмической точки зрения непосредственной опасности нет... Каррамба! — воскликнул он вдруг, посмотрев в окно. — Что это такое?

Из устья скважины ползла вверх серая обсадная колонна, а на ней, обхватив ее руками и ногами, висел человек в синей кепке и синем комбинезоне. Монтажники, стоявшие внизу, свистели и орали ему вслед. Из люльки, поднимавшейся рядом с колонной, свесился газорезчик и тоже что-то кричал в совершенном восторге.

— Это ваш парень, Джим? — встревоженно спросил Брамулья.

Паркинсон, хладнокровно жевавший резинку, мотнул головой.

— Это мой бурильщик Чулков-Мулков немножко хулиганит, — сказал Али-Овсад и, выйдя из каюты, вразвалку пошел по обрезкам труб к вышке.

Все последовали за ним.

— Чулков-Мулков? — переспросил Брамулья.

— Да нет, просто Чулков, — усмехнулся Кравцов.

Али-Овсад прокричал что-то вверх. Газорезчик в люльке, повинуясь команде мастера, перерезал колонну метрах в двух ниже висящего Чулкова. Обрезок трубы с Чулковым медленно опустился на крюке.

— Прыгай! — крикнул Али-Овсад.

Чулков рывком оторвался от трубы, упал на четвереньки и сразу поднялся, потирая коленки. Его круглое мальчишеское лицо было бледным, светлые глаза смотрели ошалело.

— Зачем хулиганишь? — грозно сказал Али-Овсад.

— С ребятами поспорил, — пробормотал Чулков, озираясь ища взглядом кепку, слетевшую при прыжке.

Из толпы бурильщиков выдвинулся коренастый американец с головой, повязанной пестрой косынкой. Ухмыляясь, он протянул Чулкову зажигалку с замысловатыми цветными вензелями и похлопал его по спине.

Брамулья обратился к бурильщикам с краткой речью, и бригады, посмеиваясь, вернулись к работе. Инцидент был исчерпан.

И только Кравцов заметил, что у Чулкова дрожали руки, когда он принимал выигранную зажигалку.

— Что это у вас с руками? — тихо спросил он парня.

— Ничего, — ответил Чулков. И вдруг, подняв на инженера растерянный взгляд, сказал: — Труба притягивает.

— То есть как?

— Притягивает, — повторил Чулков. — Не очень сильно, правда... Будто она магнит, а я железный...

Кравцов поспешил в кают-компанию, где Брамулья заканчивал совещание.

— Эвакуировать плот пока не будем, — говорил чилиец. Он вдруг засмеялся и добавил: — С такими отчаянными парнями нам ничего не страшно.

Штамм пригладил жесткой щеткой льняные воло-сы и направился к телекамере, бормоча под нос что-то о русской и чилийской беспечности.

Под навесом Кравцов отозвал Уилла в сторонку и сообщил ему о том, что услышал от Чулкова.

— Вот как? — сказал Уилл.

10

Уже четвертый час шел спуск телекамеры. Кабель-трос сматывался с огромного барабана глубоководной лебедки и, огибая блок на конце решетчатой стрелы, уходил в черную воду. Полуголый монтажник из бригады Али-Овсада дымил у борта сигаретой, изредка посматривая на указатель глубины спуска.

Подошел Али-Овсад.

— Папиросу курят, когда гулять идут, — сказал он строго. — Рука на тормозе держи.

— Ничего не случится, мастер, — добродушно отозвался монтажник и щелчком отправил сигарету за борт. — Кругом автомата.

— Автоматика сама по себе, ты сам по себе.

Для порядка старый мастер обошел лебедку, пощупал ладонью, не греются ли подшипники.

— Интересно, в Баку сейчас сколько времени? — сказал он и, не дожидаясь ответа, направился в каюту телеприемника.

Там у мерцающего экрана сидели Штамм, Брамулья и Кравцов.

— Ну как? — Кравцов сонно помигал на вошедшего.

— Очень глубокое море, — печально сказал Али-Овсад. — Еще полчаса надо ждать. Или час, — добавил он, подумав.

В дверь просунулась голова вахтенного радиста.

— Кравцов здесь? Вызывает Москва. Быстро!

Кравцов выскочил на веранду.

Плот был ярко освещен прожекторами, лязгали трубы у автокрана, слышался разноязычный говор. Кравцов помчался в радиорубку.

— Алло!

Сквозь шорохи и потрескивания — далекий, родной, зволнованный голос:

— Саша, здравствуй! Ты слышишь, Саша?

— Марина? Привет! Да, да, слышу! Как ты до звони...

— Саша, что у вас там случилось? О тебе пишут в газетах, я очень, очень тревожусь...

— У нас все в порядке, не тревожься, родная!..

Черт, что за музыка мешает... Маринка, как ты по живаешь, как Вовка, как мама? Маринка, слышишь?

— Да, да, мешает музыка... У нас все хорошо! Саша, ты здоров? Правду говори...

— Абсолютно! Как Вовка там?

— Вовка уже ходит, бегает даже. Ой, он до смешного похож на тебя!

— Уже бегает? — Кравцов счастливо засмеялся. — Ай да Вовка! Ты его поцелуй за меня, ладно?

— Ладно! Тут пришли твои журналы на эсперанто, переслать тебе?

— Пока не надо! Много очень работы, пока не посытай!

— Саша, а что все-таки случилось? Почему трубы выползают?

— А шут их знает!

— Что? Кто знает?

— Никто пока не знает. Как у тебя в школе?

— Ой, ты знаешь, очень трудные десятые классы! А вообще хорошо! Сашенька, меня тут торопят...

Монотонный голос на английском языке произнес:

— Плот МГГ! Плот МГГ! Вызывает Лондон.

— Марина! Марина! — закричал Кравцов. — Марина!

Радист тронул его за плечо, Кравцов положил трубку на стол и вышел.

Белый свет прожекторов. Гудящее, осыпающее искры пламя горелок. Палуба, заваленная обрезками

труб. И вокруг — черный океан воды и неба. Душная, влажная ночь.

Кравцов, прыгая с трубы на трубу, пошел к вышке. Работала бригада Джима Паркинсона.

— Как дела, Джим?

— Неважно, — Джим отпрянул в сторону: со звоном упал отрезанный кусок трубы. Он откатил его и посмотрел на Кравцова. — Как бы вышку не разнесло. Прислушайтесь, сэр.

Кравцов уже и сам слышал смутный гул и ощущал под ногами вибрацию.

— Вода стала горячей, — продолжал Паркинсон. — Ребята полезли купаться и сразу выскочили. Сорок градусов на поверхности — не меньше.

У Кравцова еще звучал в ушах высокий голос Мариньи. «О тебе пишут в газетах...» Интересно, что там понаписали? «Я очень тревожусь...» Я и сам тревожусь. Приближается что-то непонятное, грозное...

В каюте Уилла горел свет. Кравцов постучал в приоткрытую дверь и услышал ворчливый голос:

— Войдите.

Уилл, в расстегнутой белой рубашке и шортах, сидел за столом над своими графиками. Он указал на кресло, придинул к Кравцову сигареты.

— Как телекамера? — спросил он.

— Скоро. Уилл, я разговаривал с Москвой.

— Жена?

— Жена. Оказывается, о нас пишут в газетах.

Шотландец презрительно хмыкнул.

— А у вас, Уилл, есть семья? Вы никогда не говорили.

— У меня есть сын, — ответил Уилл после долгой паузы.

Кравцов взял со стола фигурку, вылепленную из зеленого пластилина. Это был олень с большими ветвистыми рогами.

— Я был с вами немного невежлив, — сказал Кравцов, вертя оленя в руках. — Помните, я накричал на вас...

Уилл сделал рукой короткий жест.

— Хотите, расскажу вам short story?* — Он повернулся к Кравцову утомленное лицо, провел ладонью по седоватому ежику волос. — В Шотландии, в горах, есть ущелье, оно называется Пэдди Блэк. В этом ущелье самое вежливое эхо в мире. Если там крикнуть: «Как поживаете, Пэдди Блэк?», то эхо немедленно отзовется: «Очень хорошо, благодарю вас, сэр».

— К чему вы это?

— Просто так. Вспомнилось. — Уилл повернулся голову к открытой двери. — В чем дело? Почему все стихло у вышки?

Бригада Паркинсона толпилась на краю мостков буровой.

— Почему не режете, Джим? — осведомился Уилл.

— Посмотрите сами.

Обсадная колонна была неподвижна.

— Вот так штука! — изумился Кравцов. — Нежели кончился самоподъем?..

Тут труба дрогнула, и вдруг подскочила вверх и сразу упала до прежнего положения, даже ниже. Плот основательно тряхнуло: автоматический привод гребных винтов не успел среагировать.

Опять дернулась обсадная колонна — вверх-вниз, и еще рывок, и еще, без определенного ритма. Палуба заходила под ногами, по ней с грохотом перекатывались обрезки труб.

— Берегите ноги! — крикнул Кравцов. — Крепите все, что можно!

Из жилых помещений выбегали монтажники отыкавших бригад. Уилл и Кравцов бросились в каюту телеприемника. Там Брамулья сидел, чуть ли не уперев нос в экран, а рядом стояли Штамм и Али-Овсад.

— Обсадная труба скачет! — выпалил Кравцов, переводя дух.

— Я предупреждал, — ответил Штамм. — Смотрите, что делается с грунтом.

На экране телеприемника передвигалось и сыпалось

* Короткий рассказ (англ.).

лось что-то серое. Изображение исчезло, потом возникла мрачноватая картина пустынного и неровного океанского дна — и снова все задвигалось на экране. Видимо, телекамера медленно крутилась там, в глубине.

Теперь Кравцов разглядел: над грунтом высились горы обломков, она шевелилась, росла и опадала, по ее склонам скатывались камни — не быстро, как на суше, а плавно, как бы нехотя.

Штамм слегка повернул рукоятку. Экран замутился, а потом вдруг резко пропустила в левом верхнем углу труба...

— *Tubo de entubacion!* * — воскликнул Брамулья.

Труба на экране выглядела соломинкой. Она качнулась, под ней вспутилась груда обломков, опять все замутилось, и тут же плот тряхнуло так, что Брамулья упал со стула.

Кравцов помог ему подняться.

— Мадонна... Сант-Яго... — пробормотал чилиец, отдуваясь.

— Я предупреждал, — раздался голос Штамма. — Искусственная обсадка выбрасывается из скважины вместе с породой, нижний конец обсадной колонны танцует на горе обломков. Неизвестно, что будет дальше. Надо срочно эвакуировать плот.

— Нет, — сказал Уилл. — Надо поднимать обсадную колонну на крюке. Как можно быстрее.

— Правильно, — поддержал Кравцов. — Тогда она перестанет плясать.

— Это опасно! — запротестовал Штамм. — Я не могу дать согласия...

— Опасно, когда человек неосторожный, — сказал Али-Овсад. — Я сам смотреть буду.

Все взглянули на Брамулью.

— Поднимайте колонну, — сказал чилиец. — Поднимайте и режьте. Только поскорее, ради всех святых...

Плот тряслось как в лихорадке.

Али-Овсад встал у пульта главного двигателя,

* Обсадная труба (исп.).

крюк пошел вверх, вытягивая обсадную колонну. Пон скрипывали тросы, гудело голубое пламя.

— Давай, давай! — покрикивал Али-Овсад, зорко следя за подъемом. — Мало осталось!

Отрезанные куски трубы рушились на мостки. И вскоре, когда колонна была достаточно высоко поднята над грунтом, тряска на плоту прекратилась.

А потом — над океаном уже сияло синее утро — из скважины полезли бурильные трубы, выталкиваемые загадочной силой. Плазменный резак не действовал, как и прежде, газовый резал медленно. Но теперь можно было установить горелку на автомат круговой резки. Автомат полз вверх на одной скорости с трубой, режущая головка шла по кольцевой направляющей вокруг трубы. Закончив рез, автомат съезжал вниз — и снова полз рядом с трубой.

Но скорость самоподъема росла и росла, автомат уже не успевал, резы получались косые, по винтовой линии. Пришлось остановить автомат и резать вручную, сидя в люльке, подвешенной к крюку вспомогательного подъемника.

Газорезчики часто сменялись, их изматывал бешеный темп работы; да и дни стояли жаркие. Транспорт, набитый до отказа трубами, ушел, но палуба вокруг буровой уже снова была завалена обрезками труб.

На всю жизнь запомнились людям эти дни, заполненные раскаленным солнцем, сумасшедшей работой, влажными испарениями океана, и эти ночи в свете прожекторов, в голубых вспышках газа.

На всю жизнь запомнился хриплый голос Али-Овсада — боевой клич:

— Давай, давай, мало осталось!

Гидросамолет прилетел на рассвете. С немалым трудом переправили на плот ящики с фотоквантовой установкой ФКН-6А.

Кравцов полистал инструкцию. Да, установка бы-

ла ему знакома, она проста в употреблении, но, кажется, пускать ее в ход уже поздно.

Двести метров бурильных труб осталось в скважине. Сто пятьдесят...

Али-Овсад велел снять люльку: опасно висеть наверху, когда лезут последние трубы.

Сто двадцать... Восемьдесят...

Восток полыхал красным рассветным огнем, но никто не замечал этого, плот по-прежнему был залит резким белым светом прожекторов. Рабочие всех четырех бригад заканчивали расчистку прохода от обрезков труб. Это Брамуля так распорядился: возле буровой дежурил открытый «газик», чтобы в случае опасности вахтенные газорезчики могли быстро отъехать к краю плота.

Теперь у скважины остались четверо: два газорезчика, Кравцов и Али-Овсад.

Шестьдесят метров...

Плот вздрогнул. Будто снизу поддели его плечом и встряхнули.

— Тушить резаки! В машину! — скомандовал Кравцов.

Он повел машину по проходу к краю плота и затормозил возле навеса, и тут тряхнуло снова. Кравцов и остальные выпрыгнули из машины, лица у всех были серые. В середине плота загрохотало, заскрежетало. Последние трубы, поднявшись почти до кронблока, рухнули, в общем грохотеказалось, что они падали бесшумно.

Что-то кричал Брамуля, схватив Уилла за руку, а Штамм стоял рядом в своем пиджаке, неподвижный, как памятник.

Грохот немного стих. Несколько мгновений напряженного ожидания — и все увидели, как ротор, сорванный с фундаментной рамы, приподнялся и сполз вбок. Треск! Толстенная стальная рама лопнула, рваные концы балок отогнулись кверху. Вспучилась палуба под вышкой. Повалил пар, повеяло жаром.

В разодранном устье скважины показалось нечто черное, закругленное. Черный купол рос, взламывая настил. Вырос в полусферу... Еще несколько минут —

и стало ясно, что внутри вышки поднимается толстый цилиндрический столб.

Кравцов смотрел на него остановившимся взглядом. Время шло незаметно. Черный столб уперся верхушкой в кронблок вышки. Со звоном лопнули ее длинные ноги у основания.

Али-Овсад вдруг сорвался с места, пошел к вышке. Кравцов кинулся за ним, схватил за плечи, потянул назад.

— Вышку сорвало! — заорал Али-Овсад. И вдруг, поняв бессмысленность своего невольного движения, горестно махнул рукой.

Черный столб полз и полз вверх, унося на себе стопятисантиметровую вышку.

12

Теперь плот был пронзен насквозь гигантским столбом. Вытолкнув из скважины трубы и пройдя толщу океанской воды, столб черной свечой вздымался к небу, рос неудержимо.

Люди на плоту оправились после первого потрясения. Толстяк Брамулья быстро прошествовал в радиорубку. Кравцов подошел к Уиллу, спросил отрывисто:

— Попробуем резать?

Уилл, прислонясь спиной к бортовому ограждению, смотрел на столб в сильный бинокль.

— Будь я проклят, — сказал он, — будь я проклят, если его можно перерезать. — Он протянул бинокль Кравцову.

Столб имел в диаметре метров пятнадцать. Его черная поверхность матово поблескивала в свете прожекторов. Из каких глубин вымажнулся этот столб, покрытый стекловидной коркой оплавленных минералов? Из какого вещества он состоял?..

— Надо что-то делать, — сказал Кравцов. — Если он будет так быстро расти, он не выдержит своей тяжести, обломится, и наш плот...

— Наш плот! — проворчал Уилл. — Не валяйте дурака, парень. Брамулья связался с президиумом

МГ, международные бухгалтеры уже списывают наш плот к чертовой матери.

— Почему это я валяю дурака? — Кравцов насупился.

— Не знаю почему. Вы что, не понимаете? Плот — чепуха. Грозит опасность побольше.

— Что вы имеете в виду?

Уилл не ответил. Он повернулся и пошел в радиорубку.

— Я могу вообще с вами не разговаривать! — застальчиво крикнул Кравцов ему вслед.

Дохнуло жаром. Кравцов расстегнул мокрую рубашку. Изумленно смотрел он на бегущую тусклочерную поверхность. «Ну и пусть, — думал он. — Пусть они что хотят, то и делают. В конце концов это не мое дело. Моя специальность — бурение скважин. Черт, он уже до неба достает. Не выдержит собственной тяжести, рухнет же. Ну и пусть... Мне-то что... Я не ученый, я инженер, мое дело бурить, а не...»

Али-Овсад, стоявший рядом, взял бинокль у него из рук и посмотрел на столб.

— Наверно, он железный, — сказал Али-Овсад. — Надо его резать. Наверно, хорошая сталь — зачем пропадает? Резать надо. Иди спроси армянина.

— Какого армянина?

— Начальника, Брамульяна.

Из радиорубки вышли Штамм и Брамулья. Австрийский геолог вытирая платком лицо и шею, он позволил себе расстегнуть пиджак на одну пуговицу. Уилл говорил ему что-то, австриец упрямо мотал головой, не соглашался.

Кравцов подошел к ним и, прервав разговор, сказал самым официальным тоном, на какой только был способен:

— Господин Брамулья, я считаю необходимым немедленно начать резать столб.

Чилиец повернул к нему потное рыхлое лицо, глаза у него были как две черные сливы.

— Чем? — выкрикнул он. — Чем, я спрашиваю, вы будете резать? Если плазменный резак не берет даже трубы...

— ФКН срежет его, как бритвой, — сказал Кравцов. — Я готов немедленно приступить...

— Он готов приступить! Вы слышали, Штамм? Он готов полезть в это дьявольское пекло! Я не разрешаю приближаться к столбу!

— Господин Кравцов, — ровным голосом сказал Штамм, — пока не будет выяснена природа явления, мы не имеем права рисковать...

— Но для выяснения природы явления надо хотя бы иметь образец вещества, не так ли?

Зной становился нестерпимым, палуба выбрировала под ногами, у Брамульи дрожал тройной подбородок. Монтажники из всех четырех бригад жались к бортовому ограждению, не слышно было обычных шуток и смеха, многие прислушивались к разговору геологов и инженеров.

— У меня раскалывается голова! Я не могу держать людей здесь, на плоту. Я не знаю, что будет дальше! — Брамулья говорил беспрерывно, так ему было немного легче. — Мадонна, где «Фукуока-мару»? Почему эти японцы вечно запаздывают? Почему все должно было свалиться на голову Мигеля Брамульи?

— Он свалится, — резко сказал Кравцов. — Он обязательно свалится на вашу голову, сеньор Брамулья, если вы будете причитать вместо того, чтобы действовать.

— Что вы от меня хотите? — закричал Брамулья.

— У нас есть жаростойкие костюмы. Разрешите мне...

— Не разрешаю!

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга.

Тут подошел долговязый Джим Паркинсон, голый по пояс. Он притронулся кончиком пальца к целлулозному козырьку.

— Сэр, — сказал он Кравцову, — я хотел, чтобы вы знали. Если вам разрешат резать эту чертову свечу, то я к вашим услугам.

Рослый румын выдвинулся из-за плеча Джима,

гулко кашлянул и сказал на ломаном русском, что и он готов и его ребята тоже.

— Они все походили с ума! — вскричал Брамулья. — Штамм, что вы скажете им в ответ?

— Я скажу, что элементарные правила безопасности требуют соблюдать крайнюю осторожность. — Штамм отстегнул еще одну пуговицу.

— А вы, Макферсон? Почему вы молчите, ради всех святых?

— Можно попробовать, — сказал Уилл, глядя в сторону. — Может быть, удастся отхватить кусочек для анализа.

— А кто будет отвечать, если...

— Насколько я понимаю, вы их не посыпаете, Брамулья. Они вызвались добровольно.

И Брамулья сдался.

— Попробуйте, сеньор Кравцов, — сказал он, страдальчески вздернув брови. — Попробуйте. Только, умоляю вас, будьте осторожны.

— Я буду крайне осторожен. — Кравцов, повеселев, зашагал к складу.

За ним увязался Али-Овсад.

— Ай балам *, куда бежишь?

— Буду резать столб!

— Я с тобой.

Мастер смотрел, как Кравцов расшвыривает на стеллажах склада спецодежду и инструмент, и приговаривал нараспев:

— Ты еще молодо-ой. Мама-папа здесь не-ет. Профсоюз здесь не-ет. Кроме Али-Овсад, за тобой смотреть — не-ет...

13

Пятеро в жароупорных скафандрах медленно шли к середине плота. Грубая стеклоткань топорщилась и гремела, как жесть. Они шли, толкая перед собой тележку с фотоквантовой установкой, тележка мирно катилась по рельсам. Кравцов сквозь стекло гер-

* Сыночек (азерб.).

метичного шлема в упор смотрел на приближающийся столб.

«Пускай у него температура триста градусов, — размышлял он. — Ну, пятьсот. Больше вряд ли, его здорово охлаждает толща воды, сквозь которую он прет... Конечно, фотоквантовый луч должен взять. Обязательно возьмет... Перерезать бы... Нет, нельзя: неизвестно, как он упадет... Но кусочек мы от него отхватим».

Вблизи столба рваные стальные листы палубы крежились, ходили под ногами. Кравцов жестом велел товарищам остановиться. Завороженно они смотрели на бегущую тускло-черную поверхность. Столб то суживался, и тогда вокруг него образовывался промежуток, куда свободно мог провалиться человек, то вдруг разбухал, подхватывал рваные края настила и, скрежеща, отгибал их кверху.

— Устанавливайте, — сказал Кравцов, и ларингофон, прижатый к горлу, донес его голос в шлемофонны товарищей.

Чулков, Джим Паркинсон и рослый румын по имени Георги сняли с тележки моток проводов, размотали водяные шланги охлаждения и подвели их к палубному стояку. Затем они осторожно приблизились метров на десять к столбу, закрепили направляющую штангу на треноге и подключили провода.

Кравцов встал у пульта рубинового концентратора.

— Внимание, включаю! — крикнул он.

Прибор показал, что излучатель выбросил невидимую тончайшую нить света страшной сконцентрированной силы.

Но столб по-прежнему бежал вверх, его черная оплавленная поверхность была неуязвима, только ключья пара заклубились еще сильнее.

Кравцов подскочил к монтажникам и сам схватился за рукоять излучателя. Он повел луч наискось по столбу. Черное вещество не поддавалось. Было похоже, что луч тонул в нем или... или искривлялся.

— Попробуем ближе, сэр. — сказал Джим.

Кравцов выключил установку.

— Придвигайте! — крикнул он. — На метр.

— Очень близко не надо, — сказал Али-Овсад.

Монтажники подтащили треногу поближе к столбу, палуба шевелилась у них под ногами, и вдруг Чулков, стоявший впереди, вскрикнул и, раскинув руки, пошел к рваному краю скважины. Он шел заплетающимися шагами прямо на столб. Джим кинулся за ним, обхватил обеими руками. Несколько мгновений они странно барабанились, будто балансируя на канате, тут подоспел Георги, он схватился за Джима, а Кравцов — за Георги, а за Кравцова — Али-Овсад. Точь-в-точь как в детской игре. Пятаясь, они оттащили Чулкова, и Чулков повалился на палубу — сел, подогнув под себя ноги, ноги его не держали.

Все молча смотрели на Чулкова. Раздался голос Али-Овсада:

— Разве можно? Технику безопасности забыл — я так тебя учили? Зачем на столб полез?

— Я не полез, — сказал Чулков хрипло. — Притянуло меня.

— Иди отыхай, — сказал старый мастер. И повернулся к Кравцову: — С этим столбом шутку шутить нельзя.

Он принялся убеждать Кравцова прекратить работу и вернуться к краю плота, но Кравцов не согласился. Монтажники оттащили установку чуть дальше, и снова невидимая шпага полоснула столб и утонула в нем.

Ох, как не хотелось Кравцову отступать! Но делать было нечего. Пришлось погрузить установку на тележку и вернуться. У Чулкова все еще дрожали ноги, и Кравцов велел ему сесть на тележку.

— Не берет? — спросил Уилл, когда Кравцов освободился от гремящего скафандра.

Кравцов покачал головой.

Верхушка черного столба уже терялась в облаках, была неразличима. Подножье столба окуталось паром, над плотом повисла шапка влажных испаре-

ний — нечем было дышать. Люди изнывали от жары и духоты.

Мастер Али-Овсад лучше других переносил адский микроклимат, но и он признал, что даже в Персидском заливе было не так жарко.

— Верно говорю, инглиз? — обратился он к Уиллу, вместе с которым много лет назад бурил там морские скважины.

— Верно, — подтвердил Уилл.

— Чай пить не хочешь? От жары хорошо чай пить.

— Не хочу.

— Очень быстро идет. — Али-Овсад пощекал языком, глядя на бегущий черный столб. — Пластовое давление очень большое. Железо выжимает, как зубная паста из тюбика.

— Зубная паста? — переспросил Уилл. — А! Очень точное сравнение.

Из радиорубки вышел, шумно отдуваясь, полуоголый Брамулья. Голова у него была обвязана мокрым полотенцем, толстое брюхо колыхалось. Вслед за ним вышел Штамм; он был без пиджака и явно стеснялся своего необычного вида.

— Ну что? — спросил Уилл. — Где «Фукуока»?

— Идет! Вечером будет здесь! Мы все испаримся до вечера! Штамм, имейте в виду, вы испаритесь раньше, чем я. Ваша масса меньше моей. Я только начну испаряться, а вы уже превратитесь в облако.

— Облако в штанах, — проворчал Кравцов. Он лежал в шезлонге у дверей радиорубки.

— На «Фукуоке» к нам идет председатель МГГ академик Токунага, — сообщил Брамулья. — И академик Морозов. И должен прилететь академик Бернстайн из Штатов. Но пока они все заявятся, мы испаримся! Небывалый случай в моей практике! Я наблюдал столько извержений вулканов, Штамм, сколько вам и не снилось, но я вам говорю: в такую дьявольскую переделку я попадаю в первый раз!

— Все мы попали в первый раз, — уточнил Штамм.

— Брамульян, — сказал Али-Овсад, — пойдем чай пить. От жары очень хорошо чай.

— Что? Что он говорит?

Уилл перевел предложение мастера.

— Сеньоры, я никогда не пил чая! — закричал Брамулья. — Как можно брать в рот горячий чай — это кошмар! А что, он действительно помогает?

— Пойдем, сам посмотришь. — Али-Овсад повел чилийца в свою каюту, и Штамм неодобрительно посмотрел им вслед.

Уилл тяжело опустился в шезлонг рядом с Кравцовым и навел — в тысячный раз — бинокль на черный столб.

— По-моему, он искривляется, — сказал Уилл. — Он изгибается к западу. Взгляните, парень.

Кравцов взял бинокль и долго смотрел на столб. «Чудовищная, уму непостижимая прочность, — думал он. — Что же это за вещество? Ax, добыть бы кусочек...»

— Кумулятивный снаряд *, — сказал он. — Как думаете, Уилл, возьмет его кумулятивный снаряд?

Уилл покачал головой.

— Думаю, только атомная бомба...

— Ну, знаете ли...

Не было сил даже разговаривать. Они лежали в шезлонгах; тяжело и часто дыша, и пот ручьями катился с них, и до вечера было еще далеко.

На веранде кают-компании сидели полуголые монтажники, разноязычный говор то вскипал, то умолкал. Чулков в десятый раз принимался рассказывать, как его притянул столб и что бы с ним было, если бы подоспел Джим. А Джим, сидя на ступеньке веранды, меланхолично пощипывал банджо и хрипловато напевал:

Oh Susanna, oh don't cry for me,
For I came from Alabama
With my banjo on my knee **.

* Кумулятивный снаряд — снаряд для направленного взрыва.

** О Сюзанна, не плачь обо мне,
Ведь я пришел из Алабамы
С моим банджо на колене.

— Это что ж такое? — раздавался быстрый гово-
рок Чулкова. — Вроде я не намагниченный, а он,
подлец, меня тянет. Притягивает — спасу нет. Сей-
час, думаю, упаду на него — и крышка.

— Кришка. — Американцы и румыны понимающие
кивали. — Магнето.

— То-то и оно! — Чулков растопырил руки, пока-
зывая, как он шел на столб. — Тянет, понимаешь, со-
бака. Хорошо, Джим меня обхватил и держит. А то
бы — тю-тю!

— Тью-тью, — кивали монтажники.

— Oh Susanna, — вздыхало банджо.

— Джим дыржалу Чулков, — пояснил Георги. —
Я дыржалу Джим. О! — Георги показал, как он дер-
жал Джима. — Инженер Кравцов дыржалу моя...

— В общем дедка за репку, бабка за дедку...

— Потом дыржалу Али-Овсада.

— Али-Офсайт, — уважительно повторяли мон-
тажники.

— Это ж он скоро до луны достанет, — говорил
Чулков. — Ну и ну! Чего инженеры ждут? Дотянемся
до луны — хлопот не оберешься...

Коренастый техасец с головой, повязанной пест-
рой косынкой, стал рассказывать о том, как он во-
семь лет назад, когда еще был мальчишкой и плавал
на китобойном судне, своими глазами видел мор-
ского змея длиной в полмили.

Пошли страшные рассказы. Монтажники — удиви-
тельное дело! — отлично понимали друг друга.

Над океаном сгустился вечер. Он не принес про-
хлады. Пожалуй, стало еще жарче. В белом свете
 прожекторов столб, окутанный паром, казался фан-
тастическим смерчом, вымахнувшим из воды и бес-
конечно бегущим вверх, вверх...

Люди были бессильны остановить этот бег. Люди
жались к бортам плавучего острова, глотая тугой
раскаленный воздух. Глубоко внизу плескалась оке-
анская волна, но и она была горячей — не осве-
жишься.

Брамуля лежал в шезлонге и смотрел на сине-
черную равнину океана. Губы его слегка шевелились.

«Мадонна... мадонна...» — выдыхал он. Рядом, неподвижный, как памятник, стоял Штамм. Он стоял в одних трусах, со свистом дыша и стесняясь своих тонких белых ног.

15

Дизель-электроход «Фукуока-мару» — дежурное судно МГГ — пришел около полуночи. Он лег в дрейф в одной миle к северо-западу от плota; его огни обещали скорое избавление от кошмарной жары.

Грузовой и пассажирский лифты перенесли людей с верхней палубы плota вниз, на площадку причала. Странно выглядела на ярко освещенном причале толпа полуоголых мужчин с рюкзаками, чемоданами, саквояжами. Стальной настил вибрировал под ногами. Блестели мокрые спины и плечи, распаренные небритые лица. Кто-то спустился по трапу, тронул босой ногой воду и с проклятиями полез обратно.

Наконец пришел белый катер с «Фукуока-мару». Растропанные матросы перебросили сходню, и тотчас по ней взбежала на причал худощавая блондинка в светлых брюках и голубом свитере. Те, кто стоял на краю причала, шарахнулись в сторону: чего-чего, а этого они никак не ожидали.

— О, не стесняйтесь! — сказала по-английски женщина, снимая с плеча кинокамеру. — Силы небесные, какая жара! Кто из вас доктор Брамуля?

Брамуля, в необъятных синих трусах, смущенно кашлянул.

— Сеньора, тысячу извинений...

— О, пустяки! — Женщина нацелилась кинокамерой, аппарат застремился.

Чилиец замахал руками, попятился. Штамм, юркнув в толпу, лихорадочно распаковывал свой чемодан, извлекал брюки, сорочку.

— Кто это? — удивленно спросил Кравцов Уилла. — Корреспондентка, что ли?

Уилл не ответил. Он смотрел на блондинку, в прищуре его голубых глаз было что-то враждебное. Да и то сказать: какого дьявола нужно здесь этой жен-

щине? Кравцов повернулся спиной к объективу кинокамеры.

Женщина протянула Брамулье руку.

— Норма Хэмптон, «Дейли телеграф», — сказала она. — Какая страшная жара! Не могли бы вы, доктор Брамулья, рассказать...

— Нет, сеньора, нет! Прошу вас, когда угодно, только не сейчас! Извините, сеньора! — Брамулья повернулся к молодому японцу в белой форменной одежде, который поднялся на причал вслед за Нормой Хэмптон и терпеливо ждал своей очереди. — Вы капитан «Фукуока-мару»?

— Помощник капитана, сэр. — Японец притронулся кончиками пальцев к козырьку фуражки.

— Сколько человек вмещает ваш катер?

— Двадцать человек, сэр.

— Нас тут пятьдесят три. Сумеете вы перевезти всех за два рейса?

— Да, сэр. Конечно, без багажа. За багажом мы сделаем третий рейс...

Кравцов ушел со вторым рейсом. Стоя на корме катера, он смотрел на удаляющуюся громаду плавучего острова. Огни наверху погасли, теперь был освещен только опустевший причал.

Вот как окончилась океанская вахта! Фактически ему, Кравцову, больше здесь делать нечего. Он может с первой же оказией возвратиться на родину. Ох, черт, какое счастье — увидеть Марину, Вовку, маму! Вовка уже бегает, надо же, ведь ему только-только год исполнился, вот постреленок!.. Пройтись по Москве, окунуться в столичную сутолоку... В Москве уже осень, дожди — ух, прохладный дождичек, до чего хорошо!

Пусть тут расхлебывают ученые, а с него, Кравцова, хватит.

Он видел, как белесый пар клубился вокруг столба, потом тьма поглотила плот, и уже ничего не было видно, кроме освещенного пятна причала.

Он слышал надтреснутый голос белокурой корреспондентки:

— На борту, доктор Брамулья, вас ожидает ми-

ровая пресса, приготовьтесь к их атаке. Мои коллеги хотели пойти на катере, но капитан судна не разрешил, он сделал исключение только для меня. Японцы не менее галантны, чем французы. Почему все-таки не ломается этот столб?

— Сеньора, я же говорил вам: мы ничего еще не знаем о веществе мантии. Видите ли, огромное давление и высокие температуры преображают...

— Да, вы говорили, я помню. Но наших читателей интересует, может ли столб подниматься до бесконечности.

— Сеньора, — терпеливо отбивался Брамулья, — поверьте, я бы очень желал сам знать...

Белый корпус электрохода сверкал огнями. Катер подбежал к спущенному трапу, «островитяне» гуськом потянулись наверх. Они ступили на верхнюю палубу «Фукуоки» и были ослеплены вспышками фотопротерских «блицев». Мировая пресса ринулась в наступление.

— Господа журналисты, — раздался высокий голос, — я призываю вас к выдержке. Эти люди нуждаются в отдыхе. Завтра в шесть вечера будет пресс-конференция. Покойной ночи, господа!

Кравцов, окруженный несколькими репортерами, благодарно взглянул на говорившего — пожилого моршинистого японца в сером костюме.

Вежливый стюард провел Кравцова в отведенную для него каюту, на плохом английском языке объяснил, что ванная в конце коридора.

— О'кэй, — сказал Кравцов и бросился на узкую койку, с наслаждением потянулся. — Послушайте! — окликнул он стюарда. — Не знаете, в какой каюте разместился инженер Макферсон?

— Да, сэр. — Стюард вытащил из кармана листок бумаги, посмотрел. — Двадцать седьмая каюта. На этом же борту, сэр. Через две каюты от вас.

Кравцов полежал немного, глаза стали слипаться...

Осторожный стук в дверь разбудил его. Тот же стюард скользнул в каюту, поставил в угол чемодан

Кравцова, погасил верхний свет, неслышно притворил за собой дверь.

Нет, так нельзя. Так и опуститься недолго. Кравцов заставил себя встать. Его качнуло, пришлось упереться руками в письменный стол. Качка, что ли, началась. А может, просто его качает от усталости... «К чертам, — подумал он. — Хватит! Завтра же по-даю это... Тыфу, уже слова из головы выскакивают... Ну, как его... Рапорт».

Он собрал белье и вышел в длинный, устланный серым ковром коридор. Навстречу в сопровождении Брамульи и Штамма шел высокий человек в светло-зеленом костюме, у него была могучая седая шевелюра и веселые зоркие глаза. Кравцов посторонился, пробормотал приветствие. Высокий человек кивнул, Брамулья сказал ему:

— Это инженер Кравцов.

— А! — воскликнул незнакомец и протянул Кравцову руку. — Рад с вами познакомиться. Морозов.

Кравцов, придерживая под мышкой сверток с бельем, пожал академику руку.

— Мы в Москве высоко оценили вашу работу на плоту, товарищ Кравцов, — сказал Морозов. — Вы вели себя достойно.

— Спасибо...

Сверток шлепнулся на ковер. Кравцов нагнулся за ним, и тут его опять качнуло, он упал на четвереньки.

— Ложитесь-ка спать, — услышал он голос Морозова. — Еще успеем поговорить.

Кравцов поднялся и посмотрел вслед академику.

— Мерзавец! — сквозь зубы сказал он самому себе. — Не можешь на ногах держаться, идиотина...

В ванной он с отвращением взглянул на свое отражение в зеркале. Хорош! Волосы всклокочены, морда не брита, в пятнах каких-то, глаза провалившиеся.

Кравцов принял ванну, потом долго стоял под прохладным душем. Душ освежил его и вернул интерес к жизни.

В коридоре было тихо, безлюдно, плафоны лили мягкий свет. Возле каюты № 27 Кравцов остановился.

Спит Уилл или нет? Дверь была чуть приотворена, Кравцов подошел и согнул палец, чтобы постучать, и вдруг услышал надтреснутый женский голос:

— ...Это не имеет значения. Только не думай, что я приехала ради тебя.

— Прекрасно, — ответил голос Уилла. — А теперь лучшее, что ты можешь сделать, это уехать.

— Ну нет! — Женщина засмеялась. — Так скоро я не уеду, милый...

Кравцов поспешил отошел от двери: «Норма Хэмптон — и Уилл! — подумал он изумленно. — Что может быть общего между ними?.. Не мое это дело, впрочем...»

Он вошел в свою каюту. А каютка — ничего. Маленькое, но уютное жилье. Он поскреб реденькую бородку. Побриться сейчас или утром?..

Кравцов щелкнул выключателем — и увидел на столе пачку писем.

16

Он проснулся с ощущением радости. Что это могло быть? Ах, ну да, письма от Мариной! Он читал их и перечитывал до трех часов ночи... Сколько же времени сейчас? Ого, без двадцати десять!

Кравцов вскочил, отдернул шторки и распахнул иллюминатор. Голубое утро ворвалось в каюту. Он увидел синюю равнину океана, небо в легких клочьях облаков, а на самом горизонте — коробочку плота, накрытую белой шапкой пара. Солнце слепило глаза, и Кравцов не сразу разглядел тонкую черную нитку, вытягивающуюся из клубов пара и теряющуюся в облаках. Отсюда загадочный столб казался даже не ниткой, а ничтожным волоском на мощной груди земли. Так, пустячок, не заслуживающий и сотой доли сенсационного шума, который он произвел в мире.

Взгляд Кравцова упал на листок бумаги, лежавший поверх пачки писем. Улыбаясь, Кравцов поднес листок к глазам, снова прочел слова, написанные кривыми печатными буквами: «Папа, приезжай скорее, я соскучился». Это Марина водила Вовкиной рукой. Внизу был нарисован дом, тоже кривой, из его тру-

бы шел дым завитушками. Ай да Вовка, уже карандаш в лапе держит!

Ну, ладно, надо идти завтракать, а потом разыскивать Морозова. Если он, Кравцов, здесь не нужен, то с первой же оказией...

Он вздрогнул от неожиданности: зазвонил телефон.

— Александр? Вы уже позавтракали? — услышал он глуховатый голос Уилла.

— Нет.

— Ну, тогда вы не успеете.

— А что такое, Уилл?

— В десять отходит катер. Вы не успеете. Идите завтракайте.

— Я успею! — сказал Кравцов, но Уилл уже дал отбой.

Кравцов торопливо оделся и выбежал в коридор. В просторном холле его перехватил какой-то журналист, но Кравцов, пробормотав «sorry» *, побежал дальше. Он попал в узенький коридор, в котором ревел вентилятор, и понял, что заблудился. Назад! Расспросив дорогу, он выскочил, наконец, на спардек и сразу увидел глубоко внизу катер, приплясывающий на волнах у борта «Фукуоки». Прыгая через ступеньки, Кравцов сбежал по трапу на верхнюю палубу. Возле группы людей остановился, переводя дыхание, и тут его окликнул Али-Овсад:

— Зачем пришел? Я сказал, тебя не будить, пусть спит. Тебе инглиз сказал?

— Да. Где он?

Али-Овсад ткнул пальцем в катер.

— Там. Ты не ходи, отдохай.

— Отдохай-мотдохай... — Кравцов с досадой отмахнулся и бочком пролез сквозь тесное кольцо журналистов к Брамулье и Штамму. Они разговаривали с давешним пожилым японцем возле трапа, спущенного к катеру.

Кравцову было стыдно за свою сонливость. Он

* Извините! (англ.).

стесненно поздоровался, и Брамулья, схватив его за руку, подтащил к японцу:

— Это инженер Кравцов.

Морщины на лице японца раздвинулись в улыбке. Он втянул в себя воздух и сказал высоким голосом:

— Масао Токунага. — И добавил на довольно чистом русском языке: — Удалось ли вам отдохнуть?

— Да, вполне...

Так вот он, знаменитый академик! Когда-то, двадцать пять лет тому назад, он с первой группой японских ученых обследовал пепелище Хиросимы и выступил с гневным заявлением против атомного оружия. Ходили слухи, что Токунага поражен лучевой болезнью. Вид у него и в самом деле неважный...

— Господин Токунага, — сказал Кравцов. — Разрешите мне пойти на катере.

— А вы знаете, зачем отправляется катер?

— Нет.

Токунага тихонько засмеялся.

— Но я хорошо знаю плот, — сказал Кравцов, чувствуя, как краска заливает лицо, — и... смогу быть полезен...

Тут подошел академик Морозов.

— Последние известия, Токунага-сан, — весело сообщил он. — Локатор показывает высоту столба около тридцати километров. Он движется со скоростью восьмисот метров в час, но это надо еще проверить.

— Тридцать километров! — ахнул кто-то из журналистов.

— Так. Ну, все готово? — Морозов ступил на трап. — Кравцов, вы с нами?

— Да!

— Поехали.

Они спустились в катер, и тотчас матрос оттолкнулся от нижней площадки трапа. Катер побежал вдоль белого борта «Фукуоки». Морозов помахал рукой, Токунага грустно закивал в ответ.

Кравцов поздоровался с Уиллом, Джимом Паркинсоном и Чулковым.

— Вы тут как тут, — сказал он Чулкову.

— А как же! — ухмыльнулся тот. — Куда вы, туда и я.

— Без завтрака? — спросил Уилл.

— Ерунда, — сказал Кравцов.

Уилл задумчиво посмотрел на него, попыхивая трубкой.

Кроме них, на катере был незнакомый Кравцову белобрысый парень в пестрой рубашке с изображением горы Фудзияма. Он возился с приборами, негромко переговаривался с Морозовым. Приборов было пять или шесть, самый большой из них напоминал газовый баллон, самый маленький, в деревянном футлярчике, парень держал в руках.

По мере приближения к плоту разговоры на катере затухали. Все взгляды были прикованы к черному столбу, подымавшемуся из облака пара. Теперь он уже не казался Кравцову безобидным волоском: в нем было что-то жуткое и грозное.

— Ну-да, — сказал Морозов после долгого молчания. — Неплохим хвостиком обзавелась матушка Земля.

Вода возле плота была неспокойная. Катер подошел к причалу, и Морозов прежде всего велел спустить в воду контейнер с термометром-самописцем для долговременных замеров температуры. Затем перетащили приборы в кабину грузового лифта и сами поднялись на верхнюю палубу плота.

Ух, как на раскаленной сковородке!.. Кравцов с беспокойством взглянул на Морозова: все же пожилой человек, как он перенесет такую дьявольскую жарищу? Морозов, мокрый от пота, натягивал на себя скафандр из стеклоткани, и все поспешили сделять то же самое.

— Все слышат меня? — раздался в шлемофоне Кравцова голос Морозова. — Отлично. Итак, начнем первичные измерения. Замеры будем делать через каждые двадцать пять метров. Юра, у вас все готово?

— Да, Виктор Константинович, — ответил белобрысый парень, он был, оказывается, техником-прибористом.

— Ну, начали!

Джим Паркинсон пошел вдоль рельсов к середине платформы, разматывая рулетку. Отмерив двадцать пять метров от борта, он обмакнул кисть в ведерко с супером и сделал красную отметку. Морозов нажал кнопку и прильнул к зрительной трубке, которая торчала из контейнера, похожего на газовый баллон. Он смотрел долго, его глаз освещался вспышками света из трубы. Затем Морозов вытащил записную книжку, снял с правой руки рукавицу и принялся писать.

Юра тем временем снимал показания с двух других приборов, а Уилл возился со своим магнитографом. Кравцову Морозов поручил замеры радиоактивности.

Юра и Чулков перетащили приборы к отметке, сделанной Джимом, — двести двадцать пять метров от черного столба, — и замеры были повторены. Джим ушел с рулеткой вперед, отмеряя очередные двадцать пять метров, и Кравцов поглядывал на него с беспокойством. Конечно, до столба еще далеко, но кто его знает, на каком расстоянии он сегодня начнет притягивать.

— Товарищ Кравцов, — раздался голос Морозова, — на каком расстоянии потянуло вчера вашего Чулкова к столбу?

— Примерно десять метров.

— Десяти не было, — сказал Чулков. — Метров восемь.

— Ну нет, — возразил Кравцов и, окликнув Джима, повторил вопрос по-английски.

— Ровно двенадцать ярдов, — заявил Джим, — ни дюйма больше.

Морозов коротко рассмеялся.

— Исследователи, — сказал он. — Вот что: поставьте приборы на тележку. Паркинсон, вернитесь. Будем продвигаться вместе.

Палуба вдруг заходила ходуном под ногами. Долговязый Джим упал на ведерко с краской. Юра повалился на спину, прижимая к груди ящичек с квартцевым гравиметром. Уилла кинуло на Морозова. У ос-

нования столба яростно и торопливо заклубился пар, плот заволокло белой пеленой.

Понемногу толчки затихли и прекратились вовсе. Ветер разматывал полотнище пара, гнал его кверху. Пятеро в серо-голубых костюмах из стеклоткани стояли тесной кучкой — бессильные перед грозным могуществом природы.

— Кажется, скорость столба возросла, — проговорил Уилл, задрав голову и щуря глаза за прозрачным щитком.

— Это покажут локационные измерения, — сказал Морозов. — Ну-с, продвигаемся вперед.

И упрямые люди шаг за шагом приближались к столбу, толкая перед собой тележку с приборами и разматывая рулетку.

Замер на отметке 200 продолжался полтора часа: пришлось ждать, пока маятниковый гравиметр, взбудораженный толчками, придет в нормальное положение.

На отметке 50 Морозов велел всем обвязаться канатом.

На отметке 100 Джим обнаружил, что краска в ведерке кипит и испаряется; Юра протянул ему кусок мела.

На отметке 75 Уилл сел, скрючившись, на тележку и коротко простонал.

— Что с вами, Макферсон? — обеспокоенно произвал голос Морозова.

Уилл не ответил.

— Я отведу его на катер, — сказал Кравцов. — Это сердечный приступ.

— Нет, — раздался слабый голос Уилла. — Сейчас пройдет.

— Немедленно на катер; — распорядился Морозов.

Кравцов взял Уилла под мышки, поднял и повел к борту. Он слышал тяжелое дыхание Уилла и все повторял:

— Ничего, старина, ничего...

В кабине лифта ему показалось, что Уилл потерял сознание. Кравцов страшно испугался, принял

тормошить Уилла, снял с его головы шлем и свой тоже. Лифт остановился. Кравцов распахнул дверцу и заорал:

— На катере!

Двое проворных японских матросов взбежали на причал. Они помогли Кравцову снянуть с Уилла скафандр. Слабым движением руки шотландец указал на кармашек под поясом своих шортов, Кравцов понял. Он вытащил из кармашка стеклянную трубочку и сунул Уиллу в рот белую горошину.

— Еще, — прохрипел Уилл.

Его отнесли на катер, положили на узкое кормовое сиденье. Один из матросов подоткнул ему под голову пробковый спасательный жилет.

— Срочно доставьте его на судно, — сказал Кравцов старшине по-английски. — Вы понимаете меня?

— Да, сэр.

— Сдайте мистера Макферсона врачу и возвращайтесь сюда.

— Да, сэр.

Катер отвалил от причала. Кравцов постоял немного, глядя ему вслед. «Уилл, дружище, — думал он с тревогой. — Я очень к вам привык. Уилл, вы не должны... Вы же крепкий парень...»

Только теперь он заметил, что солнце уже клонилось к западу. Сколько же часов провели они на плоту?.. По небу ползли облака, густые, плотные, они наползали на солнце, зажигались оранжевым огнем.

Духота мертвый хваткой брала за горло. Кравцов надвинул шлем и вошел в кабину лифта. Потом, медленно идя в шуршащем скафандре по верхней палубе, окутанной паром, он испытал странное чувство, будто все это происходит не на Земле, а на какой-то чужой планете, и сам обругал себя за нелепые мысли.

Он подошел к серо-голубым фигурам — они все еще делали замеры на отметке 75, — и услышал обращенный к нему вопрос Морозова, и ответил, что отправил Макферсона на судно.

Морозов был чем-то озабочен. Он сам проверил показания всех приборов.

— Резкий скачок, — пробормотал он. — Поехали дальше. Держаться всем вместе.

Они двинулись, локоть к локтю, толкая перед собой тележку, на которой стоял контейнер с маятниковым гравиметром. Остальные приборы несли в руках. Джим разматывал рулетку.

Они не прошли и пятнадцати метров, как вдруг тележка сама покатилась по рельсам к столбу.

— Назад! — ударил в уши голос Морозова.

Люди попятались. Тележка с контейнером катилась все быстрее, увлекаемая загадочной силой. Облако пара поглотило ее, потом она снова вынырнула в просвете. Там, где кончались рельсы, она взлетела, будто оттолкнулась от трамплина, мелькнула серым пятном и исчезла в клубах пара.

— Вон она! — крикнул Чулков, тыча рукавицей.

На высоте метров в двадцать между рваными ключьями пара был виден столб, бегущий вверх. Он уносил контейнер, а чуть пониже к нему прилепилась тележка... Вот они скрылись в облаках...

Люди оторопело смотрели, задрав головы.

— Тю-тю, — сказал Чулков. — Теперь ищи добро на луне...

Джим бормотал проклятия.

А Кравцов чувствовал страшную усталость. Каменной тяжестью налились ноги. Скафандр весил десять тонн. В висках стучали медленные молотки.

— На сегодня хватит, — услышал он голос Морозова. — Пошли на катер.

17

— Хочешь чаю? — спросила женщина.

— Нет, — ответил Уилл.

Он лежал в своей каюте, сухие руки с набухшими венами вытянулись поверх голубого одеяла — руки, сжатые в кулаки. Лицо его — загорелое и бледное одновременно — было неподвижно, как лицо сфинкса. Нижняя челюсть, обросшая седой щетиной, странно выпятилась.

Норма Хэмптон сидела возле койки Уилла и вглядывалась в его неподвижное лицо.

— Я бы хотела что-нибудь сделать для тебя.

— Набей мне трубку.

— Нет, Уилл, только не это. Курить нельзя. Он промолчал.

— Теперь тебе не так больно?

— Теперь не так.

— Три года назад ты никогда не жаловался на сердце. Ты изнуряешь себя работой. Ты забираешься в самые гибкие места. За три года ты и трех месяцев не провел в Англии.

Уилл молчал.

— Почему ты не спросишь, как я очутилась в Японии?

— Как ты очутилась в Японии? — спросил он бесстрастно.

— О Уилл!.. — Она прерывисто вздохнула и пошла вперед. — Не думай, пожалуйста, что мне хорошо жилось эти три года. Он оказался... Ну, в общем в июне, когда освободилось место корреспондента в Токио, я попросилась туда. Я ушла от него.

— Ты всегда уходишь, — сказал Уилл ровным голосом.

— Да. — Она невесело засмеялась. — Такая у меня манера... Но вот что я скажу тебе, Уилл: мне очень хочется вернуться.

Он долго молчал. Потом скосил глаза, посмотрел на нее.

— Ушам не больно? — спросил он.

— Ушам?

— Да. Слишком тяжелые подвески.

Норма невольно тронула пальцами серьги — большие зеленые треугольники с узором.

— Я узнала из газет, что ты здесь, на плоту, и поняла, что это мой последний шанс. Я телеграфировала в редакцию и отплыла на «Фукуоке».

— Уйди, — сказал он. — Я хочу спать.

— Ты не хочешь спать. Мы уже не молоды, Уилл. — Голос женщины звучал надтреснуто. — Я бы набивала тебе трубку и сажала розы и пё-

туны в цветнике перед домом. Хватит нам бродить по свету. Мы бы проводили вместе все время. Все вечера, Уилл... Все оставшиеся вечера...

— Послушай, Норма...

— Да, милый.

— Говард пишет тебе?

— Редко. Когда ему нужны деньги. Он уже не очень-то нуждается в нас.

— Во мне — во всяком случае.

— Все-таки он наш сын. И ты бы мог, Уилл...

— Нет, — сказал он. — Довольно! Довольно, черт побери!

— Хорошо. — Она провела ладонью по одеялу — погладила его ногу. — Ты только не волнуйся. Может, налить тебе чаю?

В дверь постучали.

— Войдите, — сказал Уилл.

Вошел Кравцов, всклокоченный, в широко распахнутой на груди белой тенниске и измятых брюках.

— Ну, как вы тут? — начал он с порога и осекся. — Простите, не помешал?

— Нет. Норма, это инженер Кравцов из России. Кравцов, это Норма Хэмптон, корреспондентка.

Норма тряхнула золотистой гривой и, улыбаясь, протянула Кравцову руку.

— Очень рада. О вас писали во всем мире, мистер Кравцов. Читатели «Дейли телеграф» будут рады прочесть несколько слов, которые вы пожелаете для них...

— Подожди, Норма, это потом, — сказал Уилл. — Вы давно вернулись с плота, парень?

— Только что. Как вы себя чувствуете?

— Врач, кажется, уложил меня надолго. Ну, рассказывайте.

Кравцов, торопясь и волнуясь, рассказал о том, как черный столб притянул и унес тележку с контейнером.

— Вот как! Что же это — магнитное явление или, может, гравитационное?

— Не знаю, Уилл. Странная аномалия.

— А Морозов что говорит?

— Морозов помалкивает. Сказал только, что горизонтальная сила притяжения растет по мере приближения к столбу не прямо пропорционально расстоянию, а в возрастающей степени.

— Что же будет дальше?

— Дальше? Новые измерения. Ведь сегодня были грубые, первичные. Теперь на плоту установят дистанционные приборы постоянного действия. Они будут передавать все данные оттуда на «Фукуока-мару». Ну, Уилл, я рад, что вам лучше. Пойду.

— Мистер Кравцов, — сказала Норма Хэмптон, — вы должны рассказать мне подробнее о столбе.

Кравцов посмотрел на нее.

«Сколько ей лет? — подумал он. — Лицо молодое, и фигура... А руки — старые. Тридцать? Пятьдесят?»

— Вы что-нибудь ели сегодня? — спросил Уилл.

— Нет.

— Вы сумасшедший. Сейчас же идите. Норма, оставь мистера Кравцова в покое.

— В восемь часов будет пресс-конференция, миссис Хэмптон, — сказал Кравцов.

— Почему в восемь? Назначено на шесть.

— Перенесли на восемь.

Кравцов кивнул и пошел к двери. Он распахнул дверь и столкнулся с Али-Овсадом.

— Осторожно, эй! — сказал старый мастер; он держал в руках заварной чайник в розовых цветочках. — Я так и знал, что ты здесь. Иди кушай, — проговорил он строго. — Голодный ходишь-бродишь, совсем кушать забыл.

— Иду, иду. — Кравцов, улыбаясь, зашагал по коридору. От голода его слегка поташнивало.

Али-Овсад вошел в каюту Уилла, искоса глянул на Норму, поставил чайник на стол.

— Пей чай, инглиз, — сказал он. — Я сам заварил, хороший чай, азербайджанский. Такого нигде нет.

Косматая шапка туч накрыла океан. Свежел ветер, сгущалась вечерняя синь. На «Фукуока-мару» зажглись якорные огни. Покачивало.

У входа в салон, в котором должна была состояться пресс-конференция, Кравцова придержал за локоть румяный молодой человек.

— Товарищ Кравцов, — сказал он, дружелюбно глядя серыми улыбчивыми глазами, — неуловимый товарищ Кравцов, разрешите представиться: Оловянников, спецкор «Известий».

— Очень рад. — Кравцов пожал ему руку.

— Вчера не хотел беспокоить, а сегодня утром пытался поймать вас за фалды, но вы бежали со страшной силой. Будучи вежливым человеком, вы мне кинули английское извинение...

— Это были вы? — Кравцов усмехнулся. — Извините, товарищ Оловянников. На сей раз — по-русски.

— Охотно, Александр Витальевич. Возможно, вам небезынтересно будет узнать, что перед отлетом из Москвы я звонил вашей жене...

— Вы звонили Марине?!

— Я звонил Марине и заключил из ее слов, что она прекрасно к вам относится.

— Что еще она говорила? — вскричал Кравцов, проникаясь горячей симпатией в улыбчивом спецкору.

— Говорила, что очень вас ждет. Что дома все в порядке, что ваш Вовка — разбойник и все больше напоминает характером своего папку...

Кравцов засмеялся и принялся трясти руку Оловянникова.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Лев Григорьевич. Если хотите, можно без отчества. Мама ваша здорова, она тоже просила передать привет и что ждет. С Вовкой поговорить не удалось — он спал младенческим сном. Марина просила захватить для вас журналы на эсперанто, но я, к сожалению, спешил в аэропорт...

— Большущее вам спасибо, Лев Григорьевич!

— Не за что.

Они вошли в салон и сели рядом на диванчик возле стены.

В ожидании начала мировая пресса шумно переговаривалась, курила, смеялась. Норма Хэмптон загнала в угол Штамма и, потрясая львиной гривой и блокнотом, извлекала из австрийца какие-то сведения. Али-Овсад, принарядившийся, в синем костюме с орденами, подошел к Кравцову и сел рядом, заставив потесниться его соседей. Кравцов познакомил его с Оловянниковым, и Али-Овсад сразу начал рассказывать спецкору о своих давних и сложных отношениях с прессой.

— Про меня очень много писали, — степенно текла его речь. — Всегда писали: «Мастер Али-Овсад стоит на буровой вышке». Я читал, думал: «Разве Али-Овсад всегда стоит на буровой вышке? У Али-Овсада семья есть, брат есть — агроном, виноград очень хорошо знает, сыновья есть». Почему надо всегда писать, что мастер Али-Овсад стоит на буровой-муровой?

— Вы правы, Али-Овсад, — посмеиваясь, сказал Оловянников. — Узнаю нашу газетную братию. Мастера превращать человека в памятник...

— Ай, молодёц, правильно сказал! — Али-Овсад поднял узловатый палец. — Человека — в памятник. Зачем такие слова писать. Других слов нету?

— Есть, Али-Овсад. Это самое трудное — найти другие, настоящие слова. В спешке не всегда удается...

— А ты не спеши. Если каждый будет свою работу спешить — работа плакать будет.

В салон вошли Токунага, Морозов, Брамулья и два незнакомых Кравцову человека. Они прошли за председательский стол, сели. Разговоры в салоне стихли.

Поднялся Токунага. Замигали вспышки «блицев». В притихшем салоне раздался высокий голос японца:

— Господа журналисты, от имени президиума МГГ я имею честь открыть пресс-конференцию. Оговорюсь сразу, что пока мы можем сообщить вам

только самые первоначальные сведения и некоторые предположения, которые — я подчеркиваю это, господа, — ни в какой мере не претендуют на абсолютную истинность и нуждаются в многократной проверке.

Два переводчика переводили гладкую, несколько церемонную речь японца на русский и английский языки.

— Итак, что произошло? — продолжал Токунага. — Шесть лет назад на глубине сорок два километра от уровня океана было приостановлено бурение сверхглубокой скважины. Долото перестало дробить породу, а подъем труб оказался невозможным по необъяснимой причине. Возможно, вы помните, господа, споры и гипотезы того времени. Мы тогда установили международный график дежурства у скважины — и не напрасно. Теперь, на шестом году, произошло новое, более серьезное событие. Предварительно напоминаю, что скважина бурилась в дне глубоководного желоба — там, где, по нашим расчетам, толщина земной коры значительно меньше. Вышла ли скважина в глубинную трещину, растревожило ли плазменное бурение нижележащие слои — неизвестно.

Можно предположить, что черный столб — это вещество глубочайших недр, находившееся в пластичном состоянии под действием огромного давления; оно нашло где-то слабое место и поднялось вверх, ближе к границам коры. Встретив на своем пути скважину, оно начало медленно, а потом быстрее и быстрее подниматься наружу. Кто-то довольно удачно сравнил это с выдавливанием зубной пасты из тюбика. Вещество, как вы знаете, выдавило из скважины колонну труб и, значительно расширив скважину, продолжает столбом подниматься вверх, несколько отклоняясь к западу. Химический состав и физическая структура столба пока неизвестны. Видите ли, господа, многие ученые считают, что таблица Менделеева верна только для обычных давлений и температур. А на больших глубинах, где действуют чудовищные давления и высочайшие температуры, строение электронных оболочек атомов изменяется: в них

как бы вдавливаются орбиты электронов. А еще глубже электронные оболочки атомов смешиваются. Здесь все элементы приобретают совершенно новые свойства. Здесь нет железа, нет фосфора, нет урана, нет йода, нет никаких элементов, а только некое универсальное вещество металлического характера. Так мы полагаем. Вы, вероятно, знаете, что попытка получить образец вещества столба, к сожалению, не удалась. Бессспорно одно: это вещество обладает особыми свойствами...

19

Было уже за полночь, когда Кравцов вышел из прокуренного салона. Болела голова, поламывало спину. Зайти бы к врачу, какую-нибудь таблетку проглотить. Да разве разыщешь в этом плавучем городе санчасть?..

Али-Овсад и Оловянников потерялись где-то в толпе корреспондентов, ринувшихся после окончания пресс-конференции к радиорубке.

Кравцов не совсем представлял себе, в каком коридоре находится его каюта. Он спустился по первому попавшемуся трапу. Опять пустой коридор, устланный джутовой дорожкой. Двери, двери... А номера кают — четные. Надо перейти на другой борт. Вообще надо разобраться на «Фукуока-мару», где что. Кажется, не день и не два придется здесь прожить.

Еле передвигая ноги от усталости, он брел по коридору, и в голове вертелся навязчивый мотивчик: «Позаастали стежки-дорожки... где проходили ми-лого ножки...»

Где-то впереди прозвучал обрывок разговора по-английски, раздался взрыв смеха. Потом послышались меланхолические звуки банджо. Распахнулась дверь одной из кают, в коридор вышли коренастый техасец (его голова была повязана пестрой косынкой) и еще двое — монтажники из бригады Паркинсона. Они были сильно навеселе.

— А, инженер! — воскликнул малый в косынке.— Ну, что вы там навыдумывали с учеными джентльменами?

— Пока ничего не придумали, — устало ответил Кравцов.

— Выходит, зря денежки вам платят!

Кравцов посмотрел на красное, возбужденное лицо техасца и молча двинулся дальше, но тут один из монтажников остановил его.

— Минуточку, сэр. Вот Флетчер, — он мотнул головой на техасца, — интересуется, не упадет ли этот проклятый столб на Америку. У него, сэр, полно родственников в Америке, и он беспокоится...

— Пусть он напишет им, чтобы они поставили над домами подпорки, — сказал Кравцов.

Монтажники покатились со смеху. Из соседней каюты выглянул Джим Паркинсон со своим банджо. Он кивнул Кравцову и сказал:

— Иди-ка спать, Флетчер.

— Я бы пошел, — ухмыльнулся техасец, — да вот беда: боюсь пожелтеть во сне...

Снова взрыв хохота.

Кравцов, морщась от головной боли, поплелся по коридору дальше.

«Позарастали стежки-дорожки... где проходили... дикие кошки...»

Он свернулся в попечный коридор и чуть не носом к носу столкнулся с Али-Овсадом.

— Ай балам, ты куда идешь? Я там был, там не наша улица. Такой большой пароход — надо на углу милиционера ставить.

— Действительно... А куда этот трап ведет?

Они поднялись по трапу и оказались на верхней палубе. Здесь было понятнее. Они прошли на спардек и уселись, вернее — улеглись, в шезлонгах.

Судно покачивалось, поскрипывало. В свете топовых огней было видно, как низко-низко плыли смуглые облака.

— Дождь будет, — сказал Али-Овсад.

Кравцов, глубоко вдыхая ночную прохладу, смотрел на тучи, беспрерывно бегущие над судном.

«Что за чепуху нес этот Флетчер? — подумал он. «Боюсь пожелтеть во сне» — что это значит?»

— Саша, — сказала Али-Овсад, — помнишь, тол-

стый журналист что спросил? Бог обиделся на бурильщиков и послал черный столб.

Кравцов улыбнулся, вспомнив вопрос корреспондента «Крисчен сенчури» — не является ли столб божьим знамением — и ответ Токунаги, попросившего, ввиду отсутствия серьезных доказательств существования богов и ограниченности времени, задавать вопросы по существу.

— Такой хорошо одетый, на ministra похож, а не знает, что бога нет. — Али-Овсад поцокал языком. — А я думал, он культурный.

— Разные люди бывают, Али-Овсад. Вот ваш друг Брамулья тоже имеет привычку обращаться к господу богу.

— Э! Просто так привык. Саша, я не совсем понял — зачем япон про Хиросиму вспомнил?

— Про Хиросиму? Ну, этот, в пестрой рубашке, — из «Нью-Йорк пост», кажется, — спросил, откуда вообще берется энергия. Что-то в этом роде. Токунага и ответил, что по Эйнштейну энергия равна произведению массы на квадрат скорости света в пустоте, и, значит, в одном грамме любого вещества дремлет скрытая энергия — кажется, двадцать с лишним триллионов калорий. Она может проявиться как угодно. И тут он добавил, что с частичным проявлением этой энергии они, японцы, познакомились в Хиросиме...

Кравцов умолк. Странная фраза Флетчера — «боюсь пожелтеть» — снова вспомнилась ему, и вдруг он понял ее смысл. Понял — и помрачнел.

Звякнула дверная ручка. Слева возник освещенный овал. Из внутренних помещений вышли на спардек несколько человек — они громко переговаривались, смеялись, чиркали зажигалками. Один из них подошел к шезлонгам Кравцова и Али-Овсада.

— Вот вы где, — сказал он. Это был Оловянников. — Недурно устроились. — Он тоже бросился в шезлонг и потянулся. — Черт его знает, что в редакцию передавать, — пожаловался он. — Смутно, смутно все... С трудом пробился к Морозову, просил

написать хоть несколько слов для «Известий» — нет, отказался. Преждевременно... Александр Витальич; вы что-нибудь знаете о теории единого поля?

— Знаю только, что ее еще нет. К чему это вы?

— Морозов вскользь упоминал — у него какие-то свои взгляды... Представляю себе магнетизм. Могу с некоторым умственным напряжением представить гравитационное поле. Но что за поле возникло вокруг черного столба? Что за горизонтально действующее притяжение?

— Все это связано, — сказал Кравцов. — Нужна теория, объединяющая все теории полей. Вот как раньше: была теория эфира, и все, и ведь казалась незыблемой... Верю, что скоро появится теория единого поля.

— Я тоже, — откликнулся Оловянников. — А то разнобой страшный... Знаете, что очень тревожит Морозова?

— Что?

— Ионосфера. Скоро, он говорит, столб достигнет ионосферы, и еще что-то хотел сказать, но переглянулся с Токунагой и замолчал. Что может быть, по-вашему?

Кравцов пожал плечами.

— Удивительное дело, — сказал он. — В некоторых космических проблемах мы разбираемся лучше, чем в недрах собственной планеты. Наша скважина — меньше одного процента пути к центру Земли, а уже напоролись на такое явление... Не знаем, ни черта не знаем, что у нас под ногами... — Он помолчал и добавил поднимаясь: — Но мы все равно узнаем. Наша скважина — это только начало.

Кравцова разбудил гулкий пушечный выстрел. Он бросился к иллюминатору. Темное небо было сплошь в грозовых тучах. Сверкнула молния, снова загрохотал протяжный громовой раскат. Стакан на полочке умывальника, медные колечки портьер отозвались тоненьkim дребезжанием.

Кравцов поспешил одеться и побежал на спардек. У борта, обращенного к плоту, толпились люди. Они тревожно переговаривались, и раскаты грома то и дело покрывали их слова.

Обычно в это время над океаном сияло голубое утро, но теперь было похоже, что стоит глухая полночь. Казалось — все тучи мира тянулись к черному столбу. Пучки молний вырывались из туч, били в столб, только в столб, и небо раскачивалось от на-раставшего грохота.

Фантастическое зрелище! Вспышки молний освещали неспокойный океан, и он казался светлее низкого сумрачного неба, и на горизонте белые клинки вели дьявольскую дуэль у столба, окутанного паром.

Хлынул ливень.

Кравцов увидел Брамулю, протолкался к нему. Толстяк вцепился руками в фальшборт, губы его шевелились.

— О, Сант-Яго ди Баррамеда, — бормотал он. — Черная мадонна монтесерратская...

Штамм, безмолвно и неподвижно стоявший рядом, повернулся к Кравцову бледное лицо, кивнул.

— Ну и гроза! — крикнул Кравцов. — Никогда такой не видел...

— Никто такой грозы не видел, — ответил Штамм, удар грома заглушил его слова.

«Фукуоку» изрядно клали с борта на борт. Цепляясь за поручни, Кравцов пошел к трапу, спустился в коридор, постучал в каюту Уилла. Откликнулся незнакомый голос. Кравцов приоткрыл дверь, тут судно накренилось, и он влетел в каюту, чуть было не сбив с ног японца в белом халате.

— Простите, — прошептал он и посмотрел на Уилла.

Уилл лежал на спине, выставив костиный подбородок, глаза его были закрыты. Врач тронул Кравцова за руку, сказал что-то непонятное, но Кравцов и так понял: надо уйти, не мешать. Он кивнул и вышел, притворив дверь. За дверью звякнуло металлическое.

По коридору быстро шла Норма Хэмптон. Волосы у нее были как-то наспех заколоты, на губах ни следа помады.

— Не входите, — сказал ей Кравцов. — Там врач.

Она не ответила, не остановилась. Без стука вошла в каюту Уилла.

Кравцов постоял немного, прислушиваясь. Глухо ревела гроза, из каюты не доносилось ни звука. «Надо что-то делать, — билась тревожная мысль. — Надо что-то делать...»

Он сорвался с места, побежал. В ярко освещенном салоне завтракало несколько японцев из судовой команды. Морозова здесь не было, Токунаги тоже.

— Где академик Морозов? — спросил Кравцов, и один из моряков сказал, что Морозов, возможно, в локационной рубке.

Кравцов по крутым трапам поднялся на мостик. Дождь колотил по спине, обтянутой курткой, по непокрытой голове. На мгновение Кравцов остановился. Отсюда, сверху, картина грозы представилась ему еще фантастичней. Внизу бесновался океан, буроватое небо полосовали изломанные молнии, рябило в глазах от пляски света и тьмы. Пахло озоном. Мостик уходил из-под ног.

По стеклу локационной рубки струились потоки воды. Кравцов рванул дверь, вошел.

Здесь, зажатые серыми панелями приборов, работали двое японцев в морской форме, давешний техник-гравиметрист Юра и Морозов. Мерцал зыбким серебром экран локатора, по нему ползла светящаяся точка. Морозов вскинул на Кравцова пронзительный взгляд.

— А, товарищ Кравцов! Что скажете?

— Виктор Константинович, — сказал Кравцов, смахивая ладонью дождевые капли со лба, — Макферсону плохо. Эта гроза и качка...

— Насколько я знаю, у него дежурит врач.

— Да, это так, но... Нельзя ли отвести судно по дальше? Из зоны грозы...

Морозов кинул карандаш на столик, поднялся, С минуту он смотрел на развертку локатора.

— Воздух буквально насыщен электричеством, —
сказал Кравцов.

— Вы что, медик? — резко спросил Морозов.

— Нет, конечно, но посудите сами...

Морозов почесал щеку. Потом выдернул из гнезда телефонную трубку, набрал номер.

— Это... миссис Хэмптон? Говорит Морозов. Врач у вас? Попросите его... Ну, так спросите, каково состояние Макферсона. — Некоторое время Морозов слушал, хмурясь и подергивая щекой. — Благодарю вас.

Щелкнул зажим, приняв трубку на место.

— Ладно, Кравцов, — сказал Морозов, берясь за карандаш. — Кажется, вы правы. Мы примем меры, не надо волноваться.

21

«Фукуока-мару», отведенный подальше, снова лег в дрейф. Гроза продолжала реветь над океаном. Молнии взяли черный столб в кольцо, они непрерывно били в него со всех сторон. Кто-то заметил шаровую молнию: огненный сгусток энергии, разбрызгивая искры, плыл над волнами, повторяя их очертания.

В десятом часу утра от «Фукуоки» к плоту отплыл катер — в нем отправилась группа добровольцев, среди них был и Чулков. Возглавлял группу Юра — он получил от Морозова подробные инструкции: где и какие приборы ставить.

— Опасно, — сказал Али-Овсад. — Разве нельзя подождать, пока гроза кончится?

Но всеведущий Оловянников объяснил, что ждать бессмысленно: гроза пройдет не скоро — может быть, через много дней.

Добровольцы в защитных костюмах поднялись на плот и установили стационарные приборы, снабженные автоматическими радиопередатчиками. Теперь в локационной рубке «Фукуока-мару» треугольные перья самописцев выписывали на графленых лентах дрожащие цветные линии. Вычислители обрабатыва-

ли поступающую информацию. Ученые непрерывно совещались.

Журналистов в приборную рубку не пускали. Они чуяли: происходит нечто грандиозное, надвигается небывалая сенсация. Иные из них пытались уже отправить в свои газеты описание грозы, сдобренное собственными домыслами, но радиорубка не принимала информации без визы Штамма, а австриец был неумолим. Он безжалостно вычеркивал все, что так или иначе относилось к научным предположениям, и в результате от корреспонденции оставались жалкие огрызки.

Несколько раз Токунага и Морозов вели радиопереговоры с Международным геофизическим центром. Юркий Лагранж, корреспондент «Пари суар», подстерег однажды академиков, возвращавшихся из радиорубки. Он тихонько прокрался за ними по коридору, включив портативный магнитофон, и успел записать обрывок разговора.

Нечего было и думать передать бесценную запись в редакцию: Штамм просто отобрал бы магнитную ленту. Долго крепился Лагранж, не желая выпускать из рук добытую сенсацию, и не выдержал наконец. Он собрал журналистскую братию в салон прессы, потребовал тишины и запустил магнитофон.

Раздался характерный шорох, а затем приглушенный разговор на английском языке:

— ...Скорость возрастает.

— Да, он обгоняет нас и не оставляет нам времени. Вы слышали доклад штурмана корабля? Магнитный компас вышел из меридиана.

— Очень сложная картина. И все же ваше предположение о магнитах...

— Я хотел бы ошибиться, поверьте. Но при такой перестройке структуры... Простите, Масао-сан. Вам что нужно, господин корреспондент?

— Мне? — раздался быстрый говорок Лагранжа. — О, шер мэтр *, решительно ничего. Я просто...

* Дорогой учитель (фр.).

— Ну, дальше неинтересно. — Лагранж под общий хохот выключил магнитофон.

— Продайте мне этот текст, Лагранж, — попросил дюжий американец в гавайской рубашке.

— Зачем вам, Джекобс? Не думаете ли вы, что ваше обаяние смягчит сердце австрийского цербера?

— Моя газета не поскупится на расходы.

— Ну, так вы ошибаетесь, Джекобс! — закричал Лагранж и хлопнул себя по бедрам. — Штамм неподкупнее Робеспьера! Я ничего не смыслю в науке, но уж в людях я разбираюсь, будьте покойны! Этого Штамма можно распилить тупой пилой — и все равно...

Кто-то дернул Лагранжа за рукав.

В дверях салона стоял Штамм, прямой и бесстрастный.

— Мне очень лестно, господа, — проговорил он дребезжащим голосом, — что вы не подвергаете сомнению мою профессиональную добросовестность.

Штамм прошелся к столу, положил перед собой папку и строго оглядел журналистов.

— Господа, — сказал он, выждав тишины и поправив очки, — я уполномочен сделать вам экстренное сообщение. Ввиду чрезвычайности положения решено, чтобы вы немедленно информировали свои газеты. Вам раздадут печатный текст сообщения президиума МГГ. Просим без искажений и добавлений передать его в свои редакции. Аналогичный текст уже отправлен по радио в ООН и некоторые другие международные организации.

— Что произошло? — раздались голоса.

— Прокомментируйте сообщение!

— Затем я сюда и пришел, — сказал Штамм. И начал комментировать, тщательно взвешивая каждое слово: — Локационные измерения показывают, что скорость черного столба быстро возрастает. Его вершина достигла восьмидесяти с лишним километров над уровнем океана и отклоняется на запад — следствие вращения Земли. У поверхности Земли,

вы это должны знать, воздух почти не проводит электрического тока, но на высоте восьмидесяти километров проводимость воздуха резко увеличивается и равна проводимости морской воды. Вот почему, достигнув указанной высоты, черный столб, который, очевидно, обладает высочайшей электропроводностью, близкой к сверхпроводимости, — вот почему столб вызвал небывалую, невиданную грозу, то есть мощные разряды атмосферного электричества.

Штамм чуть передохнул после длинной фразы. Слышно было глухое ворчание грозы.

— Теперь о главном, — продолжал Штамм. — К вечеру столб достигнет ионизированных слоев атмосферы. Ионосфера, это вы тоже должны знать, электрически заряжена, ее потенциал относительно поверхности Земли в среднем составляет более двухсот тысяч вольт. Наблюдения показывают, что в столбе возникли токи проводимости и уже появилось собственное, весьма специфичное, поле столба. Оно резко усилится, когда столб войдет в ионосферу и вступит с ней в своеобразное взаимодействие. Земля будет накоротко замкнута со своей ионосферой.

Журналисты, напряженно ожидавшие сенсации, разочарованно вздыхали, переглядывались: опять малопонятные рассуждения о полях.

— При этом Земля не потеряет своего заряда, — продолжал Штамм, — ибо *Zustrom* — постоянный приток заряженных частиц из космоса, — разумеется, не прекратится. Магнитное поле Земли — огромная ловушка этих частиц, так считают многие ученые. Но вследствие прямого замыкания свойства магнитной ловушки значительно изменятся. У нас возникли серьезные опасения, господа, что весь этот комплекс явлений — и прежде всего необъяснимая пока специфика поля столба — повлечет за собой существенное изменение структуры магнитного поля планеты. По некоторым признакам это может... Мы опасаемся, что это вызовет размагничивание всех постоянных магнитов.

Штамм умолк.

— Почему же они размагничиваются? — раздался спокойный голос Джекобса.

— Магнит размагничивается при нагреве или ударе! — воскликнул Оловянников. — Но ведь тут ни того, ни другого...

— Да, господа, — сказал Штамм, он как будто немного раз волновался, — при ударе и нагреве выше точки Кюри. Перестройка структуры земного магнитного поля, по некоторым данным, вызовет в магните примерно такой же эффект, как и сильный удар или нагрев. Точнее, как то из комплекса этих явлений, что влияет на магнитное состояние тела... Впрочем, я немного отвлекся от цели своего сообщения. — Штамм откашлялся, поправил очки. — Итак, если наши опасения справедливы, размагничиваются магниты — все, какие есть на планете. Надеюсь, вы понимаете, господа: это означает, что электрического тока не будет. Его не даст ни один генератор.

Некоторое время в салоне стояла мертвая тишина. Затем ошеломление взорвалось выкриками.

— Как мы будем жить без электричества?

— Когда вы, ученые, прекратите ваши дьявольские опыты?

— Неужели вы не можете остановить этот чертов столб?

Штамм терпеливо переждал бурю. Когда страсти немного улеглись, он сказал:

— Господа, ученые всего мира ищут способа остановить столб, но он обогнал нас. Необходимо тщательно изучить явление. Это мы и делаем. Безусловно, ученые найдут выход из положения. Как скоро? Не могу сказать. Может быть, месяц, а может, и больше придется пожить без электромагнитной техники. Разумеется, придется широко пользоваться паровыми двигателями. Повторяю: временно. Заверяю вас, что ученые ликвидируют короткое замыкание и восстановят статус-кво. Мы просим соблюдать спокойствие и призвать к этому ваших читателей.

Журналисты ринулись к столу, и каждый получил листок с официальным сообщением.

Вечером гроза усилилась. Лил дождь. Несколько раз над «Фукуока-мару» проплыли шаровые молнии, они словно приглядывались к кораблю — и упливали дальше, к черному столбу.

От бесконечной пляски молний, от неприкаянности, от близости непонятных и грозных событий у Кравцова было смутно на душе. Али-Овсад затащил его к себе, стал поить чаем и расспрашивать об ионосфере. Оловянников сидел с ними, приглядывался к обоим.

— Слушай, — говорил Али-Овсад, держа блюдце на кончиках пальцев, — бензиновый мотор будет работать? Ему ток не нужен...

— А зажигание? — отвечал Кравцов. — Как без электрической искры?

Али-Овсад задумчиво отхлебывал чай, откусывал сахар.

— Надо мне в Баку ехать, — объявил он вдруг. — Если тока не будет, надо много керосина делать. — Он встал, щелкнул выключателем, плафон послушно зажегся. — Горит, — сказал Али-Овсад. — Это, наверно, япон придумал, что электричества не будет. Зачем Морозов его слушает?

— Морозов зря не станет пугать.

— Ай балам, ошибаться каждый человек может. — Али-Овсад, прихлебывая чай из блюдца, стал неторопливо рассказывать про геолога Новрузова, который никогда не ошибался. Однако в один прекрасный день скважина, пробуренная в выбранном самим Новрузовым месте и доведенная уже до двух тысяч метров глубины, внезапно ушла под землю.

— Когда это было? — спросил Оловянников, вытаскивая из кармана блокнот.

— Давно, в сорок девятом. Не пиши, уже наша газета «Вышка» писала: «Мастер Али-Овсад стоит на буровой вышке, спасает ротор, лебедку, насос». Ротор и лебедку спас, это правда, а насос не успел. Хороший насос был — завод «Красный молот». По-

том мы все бежали — сама вышка в землю ушла. Теперь там вода — озеро.

— А что говорили геологи?

— Каждый свое говорил. Пласти, структура... Земля, а под землей что есть, мы не знаем.

Кравцов слушал рассеянно, про нашумевший когда-то случай в Ширваннефти он прекрасно знал. Чай уже не лез в горло.

— Пойду письма писать, — сказал он и побрел к себе.

Перед каютою Уилла он постоял в раздумье, потом тихонько постучал, и сразу дверь отворилась. Норма Хэмптон стояла у порога, она приложила палец к губам и покачала головой.

— Кто там? — раздался слабый голос Уилла.

— Ты не спиши? — сказала Норма. — Ладно, заходите, мистер Кравцов.

— Ну, Уилл, как вы тут? — Кравцов сел, беспокойно вглядываясь в лицо шотландца. В каюте был полумрак, горела лишь настольная лампа, прикрытая газетой.

— Ничего, лучше. Зажгите свет.

Вспыхнул плафон. В его желтом свете сухое лицо Уилла показалось Кравцову незнакомым. Может, потому, что щеки обросли седой щетиной. И в глазах появилось что-то новое, не было уже иронической усмешечки. Движимый внезапным приливом нежности, Кравцов осторожно коснулся руки Уилла ладонью.

— Выкладывайте новости, парень, — сказал Уилл.

— Новости? Да, новости есть, и не очень-то веселые... — Он принялся рассказывать.

— Не будет электрического тока? — изумилась Норма Хэмптон. — Вы правильно поняли Штамма?

Кравцов усмехнулся.

— Я передаю вам то, что слышал, слово в слово. Кстати, миссис Хэмптон, вы не получили текста... Эх, не догадался взять для вас!.. В пресс-центре, должно быть, еще есть...

— Бог с ним, с текстом, — сказала Норма.

«А ведь она совсем, совсем не молодая», — подумал Кравцов, глядя на усталое лицо женщины.

— Пойди, — сказал Уилл. — Это твоя обязанность.

— И отдохните заодно, — добавил Кравцов. — Я посижу с Уиллом.

— Ну что ж, — Норма нерешительно поднялась. — Если вы побудете здесь... Вот флакон, мистер Кравцов. Ровно в девять накапайте из него двадцать капель и дайте ему выпить.

Она вышла.

— Короткое замыкание, — сказал Уилл после паузы. — Вот как.

— Да. Колossalный пробой ионосфера-Земля. Трудно представить.

— Я был уверен, что здесь просто магнитная аномалия, — сказал Уилл. — Потому и напросился на вахту, что хотел проверить свое предположение. Да, собственно, не мое. Его еще тогда, шесть лет назад, высказывали Гилар, Нуаре...

— И Комарницкий, — вставил Кравцов.

В дверь постучали. Стюард японец скользнул в каюту, вежливо пошипел, поставил на столик свечу на черном блюдечке.

— Это зачем? — сказал Кравцов.

— Распоряжение капитана, сэр.

Стюард неслышно притворил за собой дверь.

— Свечи... Керосиновые лампы... — Кравцов покачал головой. — Дожили...

— Парень, пойдите и скажите им: атомная бомба. Только атомная бомба возьмет столб.

— Да перестаньте, Уилл.

— Я не шучу. Другого выхода нет.

Они помолчали. Кравцов взглянул на часы, накапал в стаканчик с водой двадцать капель из флакона, дал шотландцу выпить.

— У вас есть родители? — спросил вдруг Уилл.

— У меня мама. Отца я не помню, он погиб в сорок восьмом, когда мне было три года. Он был летчиком-испытателем.

— Он разбился?

— Да. Реактивный истребитель.

Уилл помолчал, а потом задал новый вопрос, и опять неожиданный:

— Зачем вы изучаете эсперанто?

— Ну, просто интересно. — Кравцов улыбнулся. — По-моему, было бы неплохо, если бы все люди выучились международному языку. Легче общаться.

— А вы обязательно хотите общаться?

— Не знаю, что вам сказать, Уилл. Общение людей — что в этом дурного?

— А я не говорю, что дурно. Бесполезно просто.

— Не хочу сейчас спорить с вами. Поправляйтесь — тогда поспорим.

— Что-то в вас раздражает меня.

Кравцов внимательно посмотрел Уиллу в глаза. Решил перевести в шутку:

— Это, должно быть, оттого, что я злоупотреблял гречневой кашей на завтрак...

Плафон стал тускнеть, тускнеть — и погас. Настольная лампа тоже погасла.

— Началось, — сказал Кравцов, нашаривая спички в кармане. — Прощай, электричество.

Он чиркнул спичкой, зажег свечу.

23

Это случилось не сразу на всей планете. Вначале зона размагничивания захватила район черного столба, потом она медленно и неравномерно стала растекаться по земному шару.

Дольше всего электромагнетизм задержался на крошечном клочке суши, затерянном в просторах Атлантики, — на острове Вознесения, являвшемся по своему географическому положению почти антиподом района черного столба. Там электрические огни погасли на одиннадцать дней позднее.

Казалось, что жизнь на планете гигантским скачком вернулась на целое столетие назад.

Напрасно воды Волги, Нила и Колорадо-ривер, падая с гигантских плотин, вращали колеса гидроэлектростанций; соединенные с ними роторы электрических генераторов крутились вхолостую: их обмотки

не пересекали магнитных силовых линий, и в них не наводилась электродвижущая сила.

Напрасно атомные котлы грели воду — пар так же бессмысленно вращал роторы генераторов.

Напрасно линии электропередач густой сетью оплели планету, напрасно тянулись провода в заводские цехи, в дома и квартиры — по ним не бежал живительный поток электронов, неся людям свет, тепло и энергию.

Конечно, электрический ток не исчез вовсе. Его давали химические элементы — батарейки карманных фонариков. Его давали аккумуляторные батареи — пока не разрядились, а зарядить их было нечего. Его вырабатывали электростатические машины трения, термоэлектрические и солнечные батареи. Их пробовали присоединять к обмоткам возбуждения генераторов, но ток протекал по катушкам зря, не возбуждая искусственного магнитного поля.

Остановилась могучая земная индустрия, энергетика которой базировалась на электромагнетизме. Погрузились во мрак вечерние улицы городов. Замерли троллейбусы, токарные станки, лифты в многоэтажных зданиях, стиральные машины, магнитофоны и мостовые краны. Двигатели внутреннего сгорания лишились зажигания. Умолкло радио. Телефонные станции онемели.

Люди оказались разобщены, как столетие назад.

Усложнилась навигация: карточки магнитных компасов бесполково крутились под стеклом, не указывая штурманам истинного курса.

Не только люди страдали от неожиданного бедствия. Рыбы потеряли свои таинственные дорожки в электрических токах океанских течений и нерестились где попало.

Перелетные птицы не могли найти привычных дорог.

Полярные сияния двинулись к экватору и остановились над ним, опоясав планету мерцающим, переливающимся кольцом.

Поползли грозные слухи об увеличении потока первичного космического излучения в нижних слоях

атмосферы, защитные свойства которой начали заметно изменяться. Жители горных районов покидали свои жилища, спускались в долины. Из уст в уста передавали страшную весть о гибели на Памире персонала высокогорной обсерватории.

При Организации Объединенных Наций был создан Комитет Черного Столба, в который вошли крупнейшие ученые мира. Но пока этот комитет напряженно изыскивал способ ликвидации черного столба, миру предстояло приспособиться к жизни в новых условиях.

Но мир этот не был един.

В социалистических странах плановая система позволила осуществить организованное переселение жителей горных районов, временную консервацию электропромышленности и перевод предприятий с электрической энергии на паровую. Работники электропромышленности спешно осваивали иные виды производства, где теперь временно требовалось больше людей.

А капиталистический мир лихорадило. Вспыхнула ожесточенная борьба монополий за правительственные заказы. Угольные и нефтяные акции взлетели до небес, акции электрических компаний обесценились. Те, кто верил в ликвидацию замыкания, скупали их. На биржах царила паника. Колossalные спекуляции охватили капиталистический мир. Цены росли, налоги увеличивались.

В газетах появились аршинные заголовки, возвещающие «последние дни человечества», но и за ними нередко скрывались корыстные интересы крупных монополий. Трансатлантическая транспортная компания заключила сделку с газетным концерном, и по Америке прокатился слух, будто острова Вознесения космические лучи достигнут гораздо позже остальных районов земного шара. Состоятельные люди устремились на этот крохотный островок — жаркий, почти лишенный воды конус, торчащий из глубин Атлантического океана. В Джорджтаун — единственный населенный пункт на острове, в котором жило сотни две человек, обслуживавших порт, — ежедневно

прибывали на собственных судах богатые эмигранты. Они привозили с собой продовольствие, строительные материалы, воду. Платили бешеные деньги за каждый квадратный метр каменистой почвы у подножья горы. Очень скоро здесь не осталось ни одного свободного участка, пригодного для жилья. Цены взвинчивались до астрономических масштабов. На острове вспыхивали кровавые столкновения.

Британское правительство, которому принадлежал остров Вознесения, направило правительству Соединенных Штатов решительный протест. Вашингтон его отклонил, указав в ответной ноте, что остров Вознесения захвачен частными лицами, за действия которых американское правительство не несет ответственности.

К острову Вознесения и к близлежащему острову Святой Елены, на который тоже устремился поток эмигрантов, были посланы английские военные корабли.

— Конец мира! — кричали на площадях городов небритые люди, отвыкшие от неэлектрических средств бритья.

— Ждите всадников Апокалипсиса! — вторили им религиозные кликуши.

— Вот до чего довели нас ученыe! Бей ученыe! — надрывались лавочники, готовые к погромам.

В Принстон, штат Нью-Джерси, на лошадях, покрытых пылью южных дорог, приехала целая рота вооруженных молодых людей. Рассыпавшись цепью по аккуратным газонам, они пошли в атаку на главное университетское здание. Студентов и преподавателей, встречавшихся на пути, зверски избивали, а двоих, оказавших яростное сопротивление, пристрелили на месте. Погромщики врывались в лаборатории и старателюно били посуду, опрокидывали столы, разрушали приборы.

— Где тут работал бандит Эйнштейн? — орали они. — Вешать профессоров!

Улюлюкая, они кинулись громить профессорские коттеджи. Кучка студентов и преподавателей забаррикадировалась в одном из коттеджей и отбросила

погромщиков револьверным огнем. До поздней ночи гремели выстрелы, и коттедж отбивал атаку за атакой, пока не кончились патроны. Но и тогда храбрецы не сдались, вступили с бандитами врукопашную и падали один за другим, изрешеченные пулями. Когда прибыла полиция, коттедж пылал жарким факелом, выстреливая в сумрачное ноябрьское небо сполы искр. Бандиты открыли огонь по полиции, к обеим сторонам прибывали подкрепления, и федеральное правительство послало в Принстон войска. Шесть дней в Принстоне шла настоящая война. Шесть кровавых дней.

Проклятья так и сыпались на головы ученых, но в то же время только на ученых и была надежда. Только они могли справиться с катастрофой.

Но вот прошло ошеломление первых дней. Мир поневоле начал лихорадочно приспосабливаться к новым условиям. Транспорт вернулся к паровому котлу: паровозы потянули составы, освещенные керосиновыми и ацетиленовыми фонарями; из гаваней отплывали пароходы. Появились переговорные трубы и пневматическая почта. Количество почтовых отделений пришлось увеличить во много раз. Открытки заменили телефон.

По асфальту городов зацокали копыта лошадей, запряженных в грузовые и легковые автомобили. Появились странные гибриды — дизельные двигатели с паровыми пускателями.

А через две недели весь мир облетели имена студентов — дипломантов Московского высшего технического училища имени Баумана — Леонида Мослакова и Юрия Крамера, которые придумали устройство, заменившее электрическое зажигание двигателей внутреннего сгорания. Изобретение было простым до гениальности. Студенты смонтировали в корпусе свечи огневое колесцо с зубчиками и длинный пирофорный стержень с механизмом микроподачи. Толкатель распределительного валика дергал пружину, колесо чиркало о стержень и высекало искру. Словом, это была обыкновенная зажигалка — зажигалка Мослакова — Крамера, и именно благодаря ей ожили ве-

ликие полчища автомашин, и улицы городов приняли привычный вид.

Срочно увеличивалась добыча угля и нефти. Форсированно налаживалось производство керосиновых ламп и свечей.

Что до газет, то они продолжали выходить исправно, без перерыва, только печатались они теперь при свете керосиновых или ацетиленовых ламп на ротациях с приводом от паровых машин. И редко когда первую полосу газет не украшало фото загадочного, окутанного паром, вставшего из океана черного столба...

24

«Академик Морозов: Короткое замыкание будет ликвидировано» (*«Известия»*).

«Угольные акции никогда еще не стояли так высоко» (*«Уолл-стрит джорнэл»*).

«На острове Святой Елены идет крупное строительство. По слухам, склеп Наполеона снесен и на его месте сооружается вилла для семьи Рокфеллера — самого младшего. Лондон готовит новую ноту Вашингтону. Третий британский флот направлен для охраны островов Тристан да Кунья» (*«Дейли телеграф»*).

«Слово нефтепереработчиков: перевыполнить план по осветительным сортам керосина» (*«Бакинский рабочий»*).

«Национализированные угольные копи должны быть возвращены в руки законных владельцев — только это спасет Великобританию» (*«Таймс»*).

«Фашизм не пройдет! Принстон не повторится!» (*«Уоркер»*).

«Наибольшая мировая сенсация с тех пор, как в 1949 году фирма «Сэнсон Хоуджери Миллз» выпустила женские чулки с черной пяткой по патенту художников из Филадельфии Блея и Спарджена. Покупайте чулки новой марки «Черный столб»! (*«Филадельфия ньюз»*.)

«В эту зиму жителей Парижа будет согревать их неистощимый оптимизм» (*«Фигаро»*).

«На «Фукуока-мару» идут бесконечные совещания, тем временем Черный столб вошел в космическое пространство» («Борба»).

«Домохозяйки требуют: дайте нам электричество!» («Фор ю уимен»).

«Повышение цен на свечи не должно снизить религиозного энтузиазма верующих» («Оссерваторе Романо»).

«Этой осенью не состоялось ни одной экспедиции в Гималаи на поиски снежного человека. Ассоциация шерпов-носильщиков встревожена. Его величество король Непала лично изучает вопрос» («Катманду укли»).

«В связи с дороговизной топлива в этом сезоне, к сожалению, ожидается переход на длинные закрытые платья. Наш обозреватель надеется, что удастся создать модели со стекловатными утепляющими подкладками, могущими подчеркнуть специфику женской фигуры. В отношении дамского нижнего белья ожидается...» («Ля ви паризьен»).

25

— Шаровая молния! — крикнул в мегафон наблюдатель. — Все вниз! Шаровая молния!

Верхняя палуба «Фукуока-мару» опустела — только аварийная команда осталась наверху.

Таков был строжайший приказ Штаба ученых: при появлении шаровой молнии укрываться во внутренних помещениях, задраивать все иллюминаторы, люки и горловины. Приказ пришлось издать после того, как однажды огненный шар вполз в открытый люк судовой мастерской и вызвал пожар, с трудом потушенный японскими матросами.

Повинуясь приказу, Кравцов спустился вниз. Он заглянул в холл перед салоном, надеясь увидеть там Оловянникова, но увидел только группу незнакомых людей за стойкой бара.

Каждый день прилетали на реактивных гидросамолетах незнакомые люди — ученые, ооновские чиновники, инженеры, журналисты. Одни прилетали,

другие улетали. Совещались, спорили, продымили «Фукуоку» насквозь табаком, опустошили огромный судовой склад вин.

А черный столб между тем лез все выше за пределы земной атмосферы и, пройдя добрую треть расстояния до Луны, загибался вокруг Земли, словно собираясь опоясать планету тоненьким ремешком. Он по-прежнему был окутан мраком бесчисленных туч, и пучки молний били в столб, и казалось, грозе не будет конца.

Дистанционные приборы там, на плоту, давно не работали. «Фукуока» ходил вокруг плота, то приближаясь к нему, то удаляясь. Где-то застрял транспорт с горючим, а топливо на «Фукуоке» было на исходе.

Тревожно текла жизнь на судне. Но больше всего Кравцова угнетало вынужденное безделье. Он понимал, что ученым нелегко — поди-ка разберись в таинственном поле, окружающем черный столб! — но все же слишком уж затянулись их совещания. Кравцова так и подмывало пойти к Морозову и спросить его напрямик: «Когда же вы решитесь, наконец, побороться с черным столбом, сколько, черт возьми, можно ждать?..» Но он сдерживал себя. Знал, как безмерно много работает Морозов.

Брамуля же, с которым Кравцов изредка сталкивался в каюте Али-Овсада за чаепитием, не отвечал на вопросы, отшучивался, рассказывал солнечные чилийские анекдоты.

Кравцов в тоскливом раздумье стоял в тусклом освещенном холле, поглядывал на дверь салона, за которой совещались ученые.

— Хэлло, — услышал он и обернулся.

— А, Джим! Добрый вечер! Что это вы не играете на бильярде?

— Надоело. — Джим Паркинсон невесело усмехнулся. — Сорок партий в день — можно взвыть пособачьи. Говорят, завтра придет транспорт с горючим, не слышали?

— Да, говорят.

— Не хотите ли выпить, сэр?

Кравцов махнул рукой:

— Ладно.

Они уселись на табуреты перед стойкой, бармен японец быстро сбил коктейль и поставил перед ними стаканы. Они молча начали потягивать холодный, пряно пахнущий напиток.

— Будет у нас работа или нет? — спросил Джим.

— Надеюсь, что будет.

— Платят здесь неплохо, некоторым ребятам нравится получать денежки за спанье и бильярд. Но мне порядком надоело, сэр. Второй месяц без кино, без девочек. Радио и то не послушаешь.

— Понимаю, Джим.

— Сколько можно держать нас на этой японской коробке? Если ученые ничего не могут придумать, пусть прямо скажут и отпустят нас по домам. Я проживу и без электричества, будь оно проклято.

От прянного напитка у Кравцова по телу разлилось тепло.

— Без электричества нельзя, Джим.

— Можно! — Паркинсон со стуком поставил стакан. — Плевал я на магнитное поле и прочую чушь.

— Вам наплевать, а другие...

— Что мне до других? Я вам говорю: обойдусь! Бурить всегда где-нибудь нужно. Пусть не электричество, а паровая машина крутит долото на забое — что из того?

«Ну вот, — подумал Кравцов, — уже и этот флегматик взбесился от безделья».

— Послушайте, Джим...

— Мало этой грозы, так еще шаровые молнии появились, летают стаями. Наверх не выйти — японцы с карабинами на всех трапах... К чертам, сэр! Ученым здесь интересно, так пусть ковыряются, а мы все не хотим!

— Перестаньте орать, — хмуро сказал Кравцов. — Кто это — «мы все»? Ну, отвечайте!

Узкое лицо Паркинсона потемнело. Не глядя на Кравцова, он кинул на прилавок смятую бумажку и пошел прочь.

Кравцов допил коктейль и слез с табурета. Пойти, что ли, к себе, завалиться спать...

Возле двери его каюты стоял, привалившись спиной к стене коридора, Чулков.

— Я вас жду, Александр Витальич... — Чулков сбил кепку на затылок, его круглое мальчишеское лицо выражало тревогу.

— Заходите, Игорь. — Кравцов пропустил Чулкова в каюту. — Что случилось?

— Александр Витальич, — понизив голос, быстро заговорил Чулков, — нехорошее дело получается. Они давно уж нас сторонятся, ребята из бригады Паркинсона, собираются в своей кают-компании, шушукаются... А с полчаса назад я случайно услышал один разговор... Это, извините, в гальюне было, они меня не видели — Флетчер и еще один, который, знаете, вечно заливается, будто его щекочут, — они его Лафинг-Билл* называют.

— Да, припоминаю, — сказал Кравцов.

— Ну вот. Я, конечно, в английском не очень-то, здесь малость нахватался. В общем, как я понимаю, удирать они собираются. Завтра придет транспорт с горючим, закончат перекачку — тут они сомнут охрану, прорвутся на транспорт — и тю-тю к себе в Америку...

— Вы правильно поняли, Игорь?

— Аттак зы транспорт — чего ж тут не понять?

— Ну, так пошли. — Кравцов выскочил из каюты и побежал по коридору.

— Александр Витальич, так нельзя, — торопливо говорил Чулков, поспешая за ним. — Их там много...

Кравцов не слушал его. Прыгая через ступеньки, он сбежал на палубу «Д» и рванул дверь кают-компании, из-за которой доносились голоса и смех.

Сразу стало тихо. Сквозь сизую завесу табачного дыма десятки глаз уставились на Кравцова. Флетчер сидел на спинке кресла, поставив на сиденье ноги в высоких черных ботинках. Он выпятил нижнюю губу и шумно выпустил струю дыма.

— А, инженер, — сказал он, щуря глаза. — Как поживаете, мистер инженер?

* Смеющийся Билл (англ.).

— Хочу поговорить с вами, ребята, — сказал Кравцов, обводя взглядом монтажников. — Я знаю, что вы задумали бежать с «Фукуока-мару».

Флетчер соскочил с кресла.

— Откуда вы знаете, сэр? — осведомился он с недоброй ухмылкой.

— Вы собираетесь завтра прорваться на транспорт, — сдержанно сказал Кравцов. — Это у вас не получится, ребята.

— Не получится?

— Нет. Честно предупреждаю.

— А я предупреждаю вас, сэр: мы тут вместе с вами подыхать не собираемся.

— С чего вы это взяли, Флетчер? — Кравцов старался говорить спокойно.

— А с чего это нам платят тройной оклад за безделье? Верно я говорю, мальчики?

— Верно! — зашумели монтажники. — Даром такие денежки платить не будут, знают, что подожнем!

— Атом так и прет из черного столба!

— Шаровые молнии по каютам летают!

— Макферсон помирает уже от космических лучей, скоро и мы загнемся!

Кравцов опешил. На него наступала орущая толпа, а он был один: Чулков исчез куда-то. Он видел: в углу на диване сидел Джим Паркинсон и безучастно перелистывал пестрый журнал с блондинкой в купальнике на глянцевой обложке.

— Неправда! — выкрикнул Кравцов. — Вас ввели в заблуждение! У Макферсона инфаркт — космические лучи тут ни при чем. Ученые думают, как спрятаться с черным столбом, и мы должны быть на готове...

— К черту ученых! — рявкнул Флетчер.

— От них все несчастья!

— Ученые всех загубят — дай им только волю!

— Завтра придет транспорт — и никто нас не удержит! Расшвыляем япошек!

Монтажники сомкнулись вокруг Кравцова. Он видел возбужденные лица, орущие рты, ненавидящие глаза...

— Мы не позволим вам дезертировать! — пытался он перекричать толпу.

Флетчер с искаженным от бешенства лицом шагнул к нему. Кравцов весь напрягся.

Паркинсон отшвырнул журнал и встал.

Тут с шумом распахнулась дверь, в кают-компанию ввалились монтажники из бригад Али-Овсада и Георги. Запыхавшийся Чулков проворно встал между Кравцовым и Флетчером.

— Но-но, не чуди! — сказал он техасцу. — Осади назад!

— Та-ак, — протянул Флетчер. — Своего защищать... Ребята, бей красных! — заорал он вдруг, отпрыгнув назад и запустив руку в задний карман.

— Стоп! — Джим Паркинсон схватил Флетчера за руку.

Тот рванулся, пытаясь высвободить руку, но Джим держал крепко. Лицо Флетчера налилось кровью.

— Ладно, пусти, — прохрипел он.

— Вот так-то лучше, — сказал Паркинсон обычным вялым голосом. — Расходитесь, ребята. Моя бригада остается, мистер Кравцов. Будем ждать, пока нам не дадут работу.

В кают-компанию быстрым шагом вошел Али-Овсад.

— Зачем меня не позвал? — сказал он Кравцову, шумно отдуваясь. — Кто здесь драку хочет?

— Карапашо, Али-Оффсайт, — сказал Джим. — Карапашо. Поръядок.

— Этот? — Али-Овсад ткнул пальцем в сторону Флетчера, который все потирал руку. — Эшшек баласы, кюль башына *! — принялся он ругаться. — Ты человек или кто ты такой?

26

Они ужинали втроем за одним столиком — Кравцов, Оловянников и Али-Овсад. Старый мастер жевал ростбиф и рассказывал длинную историю о том, как его брат-агроном победил бюрократов Азервинтреста

* Ослиный сын, пепел тебе на голову (азерб.).

и резко улучшил качество двух сортов винограда. Кравцов слушал вполуха, потягивал пиво, посматривал по сторонам.

— На днях, — сказал Оловянников, когда Али-Овсад умолк, — я стал невольным свидетелем такой сцены. Токунага стоял у борта — видно, вышел поышать свежим воздухом. Мне захотелось его незаметно сфотографировать, и я принялся менять объектив. Вдруг вижу: японец снял с запястья какой-то браслет, посмотрел на него и бросил за борт. Тут как раз Морозов к нему подошел. «Что это вы кинули в море, Масао-сан? — спрашивает. — Не Поликратов ли перстень?» Токунага улыбается своей грустной улыбкой, отвечает: «К сожалению, нет у меня перстня. Я выбросил магнитный браслет...» Ну, знаете, эти японские браслеты, их носят многие пожилые люди, особенно гипертоники...

— Слышал, — сказал Кравцов.

— Да, так вот, — продолжал Оловянников. — Морозов стал серьезным. «Не понимаю, — говорит, — вашего хода мыслей, Масао-сан. Вы что же, полагаете, что нам не удастся...» — «Нет, нет, — отвечает Токунага. — Мы, конечно, вернем магнитам их свойства, но не знаю, дождусь ли я этого...» — «Ну, зачем вы так...» Морозов кладет ему руку на плечо, а тот говорит: «Не обращайте внимания, Морозов-сан. Мы, японцы, немножко фаталисты».

— А дальше что? — спросил Кравцов.

— Они ушли. Он, видно, и вправду неизлечимо болен, Токунага...

— Да, — сказал Кравцов. — Не очень-то веселая история.

Некоторое время они молча ели.

— Что это за пигалица с седыми усами? — вполголоса спросил Кравцов, указав на маленького человечка, который ужинал за столиком Морозова.

— Эта пигалица — профессор Бернстайн, — ответил Оловянников.

— Вон что! — Кравцову стало неприятно из-за «пигалицы». — Никак не думал, что он...

— Такой немощный? А вы читали в американских

газетах, как он вел себя в Принстоне? Он забаррикадировался в своей лаборатории и создал вокруг нее мощное электрическое поле. Он получал энергию от электростатического генератора, который вращался ветродвигателем. Бандитов затрясло, как в пляске святого Витта, и они поспешили убраться. Все шесть дней он просидел в лаборатории с двумя сотрудниками на одной воде. Вот он какой!

— Все-то вы знаете, — сказал Кравцов.

— Профессия такая.

— Между прочим, Чулков рассказывал, что вы извлекали из него различные сведения обо мне. Зачем это?

— Болтун ваш Чулков. Просто я интересовался, как вы подавляли мятец.

— Ну уж, «мятеж», — усмехнулся Кравцов.

— Он про тебя писать хочет, — вмешался Али-Овсад. — Он хочет писать так: «Кравцов стоял возле черный столб...»

Оловянников со смехом протянул мастеру руку, и тот благосклонно коснулся кончиками пальцев его ладони.

— Целый месяц крутимся вокруг столба, — сказал Кравцов. — Наблюдаем, измеряем... Осторожничаем... Надоело. — Он допил пиво и вытер губы бумажной салфеткой. — Действительно, трахнуть его, дьявола, атомной бомбой...

Морозов оглянулся, мельком взглянул на Кравцова. Услышал, должно быть. В тускловатом свете керосиновых ламп седина его отливалась медью.

Кельнер японец неслышно подошел, вежливо втянул воздух, предложил мороженое с фруктами.

— Благодарю, не хочется. — Кравцов поднялся. — Пойду Макферсона проведаю.

Али-Овсад посмотрел на часы.

— Через час армянин придет ко мне чай пить, — сказал он. — Один час времени есть.

— Какой армянин? — спросил Оловянников.

— Упорно считает Брамулю армянином, — засмеялся Кравцов. — Приехали вы его, однако, к чаю, Али-Овсад.

— Мы с Брамульяном в воскресенье будем джызы-
быз делать. Мне повар обещал кишкимишки от
барана.

— Вы идете к Макферсону? — спросил Оловян-
ников. — Разрешите, я тоже пойду.

Несколько дней назад врач разрешил Уиллу дви-
гать руками и поворачиваться с боку на бок. Нет-
нет да искашала гримаса боли его лицо, и нижняя
челюсть как-то особенно выпирала, и Норма Хэмpton
в ужасе бежала за врачом.

Но все-таки опасность, по-видимому, миновала.

Уилл лепил из пластилина фигурки, а когда ле-
пить надоедало, просил Норму почитать газеты или
излюбленные «Записки Перигрина Пикля». Он слу-
шал, ровно дыша и закрыв глаза, и Норма, взгляды-
вая на него, не всегда могла понять, слушает ли он,
или думает о чем-то своем, или просто спит.

— Как только ты поправишься, — сказала она
однажды, — я увезу тебя в Англию.

Уилл промолчал.

— Как бы ты отнесся к мысли поселиться в Че-
шире, среди вересковых полей? — спросила она в дру-
гой раз.

Надо было отвечать, и он ответил:

— Я предпочитаю Кемберленд.

— Очень хорошо, — сразу согласилась она.
И вдруг просияла: — Кемберленд. Ну конечно, мы
проводили там медовый месяц. Боже, почти двадцать
пять лет назад... Я очень рада, милый, что ты вспо-
мнил.

— Напрасно ты думаешь, что я вспоминаю медо-
вый месяц. Просто там скалы и море, — сказал он
спокойно. — Почитай-ка мне лучше эту дурацкую
историю о черепахах.

И Норма принялась читать роман «Властелины
недр», печатавшийся с продолжением в «Дейли те-
леграф», — нескончаемый бойкий роман о полчищах
неких огненных черепах, которые вылезли из зем-

ных недр и двинулись по планете, сжигая и губя все живое, пока их предводитель не влюбился в прекрасную Мод, жену торговца керосином.

Страсть огнедышащего предводителя как раз достигла высшего накала, когда в дверь постучали и вошли Али-Осад, Кравцов и Оловянников.

— Кажется, вы правы, Уилл, — сказал Кравцов, подсаживаясь к койке шотландца. — Надо перерезать столб атомной бомбой.

— Да, — ответил Уилл. — Атомная бомба направленного действия. Так я думал раньше.

— А теперь?

— Теперь я думаю так: мы перережем столб атомным взрывом, и магнитное поле придет в норму. Но столб все равно будет лезть и снова достигнет ионосферы. Снова короткое замыкание.

— Верно, — сказал Кравцов. — Как же, черт возьми, его остановить?

— Наверно, он сам остановится, — сказал Али-Осад. — Пластовое давление выжмет всю породу — и остановится.

— На это, Али-Осад, не стоит рассчитывать.

— Позавчера, — сказал Оловянников, — журналисты поймали Штамма в салоне, зажали его в углу и потребовали новостей. Конечно, ничего выведать не удалось — просто железобетонный человек, — но зато он стал нам излагать свою любимую теорию. Вы слышали что-нибудь, Саша, о теории расширяющейся Земли?

— Кое-что слышал — еще в институте были у нас споры.

— Очень странные вещи говорил Штамм. Будто Земля во времена палеозоя была чуть ли не втрое меньше в поперечнике, чем теперь. Это что, серьезно, или дядя Штамм шутит?

Кравцов усмехнулся.

— Не говорите глупостей, Лев. Штамм скорее... ну, не знаю, укусит вас, чем станет шутить. Есть такая гипотеза — одна из многих. Дескать, внутреннее ядро Земли — остаток очень плотного звездного вещества, из которого некогда образовалась Земля.

Ядро будто бы все время разуплотняется, его частицы постепенно переходят в вышележащие слои и... ну, в общем расширяют их. Все это, конечно, страшно медленно.

— Вот и Штамм говорил, что внутри Земли возникают новые тяжелые частицы — протоны и нейтроны, кажется, — и наращивают массу Земли. Но откуда берутся новые частицы?

— В том-то и вся сложность вопроса, — сказал Кравцов. — Я сейчас уж не очень помню, а тогда мы бешено спорили об этой гипотезе; у нас одно время преподавал ученик ее автора — Кириллова... Откуда берутся новые частицы... Помню разговор о взаимном переходе поля и вещества, качественно разных форм материи, — этот переход и создает впечатление... как бы рождения вещества. В общем тут совместное действие гравитационного, электромагнитного и каких-то других, пока неизвестных полей... Что говорить? Только единая теория поля открыла бы нам глаза.

— Уж не хотите ли вы сказать, мистер Кравцов, — раздался насмешливый голос шотландца, — что наш дорогой столб состоит из протонного или нейтронного вещества?

— Нет, мистер Макферсон. Я просто припоминаю гипотезу, которую исповедует наш дорогой Штамм.

— А вы что исповедуете?

— Гречневую кашу, Уилл, вы же знаете. — Кравцов взял со стола и повертел в руках пластилиновый самолетик. — Я смотрю, в вашем творчестве появилась новая тематика.

— Дайте-ка сюда. — Макферсон отобрал у него фигурку и смял ее в комок.

— Всё-таки хорошо, Уилл, что вы стали буровым инженером, а не скульптором, — заметил Кравцов.

— Вы всегда знаете, что хорошо, а что плохо. Всезнающий молодой человек.

— Вот не думал, что вы обидитесь, — удивился Кравцов.

— Чепуха, — сказал шотландец. — Я не обижаюсь, парень. Мне только не нравится, когда вы лезете в драку с американцами.

— Вовсе я не лез, Уилл. Не такой уж я драчливый.

Помолчали немного. Мигало пламя в керосиновой лампе, по каюте ходили тени.

— Я много спать теперь хочу, — сказал вдруг Али-Овсад. — Раньше мало спал. Теперь много хочу. Наверно, потому, что магнитное поле неправильное.

— Теперь все можно валить на магнитное поле, — улыбнулся Кравцов. — Или на гравитационное.

— Гравитация, — продолжал Али-Овсад. — Все говорят — гравитация. Я это слово раньше не знал, теперь — сплю и вижу: гравитация. Что такое?

— Я же объяснял, Али-Овсад...

— Ай балам, плохо объяснял. Ты мне прямо скажи: тяжесть или сила? Я землю много бурил, я знаю: земля большую силу внутри имеет.

— Кто ж спорит? — сказал Кравцов.

— Недаром в русских сказках ее почтительно называют «мать сыра земля», — заметил Оловянников. — Помните, Саша, былину о Микуле Селяниновиче?

— Былина? Расскажите, пожалуйста, — попросил Уилл.

«До чего любит сказки, — подумал Кравцов. — Хлебом его не корми...»

— Ну что ж, — со вкусом начал Оловянников. — Жил-был пахарь, звали его Микула Селянинович. Пахал он однажды возле дороги, а сумочку свою с харчами положил на землю. Пашет, на солнышко поглядывает — успеть бы. Тут едет мимо на могучем коне Вольга-богатырь. Едет и скучает: дескать, некуда мне свою силу богатырскую приложить, все-де для меня легко и слабо. Услыхал Микула Селянинович, как богатырь похваляется, и говорит ему: «Попробуй подыми мою сумочку». Ну, экая важность — сумочка. Нагибается Вольга, не слезая с коня, берется одной рукой за сумочку — не получается. Пришлось спешиться и взяться двумя руками. Все равно не может поднять. Осерчал Вольга-богатырь да как рванет сумочку — и не поднял ее, а сам по колени

в землю ушел. А Микула Селянинович толкует ему: мол, тяга в сумочке от сырой земли.

— Хорошая сказка, — одобрил шотландец.

— Сказочка с острым социальным смыслом, — пояснил Кравцов. — Микула олицетворяет мирный труд, а Вольга-богатырь...

— Может быть, и так. А может быть, просто ваши умные предки почувствовали непреоборимость земного тяготения. Вон где берут начало фантастические предположения нашего времени... Микула — как вы говорите?

— Микула Селянинович, — сказал Оловянников.

— Да. Его сумочка — и уэллсовский каворит. А, джентльмены?

— Теперь я скажу, — заявил Али-Овсад, тронув пальцем черное пятнышко усов в углублении над губой. — Совсем давно был такой Рустем-бахадур*. Он когда ходил, его ноги глубоко в землю проваливались.

— Такой тяжелый был? — спросил Оловянников.

— Зачем тяжелый? Я разве сказал — тяжелый? Просто чересчур сильный был. Такой сильный, что хочет тихо наступить, а нога полметра в землю идет. Тогда пошел Рустем к один шайтан, говорит: «Возьми половину моей силы, спрячь, а когда я старый буду, приду возьму...»

Кравцов встал, заходил по каюте, тени на стенах заколыхались, запрыгали.

— Как бы сделать, — проговорил он, остановившись перед койкой Уилла, — как бы сделать, чтобы сила столба заставила его самого войти в землю?.. Только его собственная сила справится с ним.

— Хочешь перевернуть черный столб? — засмеялся Али-Овсад. — Ай, молодец!

Кравцов томился у входа в салон. Там шло очередное совещание ученых. Гул голосов за дверью то усиливался, то стихал. По матовому стеклу двери

* Бахадур — богатырь (азерб.).

равномерно проплывала тень: кто-то из ученых расхаживал по салону взад и вперед.

«Какого дьявола я торчу здесь? — думал Кравцов. — Им не до меня. Лучшие геофизики мира собрались тут, мозговики, лауреаты всех, какие только есть, премий. А я полезу со своей корявой идеей?.. Использовать силу самого столба — тоже мне идея...»

В глубине души Кравцов, разумеется, знал, что ему нужен только повод для разговора с Морозовым. Невтерпеж уже это ожидание и неизвестность. Да, он наберется дерзости и спросит напрямик у Морозова: сколько еще ждать?

Стюард с подносом, заставленным бутылками и сифонами, шмыгнул в салон. В приоткрывшуюся на мгновение дверь Кравцов увидел чью-то обширную лысину и чьи-то руки, держащие лист ватмана; услышал обрывок фразы на ломаном русском: «...Не разместите такую установку...»

Установка! Ага, речь у них идет уже о какой-то установке.

Кравцов то валился в кресло, то снова принимался вышагивать по тускло освещенному холлу. Томительно текло время, подползая к двум часам ночи.

Наконец отворилась дверь, из салона, переговариваясь, начали выходить ученые. Токунага с утомленным видом слушал Штамма, который что-то ему доказывал. Промакая платком лысину, прошествовал толстяк Брамулья. Маленький седоусый человечек — профессор Берн斯坦 прошел, окруженный несколькими незнакомыми учеными; один из них был в индийском тюрбане. А вот из клубов табачного дыма выплыла высокая прямая фигура Морозова с огромной папкой под мышкой.

Зоркими своими глазами Морозов приметил Кравцова, скромно стоявшего в уголке, кивнул ему, бросил на ходу с усмешечкой:

— Значит, атомной бомбой, а?

Кравцов шагнул к нему.

— Виктор Константинович, можно с вами поговорить?

— Некогда, голубчик. Сам давно собираюсь поговорить с вами, но — некогда. Впрочем... — Он обнял Кравцова за плечи и повел по коридору. — Если разговор небольшой, то выкладывайте.

— Понимаете, — волнуясь, сказал Кравцов, — у нас возникла мысль... Нельзя ли использовать силу самого столба... Вернее, изменить направление его поля...

— Понимаю, понимаю, — Морозов засмеялся. — Расскажите-ка лучше, как вы воевали с техасцами.

— Да что говорить! Поскандалили немножко — и помирились... Виктор Константинович, вы простите, что я к вам привязался. Я просто хотел спросить: сколько нам еще ждать?

— Надеюсь, немного, голубчик. Нам надо очень, очень торопиться, потому что... Словом, надо опередить всякие неприятности. Проект, в сущности, готов, остались проверочные расчеты.

Кравцов повеселел.

— Значит, скоро...

— Значит, скоро. — Морозов остановился у двери своей каюты. — Атомной бомбой хотите перерезать столб? — спросил он снова.

— Это Макферсон придумал, — сказал Кравцов. — Но ведь столб все равно будет расти и снова войдет в ионо...

— Зайдите-ка, — прервал его Морозов и пропустил его в просторную каюту, вернее — в рабочий кабинет с о столами, заваленными чертежами. — Садитесь, — сказал он и сам присел на один из столов. — Скажите-ка, товарищ Кравцов, вы хорошо знаете плот, его помещения и переходы?

— Знаю.

— Взгляните на эту схему. Узнаете?

— Средняя палуба плота, — сказал Кравцов.

— Верно. В какой срок вы считали бы возможным пробить здесь кольцевой коридор? — Морозов обвел карандашом окружность плота.

— Кольцевой коридор? — переспросил Кравцов, сдвинув брови и почесывая пальцем под ухом.

— Вот что. Возьмите схему и подумайте как сле-

дует. Кольцевой замкнутый коридор шириной шесть метров и высотой не менее четырех с половиной.

— Я подумаю, Виктор Константинович.

— Прекрасно. Завтра вечером, попозже, приходите с ответом.

«Моя дорогая Маринка!

Позавчера воздушная окаzia доставила два твоих письма — и очень хорошо сделала, а то я уж волноваться начал. Ты спрашиваешь, почему я не приезжаю, если тут делать нечего. Сам не знаю, честное слово, почему я целый месяц сидел тут без всякой работы. Все ждал, ждал, думал: может, сегодня, может, завтра... Ну, вот и дождался наконец. Проект составлен и утвержден международной комиссией. Он называется «Операция «Черный столб». Ты, наверное, из газет узнаешь раньше, чем из моего письма, в чем суть операции. Коротко: создан проект установки, которая остановит черный столб. Тебе, как школьной физичке, конечно, интересно узнать детали проекта. Честно скажу тебе: это настолько сложно, что я не все понимаю. Ученые вроде бы раскусили таинственное поле столба, и установка наложит на него определенную комбинацию мощных силовых полей. Предполагается, что их взаимодействие с полем столба остановит его движение вверх.

Конечно, прежде всего придется разрезать столб, чтобы устраниТЬ короткое замыкание, восстановить нормальную структуру магнитного поля и дать ток, тогда установка начнет работать.

Сама установка будет размещена на плоту, для этого мы прорубаем во внутренних помещениях кольцевой коридор. Именно этим я и занят сейчас. Жарковато на плоту, надо сказать, но ничего. К грозе мы давно уже привыкли и к молниям тоже. Ты не беспокойся: ведь столб служит как бы громоотводом.

Сколько времени займет операция? Не знаю, родная. Сама понимаешь, хочется поскорее все закончить и приехать к вам с Вовкой. Вы мои любимые, соскучился я здорово. Ты мне пиши почаше, ладно? И Вов-

ка пусть лапу прикладывает. А я буду писать при любой возможности.

Да, ты спросишь, как собираемся мы перерезать столб. А вот как...»

Кравцов не закончил письма. В дверь каюты постучали. Чулков просунул голову, сказал:

— Александр Витальич, третья смена уходит.

Кравцов сунул недописанное письмо в ящик стола и побежал на катер.

30

Итак, операция «Черный столб» началась.

Целая флотилия судов расположилась вокруг плота. Здесь был авианосец «Фьюриэс» со своей гигантской посадочной площадкой, плавучая механизированная база «Иван Кулибин», самоходные баржи и плавучие краны. Крупные паровые катера, попыхивая угольным дымком, непрерывно бегали между плотом и судами. Штаб операции по-прежнему находился на «Фукуока-мару».

На заводах Советского Союза, США, Японии и многих других стран срочно изготавливались узлы и детали кольцевого сердечника невиданных размеров. В трюмах пароходов под голубым флагом ООН, в гондолах грузовых дирижаблей с паровыми турбинами плыли к плоту металлоконструкции, блоки высокочастотных панелей, наборы колоссальных изоляторов, пакеты шинных сборок. Прибывали танкеры, лесовозы, суда, груженные продовольствием, лайнеры с рабочими-монтажниками, инженерами, правительственные комиссиями.

Люди, одетые в защитные комбинезоны, работали днем и ночью, беспрерывно: надо было очень торопиться, потому что — это знали ученые — губительный поток космических лучей проникал все глубже в нижние слои атмосферы.

А черный столб, окруженный кольцом молний, окутанный белой пеленой пара, бежал и бежал сквозь тучи вверх, загибаясь и завершая в околосемном пространстве виток вокруг планеты.

В девять вечера смена инженера Кравцова поднялась по зигзагам металлического трапа на среднюю палубу плота. Здесь были монтажники из знакомых нам бригад Али-Овсада, Паркинсона, румына Георги.

Кравцов принял участок от начальника смены, отработавшей свои пять часов.

— Ну и распотрошили вы отсек, Чезаре, — сказал он, оглядывая срезанные балки и узенькие мостики, под которыми зияла черная пустота.

— Тут уровень был выше, пришлось порезать весь настил, — ответил инженер итальянец, вытирая полотенцем смуглое лицо. — Взгляните на отметку.

Он протянул Кравцову эскиз.

— Знаю, — сказал Кравцов. — Но тут под нами атомная станция.

— Которая не работает.

— Но которая будет работать. А вы обрушили настил на ее перекрытие. — Кравцов посветил фонариком вниз.

— Что вы от меня хотите, Алессандро?

— Придется поднимать настил. Над реактором не должно быть ничего, кроме перекрытия.

Итальянец, как и Кравцов, был эсперантистом, и они легко объяснялись. Монтажники из обеих смен прислушивались, стараясь понять. Ацетиленовые лампы лили голубоватый свет на их обнаженные плечи и спины, лоснящиеся от пота.

— Мы прошли сегодня на семь метров больше нормы, — сказал итальянец. — Главное — скорее закончить коридор, а если под ним будет немножко мусор...

— Только не здесь, — прервал его Кравцов. — Ладно, Чезаре, уводите смену, — добавил он, переходя на английский. — Придется нам поставить тали и малость порасчистить ваш мусор.

— Это что же? — раздался вдруг хриплый голос. — Итальянки напакостили, а нам за ними подбирать?

— Кто это сказал? — Кравцов резко обернулся.

Несколько секунд в отсеке было тихо, только привычно погромыхивала наверху гроза. Оловянников — он тоже был здесь — перевел Али-Овсаду прозвучавшую фразу.

— Ай-ай-ай, — Али-Овсад покачал головой, поцокал языком.

— Кто сказал? — повторил Кравцов. — Джим, это кто-то из ваших.

Джим Паркинсон, держась длинной рукой за двухтавровую балку перекрытия, понуро молчал.

Тут из толпы выдвинулся коренастый техасец с головой, повязанной пестрой косынкой.

— Ну, я сказал, — буркнул он, глядя исподлобья на Кравцова. — А в чем дело? Я за других работать не собираюсь.

— Так я и думал. Сейчас же принесите извинения итальянской смене, Флетчер.

— Еще чего! — Флетчер вскинул голову. — Пусть они извиняются.

— В таком случае я вас отстраняю от работы. Спускайтесь вниз и с первым катером отправляйтесь на «Фукуоку». Утром получите расчет.

— Ну и плевал я на вашу работу! — заорал Флетчер. — Пропади оно все пропадом, а я и сам не желаю больше вкалывать в этой чертовой жарище!

Он сплюнул и, прыгая с мостков на мостики, пошел к проходу, ведущему на площадку трапа.

Монтажники заговорили все сразу, отсек наполнился гулом голосов.

— Тихо! — крикнул Кравцов. — Ребята, мы тут работаем сообща, потому что только сообща можно сделать такое огромное дело. Мы можем спорить и не соглашаться с кем-нибудь, но давайте уважать друг друга! Правильно я говорю?

— Правильно! — раздались выкрики.

— Ну его к дьяволу, давайте начинать работу!

— Не имеете права выгонять!

— Правильно, инженер!

— Тихо! — Кравцов выбросил вверх обе руки. — Говорю вам прямо: пока я руковожу этой сменой, никто здесь безнаказанно не оскорбит человека дру-

гой национальности. Всем понятно, что я сказал? Ну и все. Надевайте скафандры!

Чезаре подошел к Кравцову и, широко улыбаясь, похлопал его по плечу. Итальянцы, усталые и мокрые от пота, гуськом потянулись к выходу, они переговаривались на ходу, оживленно жестикутировали.

Кравцов велел ставить тали.

— Кто полезет вниз стропить листы настила? — спросил он.

— Давайте я полезу, — сразу отозвался Чулков.

Из полуутеса соседнего отсека вдруг снова возникла фигура итальянского инженера, за ним шли несколько его монтажников.

— Алессандро, — сказал он, прыгнув на мостки к Кравцову, — мои ребята решили еще немножко поработать. Мы расчистим там, внизу.

32

В адской духоте и сырости внутренних помещений плота — долгие пять часов. Гудящее пламя резаков, стук паровой лебедки, скрежет стальных листов, шипение сварки... Метр за метром — вперед! Уже немного метров осталось. Скоро замкнется кольцевой коридор, опояшет средний этаж плавучего острова по периметру. Облицовщики, идущие за монтажниками, покрывают стены и потолок коридора белым жаростойким пластиком, и уже электрики устанавливают блоки гигантского кольцевого сердечника...

Вперед, вперед, монтажники!

Под утро смена Кравцова возвращается на «Фукуока-мару». Сил хватает только на то, чтобы добраться до теплого дождика — душа.

Теперь спать, спать! Но, видно, слишком велика усталость, а Кравцов, когда переутомится, долго не может уснуть. Он ворочается на узкой койке, пробует считать до ста, но сон не идет. Перед глазами — жмурь не жмурь — торчат переплеты балок, в ушах гудит, поет пламя горелок. Ну что ты будешь делать!..

Он тянетесь к спичкам, зажигает керосиновую лам-

пу. Почитать газеты?.. Ага, вот что он сделает: допишет письмо!

«...Вчера не успел, заканчиваю сегодня. Ну и жизнь у нас пошла, Маринка! Причесаться — и то некогда. Уж больно надоело без электричества, вот мы и жмем что есть сил. Скоро уже, скоро!

Понимаешь, как только столб будет перерезан, магниты снова станут магнитами, и турбогенераторы атомной станции дадут ток в обмотки возбудителей кольцевого сердечника. Комбинация наложенных полей мгновенно вступит во взаимодействие с полем столба — и он остановится.

Столб обладает чудовищной прочностью, но, по расчетам, его перережет направленный взрыв атомной бомбы. Помнишь, я тебе писал, как столб притянул и унес контейнер с прибором? Так вот...»

Осторожный стук в дверь. Просовывается голова Джима Паркинсона.

— Извините, сэр, но я увидел, что у вас горит свет...

— Заходите, Джим. Почему не спите?

— Да не спится после душа. И потом — Флетчер не дает покоя.

— Флетчер? Что ему надо?

— Он просит не увольнять его, сэр. Все-таки нигде так не платят.

— Послушайте, Джим, я многое могу простить, но это...

— Понимаю. Вы за равенство и так далее. Он готов извиниться перед итальянским инженером.

— Хорошо, — устало говорит Кравцов, наконец-то ему захотелось спать, глаза просто слипаются. — Пусть завтра извинится перед всей итальянской сменой. В присутствии наших ребят.

— Я передам ему, — с некоторым сомнением в голосе отвечает Джим. — Ну, покойной ночи. — Он уходит.

Авторучка валится у Кравцова из руки. Он заставляет себя добраться до койки и засыпает мертвым сном.

Паровой кран снял с широкой палубы «Ивана Кулибина» последний блок кольцевого сердечника и, подержав его в воздухе, медленно опустил на баржу. Паровой катер поволок баржу к плоту.

Монтажники отдыхали, развалившись где попало на палубе «Кулибина», покуривали, говорили о своих делах. Как будто это был обычный день в длинной череде подобных ему.

А день был необычный. Ведь сегодня будет закончен монтаж кольцевого сердечника. Он опояшет электромагнитным поясом плот, его возбудители начнутся на столб, готовые к штурму.

Вот и Морозов вышел из внутренних помещений на верхнюю палубу «Кулибина». С ним маленький Бернстайн, Брамуля в необъятном дождевике, несколько инженеров-электриков. Остановились на правом борту, ждут катера, чтобы идти на плот.

Кравцов бросил за борт окурок, подошел к Морозову.

— Виктор Константинович, я слышал, что завтра должны доставить «светлячка»?

«Светлячок» — так кто-то прозвал атомную бомбу направленного действия, которая перережет столб, и кличка прилипла к ней.

— Везут, — ответил Морозов. — Чуть ли не весь Совет Безопасности сопровождает ее, сердечную.

— Посмотреть бы на нее. Никогда не видал атомных бомб...

— И не увидите. Не ваше это дело.

— Конечно... Мое дело скважины бурить.

Морозов, прищурив глаз, посмотрел на Кравцова.

— Вы что хотите от меня, Александр Витальевич?

— Ничего... — Кравцов отвел взгляд в сторону. — Чего мне想要? Поскорей бы закончить все — и домой...

— Э, нет! Вижу по вашему хитрому носу, что вы задумали нечто.

— Да нет же, Виктор Константинович...

— Так вот, голубчик, заранее говорю: не просите и не пытайтесь. Многие уже просились. Пуск будет поручен специалистам. Атомникам. Понятно?

— Там специалистам и делать нечего. Включил часовой механизм и ступай себе, не торопясь, на катер...

— Все равно. Напрасно просите.

— А я не прошу... Только, по-моему, право на пуск имеют прежде всего те, кто нес на плоту последнюю вахту...

— Право первооткрывателей?

— Допустим, так.

— Макферсон болен, остается Кравцов. Ловко придумали. — Морозов засмеялся, взглянул на ча-сы. — Что это катер не идет?

Рядышком Али-Овсад беседовал с Брамульей, и на сей раз разговор касался высокой материи. Чилиец мало что понимал из объяснений старого мастера, но для порядка кивал, поддакивал, пускал изо рта и носа клубы сигарного дыма.

— Чем вы озабочены, Али-Овсад? — спросил Морозов.

— Я спрашиваю, товарищ Морозов, этот кольцевой сердечник кто крутить будет?

— Никто не будет его крутить.

— Колесо есть, а крутиться — нет? — Али-Овсад недоуменно поцокал языком. — Значит, работать не будет.

— Почему это не будет?

— Машина крутиться должна, — убежденно сказал мастер. — Работает, когда крутится, — все знают.

— Не всегда, Али-Овсад, не всегда, — усмехнулся Морозов. — Вот, например, радиоприемник — он же не крутится.

— Как не крутится? Там ручки-мручки есть. — Али-Овсад стоял на своем непоколебимо. — А электрический ток? Протон-электрон — все крутится.

Морозов хотел было объяснить старику, как будет

работать кольцевой сердечник, но тут пришел катер. Ученые отплыли к плоту.

Стоя на корме катера, Морозов щурился от встречного ветра, задумчиво смотрел на приближающийся плот. «Машина крутиться должна... А ведь, пожалуй, верно: если в момент разрезания столба плот с кольцевым сердечником будет вращаться вокруг него, то можно будет обойтись без громоздких преобразователей, которые, кстати, будут готовы в последнюю очередь. Столб — статор, плот с сердечником — ротор... Надо будет прикинуть, рассчитать... Массу времени сэкономили бы... Можно прикальпить к плоту пароход, запустить машину...»

Он обернулся к Бернстайну.

— Коллега, что вы скажете по поводу одной незрелой, но любопытной мысли...

34

«...Что за нескончаемое письмо я тебе пишу! Я как будто разговариваю с тобой, моя родная, и мне это приятно, только вот отрывают все время.

У нас тут — дым коромыслом. Дело в том, что привезли атомную бомбу — мы ее называем «светлячок», — и понеехало столько дипломатов и военных, что ткни пальцем — и наверняка попадешь. Сама знаешь, после запрещения испытаний ядерного оружия это первый случай, когда потребовалось взорвать одну штучку, — естественно, что Совет Безопасности всполошился и нагнал сюда своих представителей. На «Фукуоке» народу сейчас — как летом в воскресенье на пляже в Кунцеве. Помнишь, как мы ездили на моторке? Это было еще в те счастливые времена, когда шарик земной имел при себе нормальную магнитную шубу.

Установку со «светлячком» поставим на платформу и погоним к столбу. Она прилипнет к столбу и...

Ну вот, опять оторвали. Позвонил Морозов, просят зайти к нему. А ведь уже полночь. Покойной ночи, Маринка!..»

Уилл сидел в кресле и лепил. Его длинные пальцы мяли желтый комок пластилина. Норма Хэмптон — она сидела с шитьем у стола — потянулась, прикурила коптящий язычок огня в лампе.

— Как же быть с Говардом, милый? — спросила она.

— Как хочешь, — ответил Уилл. — Он обращается к тебе.

— Если бы он попросил, как раньше, двадцать-тридцать фунтов, я бы и не стала спрашивать тебя. Послала бы, и все. Но тут мальчик просит...

— Мальчику двадцать четыре года, — прервал ее Уилл. — В его возрасте я не клянчил у родителей.

— Уилл, он пишет, что, если у него не окажется этой суммы, он упустит решающий шанс в жизни. Он с двумя молодыми людьми из очень порядочных семей хочет основать «скрач-клуб» — это сейчас входит в моду, нечто вроде рыцарских турниров, в доспехах и с копьями, только не на лошадях, а на мотоциклах...

— А я-то думал — на лошадях. Ну, раз на мотоциклах, ты непременно пошли ему чек.

— Прошу тебя, не смейся. Если я пошлю такую сумму, у меня ничего не останется. Отнесись серьезно, Уилл. Ведь он наш сын...

— Наш сын! Он стыдится, что его отец был когда-то простым дриллером на промысле...

— Уилл, прошу тебя...

— Я упрям и скуп, как все хайлендеры *. Ни одного пенса — слышишь? — ни единого пенса от меня не получит этот бездельник!

— Хорошо, милый, только не волнуйся, не волнуйся.

— Пусть подождет, — тихо сказал Уилл после долгого молчания. — В моем завещании значится его имя. Пусть подождет, а потом основывает свой клуб, будь оно проклято.

* Так называют в Шотландии жителей гор.

Норма со вздохом тряхнула золотой гривой и снова взялась за шитье. Пластилин под пальцами Уилла превращался в голову с узким лицом и сильно выступающей нижней челюстью. Уилл взял перочинный нож и прорезал глаза, ноздри и рот.

В дверь каюты постучали. Вошел Кравцов. Вид у него был такой, словно он только что выиграл сто тысяч. Куртка распахнута, коричневая шевелюра — что кустарник в лесу.

— Добрый вечер! — гаркнул он с порога. И с трудом сдерживая в голосе радостный звон: — Уилл, поздравьте меня! Миссис Хэмптон, поздравьте!

— Что случилось, парень? — спросил шотландец.

— Пуск поручили мне! — Кравцов счастливо за-смеялся. — Здорово? Уговорил-таки старика! Мне и Джиму Паркинсону. Здорово, а, Уилл?

— Поздравляю, — проворчал Уилл, — хотя не понимаю, почему вас это радует.

— А я понимаю, — улыбнулась Норма, протягивая Кравцову руку. — Поздравляю, мистер Кравцов. Конечно же, это большая честь. Я пошлю информацию в газету. А когда будет пуск?

— Через два дня.

«Вас не узнать, миссис Хэмптон, — подумал Кравцов. — Какая была напористая, раньше всех узнавала новости. А теперь ничего вам не нужно, только бы сидеть здесь...»

— О, через два дня! — Норма отложила шитье, выпрямилась. — Пожалуй, мне надо написать... Впрочем, Рейтер послал, должно быть, официальное сообщение в Англию...

Поскольку радиосвязи с миром не было, крупнейшие информационные агентства взяли на себя распространение новостей на собственных реактивных самолетах.

Кравцов подтвердил, что самолет агентства Рейтер, как всегда, утром стартовал с палубы «Фьюриесса», и Норма снова взялась за шитье.

— Еще два дня будут испытывать, — оживленно говорил Кравцов, — а потом, леди и джентльмены,

потом мы подымет «светлячка» в воздух и раско-
лошмним столб....

— Какого черта вы суетесь в это дело? — сказал
Уилл. — Пусть атомники сами делают.

— Они и делают. Все будет подготовлено, а часо-
вой механизм включим мы с Джимом. Еле уломал
Морозова. Токунага не возражал, а Совет Безопас-
ности утвердил...

— Ну, ну, валяйте! Постарайтесь для газет. Перед
пуском скажите что-нибудь такое, крылатое.

— Уилл, вы в самом деле так думаете? — Крав-
цов немного растерялся, радость его погасла. —
Неужели вы думаете, что я ради...

Он замолчал. Уилл не ответил, его пальцы с силой
разминали желтый комок пластилина.

— Ну ладно, — сказал Кравцов. — Покойной
ночи!

36

Свежее утро, ветер и флаги.

Полощутся пестрые флаги расцвечивания на ко-
раблях флотилии. Реют на ветру в блеске молний
красные, и звездно-полосатые, и белые с красным
кругом, и многие другие, и, конечно, голубые флаги
ООН.

Ревет гроза над океаном, клубятся тучи. Давно не
видели здесь люди солнечного света. Но теперь уже
скоро, скоро!..

Возле белого борта «Фукуока-мару» приплясыва-
ет на зыби катер стремительных очертаний. Скоро
в него спустятся Александр Кравцов и Джим Пар-
кинсон. А пока они на борту флагманского судна
выслушивают последние наставления.

— Вы все хорошо запомнили? — говорит стар-
ший из инженеров-атомников.

— Господа, желаю вам успеха! — торжественно
говорит осанистый представитель Совета Безопас-
ности.

— Жалко, меня не пустили с тобой пойти, — го-
ворит Али-Овсад.

— Не задерживайтесь, голубчики. Как только

включите, немедленно на катер — и домой, — говорит Морозов.

— В добный час, — тихо говорит Токуага.

В гремящих серо-голубых скафандрах они спускаются в катер — Кравцов и Паркинсон. И вот уже катер бежит прочь, волоча за собой длинные усы, и с борта «Фукуоки» люди кричат и машут руками, и на верхних палубах других судов черным-черно от народу, там тоже приветственно кричат и машут руками, а на борту «Фьюриэса» громыхает медью военный оркестр, а с «Ивана Кулибина» несется могучее раскатистое «Ура-а-а!».

— Джим, вам приходилось когда-нибудь раньше принимать парад? — Кравцов пытается спрятать за шутливой фразой радостное волнение.

— Да, сэр. — Джим, как всегда, непроницаем и как бы небрежен. — Когда я был мальчишкой, я работал ковбоем у одного сумасшедшего фермера. Он устраивал у себя на ранчо парады коров.

Из-за выпуклости океана поднимается плот. Сначала виден его верхний край, потом вылезает весь корпус, давно уже потерявший нарядный белый вид. Закопченный, изрезанный автогеном, в бурых подтеках. И вот уже высокий борт плота заслонил море и небо. Плот медленно вращается вокруг черного столба — для этого к нему причален пароход с закрепленным в повороте рулем. Команда эвакуирована, топки питает стокер — автокочегар.

Катер останавливается у причала. Старшина, ловко ухватившись отпорным крюком за стойку ограждения, говорит на плохом английском:

— Сегодня есть великий день.

Он почтительно улыбается.

Кравцов и Паркинсон поднимаются на причал. Они идут к трапу, шуршит и скрежещет при каждом шаге стеклоткань их скафандро. Сквозь смотровые щитки гермошлемов все окружающее кажется окрашенным в желтый цвет.

Вверх по зигзагам трапа. Трудновато без лифта: все-таки тридцать метров. Стальные узкие ступеньки выбирают под ногами. Двое лезут наверх. Все чаще

останавливаются на площадках трапа, чтобы перевести дыхание. Белый катер на серой воде отсюда, с высоты, кажется детской пластмассовой игрушкой.

Наконец-то верхняя палуба.

Они медленно идут вдоль безлюдной веранды кают-компании, вдоль ряда кают с распахнутыми дверьми, мимо беспорядочных нагромождений деревянных и металлических подмостков, теперь уже ненужных. Паровой кран, склонив длинную шею, будто приветствует их. Только не надо смотреть на океан — кружится голова, потому что кружится горизонт.

Рябит в глазах от бесконечных вспышек молний — они прямо над головой с треском долбят черный столб.

«Кажется, расширилось еще больше», — думает Кравцов о загадочном поле столба. Он нарочно делает несколько шагов к центру плота, а потом обратно, к краю. Обратно — явно труднее.

Да, расширилось. Контрольный прибор, установленный на столбике около платформы, подтверждает это.

Ну, вот и платформа. Громадный контейнер, установленный на ней, похож на торпеду. Так и не увидел Кравцов своими глазами атомную бомбу: «светлячок» был доставлен на плот в специальном контейнере с устройством, которое должно направить взрыв в горизонтальной плоскости. Снаружи только рыльца приборов, забранные медными сетками. Глазок предохранителя приветливо горит зеленым светом — так же, как вчера вечером, после долгого и трудного дня испытаний, настроек, проверок.

Под рамой платформы — труба, наполненная прессованными кольцами твердого ракетного топлива. Простейший из возможных реактивных двигателей. Вчера такая же платформа — только не с бомбой, а со стальной болванкой, разогнанная таким же двигателем, покатилась по рельсам к центру плота, все быстрее, быстрее, столб тянул ее к себе, — и, врезавшись в его черный бок, она унеслась вместе с ним ввысь со скоростью пассажирского самолета.

Жутковатое было зрелище!

Они включают батарейки связи. В шлемофонах возникает обычный скребущий шорох.

— Слышите меня? — спрашивает Кравцов.

— Да. Начнем?

— Начнем!

Прежде всего — вытащить предохранительные колодки. Ого, это, оказывается, не легко: платформа навалилась на них колесами. Приходится взяться за ломы и подать платформу немного назад.

Колодки сброшены с рельсов.

Так. Затем Кравцов старательно переводит стрелки первого часового механизма, соединенного с запалом реактивного двигателя. Он делает знак Джиму, и тот нажимает пусковую кнопку.

Гаснет зеленый глазок. Вспыхивает красный.

Вот и все. Ровно через четыре часа сработает часовий механизм, и реактивный двигатель, включившись, погонит платформу к черному столбу. При ударе о столб включится второй механизм, связанный с взрывателем атомной бомбы. Он установит взрыватель на семиминутную выдержку. За семь минут черный столб унесет контейнер с бомбой на шестидесятикилометровую высоту, и тогда сработает взрыватель, и «светлячок» ахнет по всем правилам. Направленный взрыв разорвет столб, разомкнется короткое замыкание, и сразу включатся автоматы. Мощные силовые поля, излученные установкой, вступят в расчитанное взаимодействие с полем столба и заставят его изменить направление. Столб остановится. Ну, а верхняя, отрезанная его часть останется в пространстве; она ведь уже сделала больше полного витка вокруг Земли, никому она не мешает.

И нынче вечером по всей планете вспыхнет в городах праздничная иллюминация... Эх, в Москву бы перенестись вечерком!..

Дело сделано, можно уходить. За четыре часа можно не только дойти на катере до «Фукуока-мару», но и чайку попить у Али-Овсада.

Кравцов медлит. Он поднимает щиток гермошлема, чтобы проверить на слух, работает ли часовий

механизм. Джим тоже откидывает щиток. Горячий воздух жжет им лица.

Тик, тик, тик...

Четко, деловито отсчитывает секунды часовой механизм на краю огромной безлюдной палубы.

— Ладно, пошли, Джим.

И вдруг в тиканье часового механизма вторгается новый звук. Это тоже тиканье, но оно не совпадает с первым. Потише, быстрее, с легким музыкальным звоном...

Никто никогда не узнал, почему сам собой включился таймер взрывателя атомной бомбы. Он должен был включиться через четыре часа, при ударе платформы о черный столб. Но сейчас...

Кравцов оторопело смотрит на Паркинсона. Тот пялится тихонько, губы у него прыгают, в глазах ужас...

Семь минут! Только семь минут — и заряд взрывчатки с силой воньет друг в друга два куска плутония. Яростная вспышка энергии разнесет плот, а вместе с ним установку...

А черный столб — в двухстах пятидесяти метрах отсюда, — быть может, даже не пострадает. Взрыв не возьмет его: бомба должна быть вплотную к нему!

Данн-данн-данн...

Тиканье таймера впивается в мозг.

Разобрать механизм, остановить?.. За семь минут? Чепуха...

Бежать, броситься вниз, к катеру? Не успеем отойти на безопасное расстояние...

Нет спасения. Нет спасения.

Что будут делать люди потом, без нас, без плота? Строить новый плот, новую установку... Но космические лучи не станут ждать...

Нет!

НЕТ!

Сколько уже прошло? Полминуты?

Данн-данн...

Кравцов срываются с места. Он упирается руками в задний борт платформы.

— А ну, Джим, быстро!

Руки Джима рядом. Они пытаются сдвинуть тяжелую платформу, она не поддается, еще, еще...

— Взяли... — хрипит Кравцов. — Взяли!

Пошла!

Сдвинулась платформа и пошла по рельсам, пошла. Они бегут, упираясь в нее руками. Быстрее!

Нечем дышать. Воздух режет горло огнем, они не успели опустить щитки...

Платформа разогналась, ее уже притягивает столб, еще немного — и она побежит сама, и столб подхватит ее и понесет вверх, вверх, со скоростью почти девять километров в минуту... Перед глазами Кравцова циферблат таймера. Потеряно только две минуты. Она успеет. Она рванет на высоте! Пусть не шестьдесят километров, пусть на сорокакилометровой...

«Ни черта с нами не будет, закроем лица, ничком на палубу... Взрыв горизонтально направленный, на большой высоте...

Радиация? У нас герметичные скафандры, и у людей на катере тоже.

Ни черта! Разогнать ее только... А ну, еще!

Не хочу умирать...»

Сдавленный голос Джима:

— Хватит... Сама пойдет...

— Еще немного! Взяли!

Безумный бег! Джим спотыкается о торчащую головку болта, падает с размаху, в руке острыя боль.

— Стоп! — орет он, задыхаясь.

Но Кравцов бежит и бежит...

— Александр! Остановись!

Что с ним?.. Почему он...

Страшная мысль пронизывает Джима.

— А-а-а...

Он исступленно колотит здоровой рукой по рельсу, ползет, остановившимися глазами смотрит на удаляющийся скафандр Кравцова.

Кравцов уже не бежит за платформой. Платформа притянула его к себе, он не может оторваться, отскочить, ноги его бессильно волочатся по палубе...

Горизонтальное падение... Все равно, что летиши в пропасть...

— Алекса-а-а-а...

Спазма сжимает горло Джима.

Платформа в облаке пара у подножья столба. Мелькнул серо-голубой скафандр. Глухой удар.

Джим закрывает обожженные глаза.

Вдруг — мысль о людях. О тех, что на катере. Джим вскакивает и бежит, задыхаясь, к краю плата.

Перегнувшись через поручни, он беззвучно открывает и закрывает рот, крика не получается — не отышаться.

Японцы-матросы на катере замечают его. Смотрят, задрав головы.

— Все вниз! — вырывается, наконец, у Джима. — Под палубу! Задраить люк! Закрыть шлемы! Лицом вниз!

Забегали там, внизу.

Джим рывком отваливает крышку палубного люка. Замычав от пронзительной боли в руке, прыгает в люк. Тьма и духота.

Он захлопывает крышку.

И тут плот содрогнулся. Протяжный-протяжный, басовитый, далекий, доносится гул взрыва.

Приспущенны флаги на судах флотилии.

Салон «Фукуока-мару» залит ярким электрическим светом. Здесь собрались все знакомые нам герои этого повествования.

Нет только Уилла и Нормы Хэмптон. Должно быть, они сидят в своей каюте.

Нет Джима Паркинсона. Когда полыхнуло в небе и прогрохотал взрыв, к плоту направилось посыльное судно с инженерами-атомниками и командой добровольцев на борту. Они нашли в крошечной каютке катера трех испуганных японских матросов, которые знали лишь то, что перед взрывом наверху появился человек в скафандре и крикнул им слова предостережения. Добровольцы в защитных костю-

мах поднялись наверх и обшарили всю палубу плота. Счетчики Гейгера, подвешенные к их скафандрам, показывали не такой уж сильный уровень радиации. Они искали несколько часов и уже отчаялись найти Кравцова и Паркинсона, как вдруг доброволец Чулков, откинув крышку одного из палубных люков и посветив фонариком, увидел человека в скафандре. Паркинсон лежал в глубоком обмороке. Он очнулся на обратном пути, в каюте посыльного судна, но не сказал ни слова, и глаза его были безумны. Только в лазарете на «Фукуока-мару» Джим немного оправился от потрясения и припомнил, что произошло. И тогда поиски Кравцова были прекращены. Сломанную руку Джима уложили в гипс.

Нет Александра Кравцова...

Тихо в салоне. Время от времени стюард приносит на черном лакированном подносе кипы радиограмм и кладет их на стол перед Морозовым и Токунагой. Поздравления сыплются со всех континентов. Поздравления — и соболезнования. Морозов просматривает радиограммы, некоторые вполголоса читает. Японский академик сидит неподвижно в кресле, прикрыв ладонью глаза. Сегодня у него особенно болезненный вид.

Дверь распахивается со звоном. На пороге стоит Уильям Макферсон. Сорочка у него расстегнута на груди, пиджак небрежно накинут на плечи. Нижняя челюсть упрямо и вызывающе выдвинута.

— Хэлло! — говорит он, обведя салон недобрым взглядом, голос его звучит громче, чем следует. — Добрый вечер, господа!

Он направляется к столу, за которым сидят руководители операции. Он упирается руками в стол и говорит Токунаге, обдавая его запахом рома:

— Как поживаете, сэр?

Японец медленно поднимает голову, лицо у него усталое, изжелта-бледное, в густой сетке морщин.

— Что вам угодно? — Голос у Токунаги тоже больной.

— Мне угодно... Мне угодно спросить вас... Кого дьявола вы отправили на смерть этого юношу?

Мгновенье мертвый тишины.

— Как вы смеете, господин Макферсон! — Морозов гневно выпрямляется в кресле. — Как смеете вы...

— Молчите! — рычит Уилл. Взмахом руки он сбрасывает со стола бланки радиограмм. — Запереть его, на ключ запереть надо было...

— Успокойтесь, Макферсон! Возьмите себя в руки и немедленно попросите извинения у академика Токунаги...

Токунага трогает Морозова за рукав.

— Не надо, — говорит он высоким голосом. — Господин Макферсон прав. Я не должен был соглашаться. Я должен был пойти сам, потому что... Потому что мне все равно...

Голос его никнет. Он снова закрывает глаза ладонью.

В салон врывается Норма Хэмптон.

— Уилл! Боже мой, что с тобой делается... — Она отдирает руки Уилла от стола и ведет его к двери. — Ты просто сошел с ума. Ты просто хочешь себя погубить...

У двери Уилл припадает к косяку, от звериного стона содрогается его спина. Норма растерянно стоит рядом, гладит его по плечу.

Али-Овсад подходит к Уиллу.

— Не надо плакать, инглиз, — произносит он с силой. — Ты не девочка, ты мужчина. Кравцов был мне друг. Нам всем был друг.

Он и Норма берут Уилла под руки и уводят.

И снова тихо в салоне.

От резкого телефонного зуммера Токунага нервно вздрагивает. Морозов берет трубку, слушает.

— Связь с Москвой есть, — говорит он, поднимаясь.

Токунага тоже встает и выходит вместе с Морозовым из салона.

В радиорубке их встречает Оловянников.

— Она у нас, в редакции «Известий», — тихо говорит он и передает Морозову трубку.

— Марина Сергеевна? Говорит Морозов. Вы слы-

шите меня?.. Марина Сергеевна, я знаю, что слова утешения бессмысленны, но позвольте мне, старику, сказать вам, что я горжусь вашим мужем...

* * *

Вот и все.

Вам, наверное, покажется странным, что для того, чтобы перерезать черный столб, люди использовали такое опасное старинное чудище, как атомная бомба. Но не забывайте, что эта история произошла полвека назад, а ведь тогда не было еще гравиквантовых излучателей. Да и о сущности единого поля люди в то время только начинали догадываться.

Что было дальше? Если вы забыли, то включите учебную звукозапись для четвертого класса. Она напомнит вам, как космонавты Мышляев и Эррера вышли на орбиту, эквидистантную отрезанному витку черного столба, получившему название «Кольцо Кравцова». Они уравняли скорость своего корабля со скоростью Кольца, вылезли в скафандрах наружу, в пространство, и укрепили на разомкнутых концах Кольца первые датчики автоматических станций.

А теперь на Кольце Кравцова смонтированы внеземные станции для ракетных поездов, посты космической связи и многое другое. Вы прекрасно знаете это.

Теперь, когда вы познакомились с Александром Кравцовым поближе, всмотритесь снова в его портрет — он помещен в учебнике геофизики, в том разделе, где идет речь о Кольце Кравцова. Парень как парень, не правда ли? Он вовсе не собирался стать героем.

Просто он легко забывал о себе, когда думал о других.

Я ИДУ ВСТРЕЧАТЬ БРАТА

ЖДИТЕ «МАГЕЛЛНА»

1

Кто бывал в Консате, должен помнить узкую и крутую лестницу в береговых скалах. Лестница начинается у площадки с колоннадой и ведет к морю. Внизу ее отделяет от воды только узкая полоска земли. Покрытая ноздреватыми камнями и крупным галечником, она тянется между морем и желтовато-белыми скалами от Долины Юга до самой Северной косы, где наклонной иглой пронзает небо обелиск — памятник погибшим астролетчикам.

Здесь хорошо собирать обточенные волной пестрые камни и охотиться за черными злыми крабами. Ребята из школьного городка, лежащего к югу от Ратальского космодрома, по дороге домой всегда задерживаются на берегу. Набив карманы находками, ценность которых никогда не понимали и не понимают взрослые, они взбегают наверх по высоким ступеням. Старая лестница нравится им больше, чем эскалатор, вьющийся среди скал в сотне шагов отсюда.

В ту пору я только что закончил отчет о третьей экспедиции в бассейн Амазонки. Теперь целый месяц

можно читать обыкновенные книги, по которым я так стосковался за дни напряженной работы.

Взяв томик стихов или новеллы Рандина, я уходил на верхнюю площадку Старой лестницы. Место было пустынное. В трещинах каменных плит росла трава. В завитках тяжелых капителей гнездились птицы.

Сначала я все время проводил на площадке один. Потом туда стал приходить высокий смуглый человек в серой куртке странного покроя. В первые дни мы, словно по взаимному уговору, не обращали внимания друг на друга. Но, кроме нас, здесь никто почти не бывал, и мы, постоянно встречаясь, стали в конце концов здороваться. Но никогда не разговаривали. Я читал книгу, а незнакомца все время, видимо, беспокоила какая-то мысль, и, занятый ею, он не хотел вступать в разговор.

Приходил этот человек всегда вечером. Солнце уже висело над Северной косой, за которой громоздились белые здания Консаты. Море теряло синеву, и волны отливали серым металлом. На востоке, отражая вечернее солнце, окрашивались в розовый цвет арки старой эстакады. Она стояла на краю Ратальского космодрома, как памятник тех времен, когда планетные лайнеры не были еще приспособлены к вертикальному взлету.

Придя на площадку, незнакомец садился на цоколь колонны и молча сидел, подперев кулаком подбородок.

Он оживлялся только, когда на берегу появлялись школьники. Встав на верхней ступени лестницы, этот человек следил за их игрой и ждал, когда светлого-лоловый мальчуган в черно-оранжевой полосатой куртке-тигровке заметит его и помчится наверх. Каждый раз он мчался с такой быстротой, что наброшенная на плечи тигровка развевалась, как пестрое знамя.

И хмурый незнакомец менялся на глазах. Он весело встречал мальчика, и, оживленно говоря о своих делах, оба уходили, кивнув мне на прощание.

Я думал сначала, что это отец и сын. Но однажды мальчик на бегу крикнул кому-то в ответ:

— Я иду встречать брата!
Из разговора братьев я узнал потом, что старшего зовут Александром.

Это случилось примерно через неделю после того, как я впервые увидел Александра. Он пришел в обычное время и сел у колонны, настыривая странный и немного резкий мотив. Я читал, но невнимательно, потому что «Песню синей планеты» Валентина Рандина знал почти наизусть. Иногда я бросал поверх книги взгляд на Александра и думал, что либо его мне знакомо.

Был небольшой ветер. Переворачивая страницы растрепанного томика, я не удержал оторванный лист. Прошелестев по камням, он лег почти у самых ног Александра. Тот поднял его и встал, чтобы отнести мне. Я тоже встал. Мы встретились на середине площадки.

Я впервые увидел Александра так близко. Он оказался моложе, чем я думал. Морщины над переносицей делали суровым его лицо. Но Александр улыбнулся, и морщины исчезли.

— Книга, наверно, не интересная? — спросил он, протягивая листок.

— Просто очень знакомая.

Мне не хотелось обрывать разговор, и я заметил:

— Твой брат задержался...

— Он должен задержаться. А я забыл...

Мы сели рядом. Александр попросил книгу. Было удивительно, что он не знает новелл Рандина, но я ничего не сказал. Александр открыл книжку и положил на страницы ладонь, чтобы удержать листы. На тыльной стороне ладони я заметил у него белый разветвленный шрам. Александр перехватил мой взгляд.

— Это еще там... У Желтой Розы.

Я сразу все вспомнил.

— Снежная планета?! — воскликнул я. — Александр Снег!

Необычные передачи, экстренные номера журна-

лов, со странниц которых смотрели Александр Снег и его три товарища, — это было совсем недавно. По всей Земле тогда с удивлением повторяли их имена.

Я видел перед собой человека, вернувшегося на Землю через триста лет после старта. Но не это было удивительным. «Бандерилья» и «Муссон» тоже плавали в космосе более двух веков. И хотя история фотонного фрегата, на котором вернулся Снег, была необычнее, чем у других, я думал сейчас не о его истории.

— Александр, — спросил я, чувствуя, что столкнулся со странной загадкой, — ведь триста лет... А мальчику не больше двенадцати. Откуда у тебя брат?

— Я знаю, ты археолог, — сказал Александр после некоторого молчания. — Ты должен чувствовать время лучше, чем другие. И понимать людей... Поможешь мне, если я расскажу все?

— Постараюсь помочь.

— То, о чем я расскажу, знают, кроме меня, только трое. Но они не могут помочь... Очень нужен твой совет... Только с чего начать?.. Впрочем, все началось как раз на этой лестнице...

2

Все началось на лестнице.

Нааль впервые после гибели родителей пришел к морю. Море, окаймленное широкой дугой белого города, сверкало синевой и вспыхивало белыми гребешками волн. Оно было ласковым и солнечным, словно никогда в его глубинах не гибли корабли.

Нааль спускался к воде. И чем ближе было море, тем торопливее шагал он по ступеням. И скоро он мчался во всю мочь навстречу громадной синеве, брызгущей солнцем, дышащей влажным и соленым ветром.

На неровном камне у него подвернулась нога. Нааль упал. Он ударился, но не сильно. Прикусив губу и прихрамывая, он стал спускаться дальше. Как

и все мальчишки, Нааль верил, что соленая вода — лучшее лекарство от царапин и ссадин. Поэтому, сбросив сандалии, он хотел войти в воду. Но среди камней, то и дело заливаемых легкой волной, Нааль увидел большого черного краба. Мальчик невольно отскочил.

Но одно дело — поддаться секундному страху, а другое — струсить совсем. Чтобы проверить свою смелость и отомстить крабу за свой испуг, Нааль решил поймать черного отшельника и забросить его далеко в море.

Краб, видимо почуяв опасность, заспешил и скрылся среди камней.

— Ну, держись!.. — прошептал мальчик.

Увлеченный охотой, он стал отворачивать камень.

Плоский камень плюхнулся в воду. Краб, видя, что его нашли, заторопился еще больше. Но Нааль уже не смотрел на него. На мокром гравии он увидел маленькую голубую коробку. Коробка была гладкая и круглая, как обточенный волнами камень. Неизвестно, откуда вынесло ее к этому берегу море.

Мальчик сел на гравий и стал разглядывать находку. Коробка оказалась закупоренной наглухо. Не меньше часа Нааль царапал ее пряжкой своего пояска, прежде чем сорвал крышку. Завернутый в листок старой бумаги, в коробке лежал странный значок: золотая ветка, в листьях которой запутались блестящие звезды. На стебле было выбито короткое слово: «Поиск».

Разглядывая значок, Нааль забыл о бумаге. Он и не вспомнил бы, но ветер бросил смятый листок ему на колени. Мальчик расправил его. Это был лист очень-очень старого журнала. Вода не просочилась в коробку и не испортила бумагу.

Мальчик стал читать, с трудом разбирая старинный шрифт. Вдруг лицо его сделалось очень серьезным. Но он читал дальше и в конце листа нашел слова, неожиданные, как громкий и внезапный звук струны.

...Часа через два пришли на берег школьники. Нааль сидел на том же месте. Он уперся локтями

в теплый от солнца камень и смотрел, как вырастают у берега белые гребни.

— Мы искали тебя, — сказал старший мальчик. — Не знали, что ты ушел к морю. Зачем ты один сидишь на берегу?

Нааль не слышал. Резче стал ветер, и сильно шумели волны. Вы знаете, как шумят волны? Сначала растет шум набегающего вала. Потом на камни с плеском рушится гребень. Волна, распластавшись, с шипением ползет по берегу. А ее догоняет другая...

3

Среди школьников Долины Юга он не выделялся ничем особым. Как и все, любил летать на высоких качелях в опасной близости от коряевых и сучковатых деревьев, гонять пестрый мяч среди стволов в солнечной роще. Не очень любил учить историю открытия больших планет. Мог многих ребят обогнать в беге, но не очень умело плавал. Охотно вступал в любую игру, но не был никогда в ней первым. Лишь один раз он сделал то, что сможет не каждый.

Упругая ветка росшего на берегу куста сорвала с его рубашки значок. Золотой значок с синими звездами полетел в воду. Было видно в прозрачной воде, как он уходит в глубину. И тогда, не думая ни секунды, Нааль прыгнул с шестиметрового обрыва, чудом не задев нагроможденные внизу острые камни.

Скоро он выбрался на берег и, зажав в ладони значок, свободной рукой стал молча выжимать рубашку.

Никто не знал, откуда у него этот значок и почему он так им дорожит. Никто и не расспрашивал. Ведь у каждого может быть своя тайна. После гибели родителей Нааль словно повзрослел и не всегда отвечал на вопросы сверстников.

Внешне ничего почти не изменилось в его жизни, когда он узнал про свое горе. Нааль и раньше большую часть времени жил в школе. Отец и мать были специалистами по изучению больших глубин и часто уходили в экспедиции. Но теперь мальчик знал, что

никогда не вернется батискаф «Олень» и в конце аллеи не появится человек, к которому можно помчаться навстречу, позабыв про все на свете.

Проходили месяцы. Были тихие утренние часы школьных занятий, были дни, полные солнца, шумных игр и веселых дождей. Может, и забылось бы горе. Но однажды волны вынесли неизвестно откуда на берег у Старой лестницы маленькую голубую коробку. Нет, она не была памятью о погибшем батискафе...

Ночью, видя в окне оранжевые отблески Ратальских маяков, Нааль доставал из голубой коробки смятый журнальный лист. Свет был не нужен, каждую строчку мальчик помнил наизусть. Это был очень старый журнал, изданный лет триста назад. Текст, отпечатанный на листе, рассказывал о старте фотонного фрегата «Магеллан».

В учебнике по истории звездных полетов об этом корабле говорилось коротко и сухо: «Магеллан» ушел к одной из желтых звезд с целью отыскать планету, подобную Земле. Видимо, экипаж пользовался неточными сведениями о планете, полученными от гибнущего фрегата «Глобус». «Магеллан» должен был вернуться через сто двенадцать лет. Известий от него не поступало. Очевидно, молодые астронавтики, увлекшиеся легендой и не имеющие опыта, погибли, не достигнув цели».

В учебнике не было даже их имен. Нааль узнал их из найденного листка. Капитана звали Александр Снег.

Нааль слышал от отца, что один из его предков был астронавтом. И тогда, на берегу, прочитав имя «Снег», он почувствовал и гордость и обиду. Обиду на учебник, за скупые и, наверно, неправильные слова о космонавтах. Мало ли почему мог погибнуть фрегат. И был ли виноват экипаж?

«А если они не нашли ничего у той желтой звезды и полетели дальше? А если они... летят до сих пор?» — подумал Нааль, споря со строчками учебника. Но, подумав так, вдруг зажмурился, словно испугался собственной мысли. Он отчетливо увидел длин-

ную и густую аллею школьного парка, а в конце ее — высокого человека в серебристой куртке астронавта, человека, навстречу которому можно побежать, позабыв обо всем на свете.

А если он вернется? Он мог бы еще вернуться. Время в космических кораблях течет в десятки раз медленнее, чем на Земле. Вдруг вернется фрегат? И тогда Нааль встретил бы не предка, не незнакомого человека из другого столетия. Он встретил бы брата. Потому что в конце журнального листа мальчик прочитал слова, сказанные кем-то экипажу «Магеллана»:

«...Не забывайте старых имен. Вы вернетесь через много лет. Но внуки ваших друзей встретят вас, как друзья. Внуки ваших братьев станут вашими братьями...»

Нааль понимал, что все это просто фантазия. И все-таки отчетливо представлял, как это может случиться. Будет утро...

Он ясно видел это утро: яркое, уже высоко поднявшееся солнце и такое синее небо, что на белых зданиях, на белых одеждах, на серебристом корпусе фрегата лежит голубой отблеск. Вспомогательные ракеты только что осторожно опустили корабль на поле космопорта. И он замер, опираясь на черные цилиндры фотонных отражателей, громадный звездный фрегат — сверкающая башня с черным гребнем длиной в полторы сотни метров. Четко выделяются на гребне старинные светлые буквы названия: «Магеллан». Нааль видит, как маленькие фигурки астронавтов медленно спускаются по спиральному трапу. Сейчас космонавты ступят на землю и пойдут навстречу людям. Нааль встретит их первым, встанет впереди других. Он сразу спросит, кто из них Александр Снег. А потом... Нет, он не будет говорить много. Сначала просто назовет свое имя. Ведь он тоже Снег...

Нааль не привык скрывать свои радости и печали. Но об этом не сказал никому. Ведь сам не желая того, он начал мечтать о чуде. А кто же станет верить в чудо? Но иногда по ночам, глядя на отблески мая-

ков космодрома, Нааль доставал мятый листок. Ведь каждый имеет право на свою мечту, если даже она несбыточная.

Чудес не бывает. Но в силу странного совпадения в этом же году пятая лоцманская станция приняла всколыхнувший всю нашу планету позывной: «Земля... Дайте ответный сигнал. Я иду. Я «Магеллан».

4

Луна еще не вставала, но верхняя часть Энергетического Кольца уже поднялась над холмами крутої неправильной дугой. Его желтоватый рассеянный свет скользнул в окно и широкой полосой лег на ковер.

Нааль выключил наручный приемник. Новых сообщений не было. Но он не мог больше ждать. Мальчик колебался еще секунду, потом вскочил, мгновенно убрал постель и оделся. Бросив на плечо куртку, он подошел к окну. Окно было полуоткрыто. Оно никогда не закрывалось до конца, потому что снаружи, цепляясь крошечными шипами за карниз, пробрался в комнату пунцовый марсианский выонок. Тонкий стебель был бы перерезан, если бы стекло задвинули до конца.

За окном искрились в свете Кольца мокрые от недавнего дождя кусты. Они бросали едва заметный зеленоватый отблеск на белые стены и широкие стекла школьных зданий. Над холмами вздрогнул и погас на редких облаках оранжевый луч: вновь сигналил кому-то Ратальский космодром.

Нааль отодвинул стекло и шагнул на протоптанную тропинку.

Ректор школы Алексей Оскар еще не спал. Он читал. Свежий, пахнущий дождем воздух вошел в открывшуюся дверь и шевельнул книжные листы.

В двери стоял мальчик.

— Нааль?!

— Да...

Слегка сбиваясь и торопясь закончить разговор, Нааль впервые рассказал все.

Оскар встал и отвернулся к окну. Вопреки общему мнению он не считал себя опытным педагогом. Просто была у него способность вовремя находить правильное решение. Но он растерялся сейчас. Что он мог сказать? Попробовать что-то объяснить, отговорить мальчика? Но возможно ли отговорить? И будет ли он тогда прав?..

Ректор молчал, а время шло, и молчать дальше было нельзя.

— Слушай, Нааль, — начал ректор, не зная еще, что скажет дальше. — Сейчас... ночь...

— Оскар, отпусти меня на Берег Лета, — тихо сказал мальчик. Это не было даже просьбой. В голосе его послышалась тоска, похожая на ту непобедимую тоску по Земле, которая заставляет космонавтов совершать отчаянные поступки.

Есть вещи, перед которыми обычные понятия и правила бессильны. Что мог сказать Оскар? Только то, что уже ночь и надо бы выехать утром. Но какое это имело значение?

— Я отвезу тебя на станцию, — сказал Оскар.

— Не надо. Лучше я пойду. Один...

Мальчик ушел.

Оскар, подойдя к видеофону, вызвал Берег Лета и, набрав позывной лоцманской станции, отчаянно надавил клавишу срочного вызова.

Никто не ответил. Лишь автомат успокоил:
«Все благополучно».

НОЧНАЯ ДОРОГА

1

Лучше бы он не ходил этой дорогой!

Думая сократить путь, Нааль решил пройти к станции через холмы. За четверть часа он добрался до перевала. Над круглыми вершинами висела белая Луна в светлом эллипсе Энергетического Кольца. Справа медленно гасли и загорались Ратальские маяки. Слева, отчасти скрытые грядой невысоких

холмов, сияли огни Консаты. Они раскинулись широкой дугой, а за ними стояла, слабо мерцая в лунном свете, туманная стена моря.

А вся долина была пересечена черной громадой Ратальского моста — старинной эстакады.

До сих пор Нааль не боялся встречи и ни в чем не сомневался. Слишком неожиданным и чудесным было сообщение о «Магеллане», и радость не оставила места для тревоги.

И тревоги не было до той минуты, пока Нааль не увидел эстакаду. Он не мог бы объяснить, почему появилось сомнение. Наверно, двухсотметровые арки, вставшие на пути, как исполинские ворота, были слишком мрачные и громадные. Они напоминали о непостижимой величине всего, что связано с космосом, о расстояниях, пройденных «Магелланом», о трех столетиях... «Внуки братьев станут вашими братьями!» Но мало ли кто какие слова говорил триста лет назад!..

Черные опоры эстакады стояли, как двойной строй атлантов, и молча спрашивали мальчишку: куда он идет? Зачем? Что за нелепые мысли у него в голове?

Мальчик оглянулся, словно искал поддержку. Но огни Долины Юга скрылись уже за холмом.

Тогда он замер на миг и вдруг, рванувшись, побежал к эстакаде. Он мчался напрямик по высокой, еще сырой траве. Какое-то колючее растение оцарапало ему ногу. Нааль остановился, яростно вырвал его с корнем и побежал опять. Скорей, скорей, чтоб не догнала непонятная звенящая тревога! Сейчас он пересечет широкую полосу тени и минует черные ворота Ратальского моста...

Вагон кольцевого экспресса, идущего через Берег Лета на северную оконечность материка, был пуст. Нааль забрался с ногами в кресло и смотрел, как со скоростью пятисот километров в час пролетает за окнами темнота.

Нааль устал. В другое время он, конечно, заснул бы, но сейчас снова зазвенела, как надоедливая струна, тревога: «А если он ничего не скажет в ответ? Или подумает, что это просто шутка? И до мальчишки ли будет герою космоса, вернувшемуся на Землю через триста лет?»

Мальчик представил вдруг громадное поле космопорта, заполненное тысячами встречающих. Тысячи приветствий, тысячи протянутых для рукопожатия ладоней. А что будет делать там он? Что скажет?

И вдруг появилась мысль, что не надо ночевать в городе, ждать утра и приземления корабля. Надо обо всем сказать Александру сейчас. «Лоцман-5» держит связь с фрегатом. Станция в сорока километрах от Берега Лета. Ехать нужно еще пять минут.

Дождавшись очередного поворота, Нааль вышел на движущийся круговой перрон. Прыгая по замедляющим свой бег кругам, Нааль добрался до неподвижного центра и через тоннель вышел на перрон.

Перед ним лежало черное поле. Сзади горели неяркие огни перрона, далеко впереди светился синий шпиль лоцманской станции. Тихо шумел ветер. Этот шум почему-то успокоил мальчика. Раздвигая ногами высокую траву, Нааль побрел прямо на синий шпиль.

Здесь, видимо, тоже недавно прошел дождь. Мокрые листья липли к коленям. Ветер был теплым и влажным.

Скоро Нааль вышел на дорогу и зашагал быстрее. Ветер тоже быстрей полетел навстречу, стараясь сорвать с плеч мальчика легкую куртку.

3

Станция «Лоцман-5» уже давно отказывалась давать подробную информацию. На все запросы коротко отвечал автомат: «Все благополучно». Многие пытались настроиться на волну связи с кораблем, но не удавалось: никто не знал старинной системы передач.

Первое сообщение с приближающегося фотонного фрегата приняла промежуточная станция Юпитера.

Но теперь у Земли уже была прямая связь с кораблем. Лоцманы не покидали станцию ни на минуту. Троє дежурили у векторного маяка, четвёртый спал здесь же, в кресле. Экипаж корабля уже передал управление Земле. Лоцманы должны были посадить фрегат на Береговой космодром.

Лишь несколько часов назад Сергей Костер установил с фрегатом двустороннюю звуковую связь. Но экипаж пока не передавал никаких сведений, кроме данных о системе автоматов, необходимых для приземления.

Лоцманы вывели корабль на круговую орбиту, и он повис над Землей, превратившись в спутник с суточным обращением. Сергей кончил передачу координат, когда Мигель Нуэйос сказал:

— Кто-то второй час сигналит, просит ответить.

— Бессонница у кого-то, — не оборачиваясь, предположил Сергей. Он внимательно следил за вектором, пересекающим на светящейся карте черную точку космодрома.

— Срочный вызов, шесть отчаянных сигналов. Это не простое любопытство.

— Если что-то важное, почему не прямая связь?

— Не знаю...

Через несколько минут Сергей сам услышал гудок срочного вызова. Ни он, ни два других лоцмана, дежуривших у параллельных передатчиков, не могли подойти к видеофону.

— Миша, ответь в конце концов, — попросил Сергей.

Но Мигель уже спал, полулежа в кресле.

Сигнал не повторялся.

Прошло еще полчаса. Автоматы корабля получили последнее задание. Сергей облегченно закрыл глаза. Но все равно плясала в глазах красная россыпь цифр и от усталости ломило веки.

В эту минуту кто-то тронул его за рукав. Лоцман отнял от глаз ладонь. Он увидел мальчика лет двенадцати, светловолосого и загорелого, в незастегнутой полосатой куртке, с золотым значком на светло-зеленой рубашке, со свежими царапинами на ногах.

Мальчик смотрел снизу вверх в лицо Сергея. И, желая, видимо, все объяснить в одну минуту, он сказал несколько слов, смысл которых лоцман понял не сразу.

— О чём ты говоришь? Как ты попал сюда? — спросил Сергей.

Подойдя к центральному зданию, Нааль сразу отыскал какую-то дверь и оказался в длинном узком коридоре. Гулко отдавались шаги. Пол, гладкий и блестящий, как стекло, отражал большие плафоны. Нааль шел по коридору, и снова начали стонать тревожные струнки, сливаясь в один ноющий звук. Снова нарастила тревога, и от волнения к горлу подступал комок. Нааль почувствовал, что сердце колотится беспорядочно, как прыгающий по ступеням мяч.

Коридор кончился крутым поворотом. Нааль поднялся по широкой лестнице, замер на секунду с поднятой рукой и, решившись, толкнул матовые, просвещивающие двери.

Он увидел круглый зал с низкими стенами и прозрачным куполом, расчерченным непонятными белыми линиями. Сквозь паутину этих линий смотрели звезды. Пол, выложенный белыми и черными ромбами, слегка поднимался к центру, где была небольшая площадка. Там, у черного конусообразного аппарата, стояли три человека. Недалеко от площадки, в одном из кресел, в беспорядке расставленных по залу, спал четвертый. Люди у аппарата о чём-то говорили. Гулкими, неестественными были их голоса. Нааль разобрал каждое слово, но не понял, о чём они говорят. Видимо, от усталости слегка кружилась голова. Все стало каким-то ненастоящим. Нааль прошёл по бело-чёрным ромбам к центру, поднялся на площадку и взял за руку одного из лоцманов. Человек обернулся, и по удивлённому взгляду Нааль понял, что тот не слышал шагов.

Тогда, чтобы сразу объяснить все, мальчик сказал:

— Я пришёл встречать брата...

Все было как во сне. Нааль рассказывал и слышал, словно со стороны, как голос его звенит и тяготится в громадном помещении. Он не помнил, долго ли говорил. Наверно, очень недолго. Мерцали лампочки на пультах у круглых стен, и синие змейки на экранах стремительно меняли свой рисунок.

— Скажи, лоцман, он не откажется, ответит? — спросил Нааль, стряхнув на миг оцепенение. Наступила короткая тишина. Потом кто-то произнес фразу, которая из-за своей простоты и обыкновенности никак не вязалась с тем, что происходило.

— Вот ведь какое дело...

Кто-то будил спящего:

— Миша! Мигель! Встань, слушай.

Быстро плясали на экранах молнии, и старший лоцман, которого звали Сергеем, вдруг сказал:

— Ты спиши, мальчик.

Он поднял его на руки и положил в широкое пушистое кресло. Но Нааль не спал. Он смотрел на пляшущие огоньки и слышал гудящие под куполом слова:

— Человек...

— Три столетия...

— Не испугался... А если нет?

— Он спит.

— Нет.

И тот, кто сказал «нет», спросил:

— Как тебя зовут, брат космонавта?

— Нааль.

Он не слышал повторного вопроса, но почувствовал, что лоцманы не поняли, и сказал:

— Натаниэль Снег.

— Снег... — отозвалась голоса.

— Странное сочетание...

«Ничего странного, — хотел сказать Нааль. — Так называли меня в честь Натаниэля Лида, капитана батискафа «Свет»...»

Кто-то шевельнул кресло и произнес:

— Спит.

— Я не сплю, — сказал Нааль и открыл глаза. — Лоцман, ответил «Магеллан»?

Сергей наклонился к нему:

— Ты спи... Они сказали, что встретятся с тобой через неделю. Экипаж решил спуститься на десантной ракете в зону лесов... Видимо, не хотят они шумной встречи. Стосковались по Земле, по ветру, по лесу. Через несколько дней пешком придут к Берегу Лета.

Сон быстро таял.

— А я? А людей... разве не хотят они встретить?

— Ты не волнуйся, — сказал Сергей. — Ведь с тобой обещали встретиться через неделю.

Теперь Нааль увидел, что зал лоцманской станции не так уж велик. Погасли экраны. Небо над прозрачным куполом стало низким и туманным.

— Куда они спустятся? — спросил мальчик.

— Они просили не говорить об этом,

— А мне?

— Полуостров Белый мыс.

Нааль встал.

— Спи здесь до утра, — предложил Сергей. — Потом все решим.

— Нет. Я поеду домой.

— Я провожу.

— Нет.

Вот и кончилось все... Была глупая сказка, которой он поверил совсем зря. Триста лет...

Он не дослушал последних слов лоцмана и быстро пошел, потом побежал по черно-белым ромбам зала, по стеклянному полу коридора, по усыпанной гравием тропинке. Снова мальчик оказался в черном поле и пошел к далекому перрону. Шел он медленно. Куда теперь спешить? «Встретимся через неделю...» Если человек хочет встречи, он не станет ждать и часа.

Может быть, все так и кончилось бы. Но в сотне шагов от станции Нааль наткнулся на стоянку «пчел». И вдруг шевельнулась мысль, которая сначала показалась просто смешной. Но, пройдя метров десять, мальчик остановился. «Может быть, Алек-

сандр не мог уже отменить решения о высадке, когда услышал обо всем от лоцмана? Ведь он не один?» — думал Нааль.

Чувствуя, как колотится сердце от вновь появившейся надежды, Нааль нерешительно подошел к аппаратам. Ему не хватало трех месяцев до двенадцати лет — возраста, когда разрешается самостоятельно водить «пчелу». Можно ли ему нарушить запрет?..

Все еще колеблясь, он сел в кабину и опустил защитный колпак. Потом проверил двигатель. Подбадривающие мигнули на доске управления желтые огоньки. Тогда Нааль поднял «пчелу» на горизонтальных винтах и сразу разогнал ее на северо-восток.

Высокая скорость позволит ему за два часа достичнуть Белого мыса.

Он, наверное, заснул в полете. По крайней мере полет показался Наалю очень коротким. Думал он, только об одном: «Подойду и скажу, кто я. Теперь все равно...»

Если он встретит равнодушный взгляд, он молча сядет в кабину и, подняв аппарат, уведет его на юго-запад.

Беда случилась, когда «пчела» пересекла тихий, отразивший звезды залив и летела к мысу над черным лесным массивом. Уже начал синеть восток, но в зените небо оставалось темным. Где-то там висел покинутый экипажем «Магеллан».

Нааль напрасно старался увидеть внизу огни или хотя бы темный конус десантной ракеты. Дважды он прошел до оконечности мыса над самыми вершинами деревьев. Потом стал слабеть двигатель. Аккумуляторы оказались израсходованными. Мальчик понял, что взял аппарат, который не был подготовлен к полету. Тогда, чтобы в последний раз осмотреть как можно шире темнеющий внизу лес, Нааль стал подниматься на горизонтальных винтах. Он поднимался до тех пор, пока не заглох двигатель. Винты остановились, и, выпустив крылья, «пчела» заскользила к земле.

Нааль поздно понял ошибку. Внизу тянулся сплошной лес. Приземлиться, планируя на крыльях, было невозможно.

Он почему-то не очень испугался. Глядя на проносящиеся под самыми крыльями деревья, Нааль постарался выровнять полет. Потом увидел перед собой черные вершины и машинально рванул тормоза. Был трескучий удар, несколько резких толчков, затем еще толчок, более мягкий. По плечам тяжко ударила спинка сиденья. Что-то твердое уперлось в плечо. К щеке прильнули какие-то сухие, пахучие стебельки. «Где же ракета?» — подумал мальчик и вытянулся на траве.

ЧЕТВЕРТОЕ СОЛНЦЕ

1

— Ни лоцманы, ни мальчик не знали, конечно, причины нашего странного решения, — сказал Александр. — Причиной была растерянность. Не простая растерянность, какую может вызвать неожиданное известие, а какая-то беспомощность и страх. Что мы могли ответить?..

Я не стану говорить о полете. Все они проходят одинаково, если не случится катастрофы. Работа, долгий сон в анабиозе... На Земле прошло полвека, а в корабле — около двенадцати лет, когда мы, обогнув по орбите Желтую Розу, подошли, наконец, к планете.

Мы испытали сначала горечь неудавшегося поиска. Перед нами была ледяная земля. Без жизни, без шума лесов, без плеска волн. Кутаясь в дымку холодного тумана, над ломаной чертой гор висело большое ярко-желтое солнце. Оно действительно было похоже на желтую розу. Розовым и желтым светом отливал замерзший океан. В расщелинах скал, в трещинах льда, в тени сумрачных обрывов застоялась густая синева. Лед... Холодный блеск... Тишина...

Единственным, что обрадовало нас, был воздух. Настоящий, почти земной воздух, только холодный, как вода горного ключа. В первый же день мы сбро-

сили шлемы и дышали сквозь стиснутые от холода зубы. Надоел нам химически чистый, пресный воздух корабельных отсеков. По-моему, как раз от него появляется та мучительная тоска по Земле, о которой страшно даже вспоминать! А там, на Снежной планете, мы перестали так остро ощущать эту тоску. Было что-то близкое человеку в этом ледяном, завороженном холодом мире, только поняли мы это не сразу. Покидая фрегат, каждый раз мы видели царство снега, камня и льда...

2

Они видели глубокие ущелья, в которых стоял голубой туман. Плоские и широкие солнечные лучи из оранжевых превращались в зеленые, когда попадали в ущелье сквозь трещины отвесных стен. Они дробились на сотни изумрудных искр среди изломов льда. А если лучи достигали дна, там вспыхивали букетами фантастических огней сотни ледяных кристаллов.

По ночам за окнами «Магеллана» черной стеной стояло небо с изломанными контурами синих созвездий. Иногда желтоватым светом начинали мерцать высокие прозрачные облака. Этот свет струился по обледенелым склонам гор, выхватывая из темноты нагромождения скал.

И все-таки не была она мертвой, эта холодная планета. Случалось, что, закрыв оранжевое закатное солнце и стирая со льдов черные уродливые тени, с запада приходили тяжелые тучи. И начинал падать снег. Настоящий снег, как где-нибудь на берегу Карского моря или в районе антарктических городов. Он таял на ладонях, превращаясь в обычную воду. Потом вода становилась теплой.

А однажды в южном полушарии люди нашли долину, где не было снега, не было льда. Там были голые скалы, камни, серебристые от влаги, и гравий на берегу незамерзшего ручья. Среди скал, окруженный сотнями маленьких радуг, гремел сверкающий водопад. Он словно хотел разбудить уснувший в холодае мир.

Недалеко от водопада Кар увидел маленькое чернолистное растеньице, прилепившееся к скале. Кар снял перчатку и хотел потянуть тонкий узловатый стебель. А растение вдруг качнуло черными стрелками листьев и потянулось к руке человека. Кар машинально отдернул руку.

— Оставь, — посоветовал осторожный Ларсен. — Кто его знает...

Но Кар понял по-своему. На лице дрогнула скучающая улыбка. Он провел ладонью над черным кустиком, и снова устремились к руке маленькие узкие листья.

— К теплу она тянется, — негромко сказал Кар. Потом крикнул отставшему биологу: — Таэл! Наконец для тебя настоящая находка!

В тот момент штурман еще не понял всю важность открытия.

Вечером все собрались в кают-компании «Магеллана». Было их пять человек. Белокурый и широкоплечий Кнуд Ларсен, добродушный и рассеянный во всем, что не имело отношения к вычислительным машинам. Два африканца: веселый, маленький биолог Таэл и штурман Тэй Карат, которого называли всегда просто Кар. Пилот и астроном Георгий Рогов, светловолосый, как Ларсен, и смуглый, как африканцы, самый молодой в экипаже. И, наконец, Александр Снег, который был штурманом-разведчиком и художником. В последнее время он настолько был занят своими этюдами, что передал управление экипажем Кару.

Они собрались, и Кар сказал:

— Странная планета, не правда ли? Ясно одно: не будь оледенения, была бы жизнь. Солнце, то есть Желтая Роза, когда-нибудь растопит лед, это тоже ясно. Неизвестно лишь, сколько тысячелетий нужно для этого... Растопим лед сами?

Он предложил зажечь над Снежной планетой четыре искусственных солнца по системе академика Воронцова. Это была старая и довольно простая систе-

ма. Такие атомные солнца зажигались на Земле еще в первые десятилетия после того, как люди, уничтожив оружие, смогли, наконец, всю ядерную энергию использовать для мирных дел. Как раз тогда и были растоплены льды Гренландии и береговых районов Антарктиды.

— Почему именно четыре? — спросил Георгий.

— Это минимум. Меньше четырех нельзя — не будет уничтожен весь лед, и вечная зима снова расползется по всей планете.

Однако на четыре солнца уйдет две трети оставшегося эзана — звездного горючего. Значит, не смогут космонавты разогнать до нужной скорости корабль. Они вернутся на Землю не раньше, чем через двести пятьдесят лет. Большую часть полета экипаж вынужден будет провести в анабиозе. Двести пятьдесят лет... Но зато астронавты принесут людям планету, которая станет новым форпостом человечества в космосе. Не будет напрасным далекий поиск.

— Что для этого нужно? — спросил Ларсен.

— Согласие, — Кар оглядел всех.

— Да, — сказал Ларсен.

— Конечно! — воскликнул Таэл.

Георгий молча кивнул.

— Нет! — произнес вдруг Снег и встал.

Прошло несколько секунд удивленного молчания, и Снег заговорил.

Он говорил о том, что глупо делать из планеты инкубатор. Люди не должны бояться суровых льдов, борьбы с природой незнакомой планеты. Без борьбы жизнь теряет смысл... А вдруг погаснут искусственные солнца прежде, чем сойдет весь лед? Что станет с первыми жителями Снежной планеты, если вдруг нагрянет опять вечная зима? Но пусть даже не погаснут солнца. Пусть сойдут льды. Что тогда увидят люди? Голые горы, равнины без лесов, серую пустыню...

Они слушали, и были мгновения, когда каждый хотел уже согласиться с товарищем. Даже не потому, что слова его казались убедительными. Убеждали горячность и настойчивость. Так спорил Снег всегда,

когда чувствовал твердо свою правоту. Ведь с той же горячностью отстаивал он на Земле право полета к «своей звезде».

3

Помнили друзья, как он стоял в большой комнате Дворца звезд перед бледным сухим человеком и говорил с яростной прямотой:

— Я удивляюсь, как Союз астронавтов мог доверить решение такого вопроса вам одному, человеку, не умеющему верить в легенды!

Человек бледнел все сильней, но его раздражение сказывалось лишь в легкой сбивчивости тихих ответов:

— Каждый юноша, побывав за орбитой Юпитера, считает себя подготовленным к свободному поиску и готов летать хоть в центр Галактики. Это смешно. Вам кружат голову сказки о планетах Желтой Розы. Желтая Роза — коварная звезда. Заманчиво, конечно. Вечная истина: сказка привлекательна.

— Вы претендуете на знание вечных истин, но забыли одну: в каждой легенде есть зерно правды. Мы верим, что есть планеты...

Ротайс наклонил голову.

— Я позволю себе закончить бесполезный разговор. Не вижу у вас оснований претендовать на экспедицию свободного поиска... К тому же я очень огорчен, и мне трудно говорить. Час назад разбился на гидролете Валентин Янтарь. Он дома сейчас, и я спешу к нему.

Видимо, он не очень спешил, потому что Александр, прия в дом старого астронавта, увидел там только врачей. Он узнал, что Янтарь отказался от операций.

— Летать я больше не смогу, а жизнь... Она и так была долгая, — заявил он.

Снег молча прошел в комнату, где лежал астронавт. Янтарь сказал растерявшемуся врачу:

— Прошу вас уйти.

В комнате был полумрак. Не от штор, а от густых зацветающих яблонь, которые закрыли окна.

Александр подошел к постели. Янтарь был укрыт до самой шеи белым покрывалом. Поверх покрывала лежала спутанная светлая борода. Кровавая полоса тянулась через морщинистый лоб.

— Никто не поймет меня, кроме вас, — начал Александр. — Остальные могут обвинить меня в бесчувственности, одержимости, эгоизме... Но мы можем говорить друг другу правду. Вы летать больше не будете.

— Так...

— Наш экипаж не пускают в поиск, — тихо сказал Александр. — Дайте нам ваше право второго полета... И мы полетим.

— На Леду? На мою планету? — Янтарь не пошевелил ни руками, ни головой, только радостно вспыхнули его глаза. — Вы решили?

В этот миг он увидел, наверное, синий мир так и не разгаданной до конца Леды, развалины бирюзовых городов и белые горы, вставшие над фиолетовыми грудами непроходимых лесов, окутанных ядовитым сизым туманом. Но необыкновенное видение исчезло. Снова возникло перед ним строгое и напряженное лицо Александра.

— Нет. Конечно, не на мою, — глухо произнес Янтарь.

— Каждому светит звезда, — сказал Снег.

Он сел у постели и коротко рассказал все: про последнее сообщение с «Глобуса» о загадке Желтой Розы, про план свободного поиска, который возник у пяти молодых астролетчиков, про последний разговор с Ротайсом.

— Леда ждет археологов. Мы же разведчики. Мы хотим найти планету, где воздух, как на Земле. Людям нужны такие планеты.

Янтарь закрыл глаза.

— Хорошо... Ваше право.

— Он не поверит, — возразил Александр, вспомнив бесстрастное бледное лицо Ротайса.

— Возьми мой значок. В синей раковине, на столе.

В раковине, найденной на Леде, лежал золотой значок с синими звездами и надписью «Поиск».

Александр взглянул на значок, потом на раненого астронавта. Впервые за эти дни ему изменила твердость. Он сжал зубы и опустил протянутую было руку.

— Возьми, — повторил Янтарь. — Ты прав.

— Выбей окно, — попросил он, когда Александр зажал в ладони значок. — Нет, не открывай, а разбей стекло... Оно старое, очень хрупкое... Хорошо, — сказал он, когда зазвенели осколки.

Александр выломал за окном большую ветку, и в комнату вошел солнечный луч.

— Счастливого старта! — проговорил Валентин Янтарь, усилием воли стараясь подавить нарастающую в груди боль. — Пусть вернется на Землю каждый из вас!

— Это удается редко.

— Потому и желаю...

У выхода Снег встретил Ротайса и показал на раскрытой ладони значок. Ротайс слегка пожал плечами и наклонил голову. Это означало скрытое возмущение поступком молодого астролетчика и в то же время вынужденное согласие. Никто в Солнечной системе не мог отвергнуть права на второй полет: космонавт, открывший новую планету и вернувшийся на Землю, мог вторично отправиться в любую экспедицию и в любое время, на любом из готовых к старту кораблей. Он мог также уступить это право другому капитану.

В одну секунду Александр вспомнил вдруг лицо Янтаря — знаменитого капитана «Поиска», его морщинистый лоб с кровавой полосой и глаза, синие, словно отразившие фантастический мир Леды. «На Леду? На мою планету? Вы решили?» Но старый астронавт понял Александра. А Ротайс?

Александр обернулся и сухо сказал в спину Ротайсу:

— Сообщите Восточному космопорту. Мы выбрали «Магеллан».

Он больше всех сделал для этого полета. А уле-

тать ему было труднее всех. У каждого на Земле оставались родные. Но, кроме родных, у Снега оставалась девушка, у него одного.

Со стороны казалась странной эта молчаливая дружба. Их не часто видели вместе. Они редко говорили друг о друге. О любви их знали только друзья...

За неделю до старта Александр встретил ее в молодом солнечном саду, там, где сейчас Золотой парк Консаты. Ветер рвал листья, и солнце плясало на белом песке аллеи. Девушка молчала.

— Ты же знала: я астронавт, — сказал Снег.

Он умел быть спокойным.

Перед стартом он отдал ей золотой значок.

...Однажды, случайно заглянув в кают-компанию «Магеллана», Георгий увидел, как Снег достал и поставил перед собой маленький стереоснимок. Он смотрел на него не отрываясь. Молчал.

— Я убрал бы этот снимок навсегда, — сказал Георгий.

Александр взглянул на него не то с насмешкой, не то с удивлением.

— И думаешь, все забудется?

Он закрыл ладонью глаза и несколькими резкими штрихами карандаша с удивительной точностью набросал на листе картона черты девушки.

— Вот так.

Шел восьмой год полета по собственному времени «Магеллана».

4

И вот теперь Александр Снег, больше всех рвавшийся в поиск, отстаивал ледянную планету, словно ее ждала гибель, а не возрождение.

— Серая пустыня, чахлые кустики! Льда не будет, а что останется? Мертвая земля, мертвые камни.

— Люди сделают все! — возразил Таэл. — Все, что надо, сделают люди.

— Но я не сказал еще одного, — продолжал Снег. — Нельзя отнимать у людей тот мир, который мы здесь нашли, потому что он прекрасен. Разве вы этого не поняли?

Он швырнул на стол свои этюды. Все затихли, снова увидев то, что видели раньше, но забывали, угнетенные царством льда. Были удивительно точно схвачены краски. Черно-оранжевые закаты, голубые ущелья со светящимся туманом, утро, зажигающее золотые искры на изломах льда, желтое небо с на-громождением серых облаков...

Медленно шелестели листы. Наконец Кар сказал:

— Хорошо. Но нельзя же так — холод и смерть ради красоты. Зачем нужны мертвые льды?

— Не мертвые, — покачал головой Александр. — Есть в них своя жизнь. Ветер, ручьи, кусты... Все здесь просыпается понемногу. Но нельзя спешить. Иначе будет пустыня.

— Не будет пустыни. Будет океан, синий и безграничный, как на Земле. На это хватит растопленного льда. Будут греметь водопады. Представь, Александр: тысячи серебряных водопадов среди скал и радужного тумана. Будет и суровая природа, будет и своя красота, но еще будет жизнь. Ведь такую планету мы и искали.

— Будет океан и заросшие лесами острова, — сказал тихо Таэл.

— Откуда леса? Разрастутся черные кустики?

— Люди посадят леса!

— На камне?

— Ты не прав, Саша, — негромко сказал молчавший до сих пор Георгий. — Вспомни Антарктиду.

Снег хотел возразить, но вдруг устало сел и проговорил:

— Ладно. Разве я спорю?

— Ты примешь участие в расчетах?

— В работе — да. Но не в расчетах. Какой из меня математик?

Они работали долгое время. И с помощью автоматов и с помощью пневматических ключей. Потом вывели на орбиты четыре десантные ракеты, окруженные сетью магнитных регуляторов. Автопилотов на ракетах не было. Кар и Ларсен сами садились в ка-

бины, а потом выбрасывались в спасательных скафандрах. Так они делали дважды. Четыре ракеты со звездным горючим РЭ-202-эзаном стали как бы вершинами трехгранной пирамиды, внутри которой висела Снежная планета.

Никто не вспоминал о споре. Александр работал увлеченно. Он даже сделал расчеты, которые касались одного из искусственных солнц. Свое солнце было у каждого, кроме Кара, который взял на себя общий расчет и управление.

Когда кончился последний день работ, экипаж «Магеллана» собрался в ущелье, где была поставлена станция управления.

— Ну... боги, создающие весну... — излишне серьезно сказал Кар.

— Давай, — шумно вздохнул Таэл.

— Давать?

— Давай.

Дали сигнал.

Три экрана ослепительно вспыхнули. Потом простили на них горы и нагромождения льда, освещенные двумя или тремя солнцами. Четвертый экран бесстрастно белел непрозрачной поверхностью.

— Мое, — сказал Снег.

Четвертое солнце не зажглось.

Неизвестно, что случилось. Вероятно, была нарушена система магнитных регуляторов. Может быть, достаточно было малейшего толчка, удара метеорита-песчинки, чтобы солнце вспыхнуло через несколько секунд. Но много ли шансов, что в ракету попадет метеорит?

— Что за беда? Останется ледяная шапка, как когда-то в Антарктике... Черт возьми, а ведь получится даже здорово: снежное плоскогорье имени Снега! — воскликнул простодушный Ларсен.

— Получится великолепно, — сухо сказал Александр.

Все неловко замолчали. Никому, конечно, не могло прийти в голову, что Снег нарочно сделал непра-

вильный расчет. Он и сам это понимал. Но нужно же было так случиться, что именно его подстерегла неудача!

— Я поднимусь на ракете и реактивной струей разбью систему регуляторов, — негромко и твердо сказал Снег, когда они вернулись на «Магеллан».

— Ложимся спать, — предложил Кар.

— Ларсен, считай! — крикнул Снег. — Я докажу, что это возможно.

— Лечь спать?

— Разбить сдерживающую систему регуляторов и успеть уйти от вспышки.

Ларсен послушно сел за клавиатуру электронного мозга. Александр диктовал.

— Видите, в принципе это возможно, — произнес он, когда расчет был закончен.

— В принципе... — проворчал Ларсен. — Не вляй дурака, ты сгоришь.

— Пойдем спать, Саша, — сказал Георгий. — Все не так уж плохо.

Но все понимали, что плохо. Очень плохо...

Они истратили две трети эзана. Только через две с половиной сотни лет астронавты вернутся на Землю. Вернутся ни с чем. К тому времени холод снова зажмет Снежную планету в ледяные тиски. Когда-то еще снова прилетят сюда люди и зажгут атомные солнца? А ведь все было почти готово. Если бы не случилось ошибки, экипаж «Магеллана» принес бы на Землю известие о планете, которая пригодна для нормальной жизни. Людям нужны такие планеты — форпосты человечества в бескрайней вселенной, трамплины для новых, еще более дальних прыжков.

Ночью их разбудил громкий сигнал вызова. Усиленный приемником голос Александра произнес:

— Я в ракете. Не сердитесь, ребята, надо попробовать.

— Саша, — сказал Георгий, — мы все просим: не надо. Черт с ней, с этой планетой. Вспомни Землю.

— Ничего не случится.

— Ты сгоришь.

— Нет.

— Снег! Я приказываю вернуться! — крикнул Кар.

— Не сердись, Кар... Но все-таки капитан я.

— Ты же сам хотел, чтобы планета осталась подо льдом, — робко сказал Ларсен.

Было слышно, как Александр усмехнулся.

— Это Кар виноват. Он хорошо рассказал об океане... о водопадах, островах. А я художник. Мне захотелось написать это.

Кар тихо выругался.

— Включи видеофон, — попросил Таэл.

Снег включил. Все увидели на экране его лицо. Он насвистывал что-то, склонившись над доской управления. Кажется, был спокоен.

— Будь осторожен, — сказал Георгий.

Снег кивнул, продолжая свистеть.

— Перед самым возвращением на Землю! Зачем ты это делаешь? — с отчаянием сказал Кар. — А вдруг оно вспыхнет сразу?

— Ты же знаешь... Надо как-то... до конца.

Гул двигателя прервал разговор. Изображение качнулось, затем стало видно лицо Александра, искаленное перегрузкой. Потом ускорение исчезло, и скорость стала падать. На большой скорости Александр не мог развернуть ракету и ударить реактивной струей по регуляторам. Все молчали, не видели ничего, кроме напряженного лица Александра. Так было до того мгновения, когда экран залила ослепительная белая вспышка...

6

— Как же тебе удалось спастись? — спросил я Александра.

Он взглянул исподлобья.

— В том-то и дело... Меня зовут Георгий Рогов. Снег погиб... Ты понимаешь, что мы почувствовали, когда лоцман передал нам о мальчике? На Земле отчаянно ждал брата маленький человек. Тебе, может быть, трудно понять. Но нам, столько лет не видав-

шим Земли и людей, были хорошо знакомы тоска и ожидание. Особенно тяжело, когда знаешь, что при встрече не увидишь ни одного знакомого лица. Триста лет... Даже имен не разыщешь. И вдруг — брат... Мы понимали мальчика, его тоску по родному человеку. И очень трудно было сказать правду. Невозможно.

Таэл оказался находчивей всех. Он дал станции ответ, позволяющий оттянуть время.

«Это не выход, — сказал Ларсен. — Что мы ответим ему потом?»

«Как зовут мальчика?» — спросил я.

Кар ответил. Затем взглянул на меня как-то странно. Но в тот момент ничего не сказал:

Двигатель десантной ракеты отказал у самой Земли. Мы выбросились в спасательных скафандрах.

Было еще темно. Только начинал пробиваться синий рассвет. Я не помню всего. Пахло сырьими листьями и землей. Таэл стоял, прижавшись темным лицом к белеющему в сумраке стволу березы. Ларсен лег на землю и сказал: «Смотри-ка! Трава...»

Я смотрел в небо. В нем вдруг быстро начала разгораться ярко-желтая заря, а зенит стал чисто-синим. И мне показалось, что небо звенит. Я никогда не знал, что оно может звенеть, как миллионы тонких певучих струн. Легкое облако у меня над головой медленно налилось розовым огнем... Я вдруг почувствовал ужас. Мне показалось, что это снова мучительный сон о Земле, который каждому из нас не давал покоя на Снежной планете. Страх этот был как удар тока. Я лег на траву. Зажмурился. Вцепился в корень какого-то куста. Корень был шершавый и мокрый...

Через секунду я разжал пальцы и открыл глаза. Синее небо снова зазвенело над лесом. И сквозь этот звон я услышал, как Ларсен опять сказал: «Смотри-ка! Листья...»

Потом взошло солнце.

Вы видели, как солнце встает из травы? Это надо

смотреть лежа. Трава кажется фантастическим лесом, над которым поднимается яркое светило. Цветными искрами вспыхивают капли росы.

Нааль смотрел сквозь траву на солнце. Он помнил все, даже видел краем глаза разбитую «пчелу», но не чувствовал ни волнения, ни запоздалого страха. Все, что случилось ночью, вспоминалось, как путанный сон. Мальчик почувствовал неосуществимость своей мечты.

Когда солнце поднялось настолько, что нижний край его касался головок высоких цветов, растущих на краю лужайки, Нааль встал. Слегка кружилась голова, болело ушибленное плечо. Но ему еще повезло. Амортизаторы бросили его в мягкую траву. Нааль заснул, не попытавшись даже подняться, — настолько сильна была усталость.

Мальчик не торопясь огляделся. Спешить все равно было некуда. На сотню километров вокруг стоял лес. На ветру трепетали листья.

Вдруг кто-то за спиной у мальчика сказал радостно и удивленно:

— Смотрите-ка! Человек!

Нааль обернулся на голос и замер. Он увидел людей в синих комбинезонах, в белом переплетении широких ремней.

Чувствуя, как замирает сердце, мальчик крикнул:

— Вы с «Магеллан»!

— Нааль... — сказал смуглый и светловолосый летчик.

— Я заметил его позже других, — сказал Георгий. — И странно: мне показалось, что я знаю этого мальчика. Может быть, вспомнил самого себя, каким был в детстве?.. Он стоял, весь подавшись нам навстречу. Маленький, светлоголовый, в рубашке, порванной на плече, с сухой травинкой, прилипшей к щеке, с ссадиной на колене... Он смотрел мне в лицо. Синие-синие, широко открытые глаза. Кажется, я назвал его по имени.

Кар неожиданно и громко сказал, подтолкнув меня в плечо: «Александр, встречай брата».

— Может быть, я поступил эгоистично, — продолжал Георгий. — Но в тот момент я совсем забыл, что Нааль мне не брат. Надо понять, что значит встретить на Земле родного человека, когда вовсе этого не ждешь... Но постепенно все чаще стала приходить мысль: имел ли я на это право?

Я не понял Георгия. Тогда он сказал:

— Александр зажег солнце. Последнее, необходимое для уничтожения льдов. Сейчас там океан, острова... Имел ли я право отнять у мальчика такого брата?

— Мертвого?

— Даже мертвого.

— Георгий, — спросил я, — мне трудно судить. Может быть, у Александра были другие причины для риска? Хотел ли он вернуться? Та девушка...

Георгий скромно улыбнулся. Видимо, мой вопрос он счел просто глупым.

— Хотел. Он очень любил Землю. Кто же не хочет вернуться на Землю?

Мы замолчали.

— Он все время насвистывал какую-то старинную песенку, — вдруг сказал Георгий. — Я знаю из нее лишь несколько слов:

Пусть Земля — это только горошина
В непроглядной космической тьме...
На Земле очень много хорошего...

— Если все останется по-старому, — снова заговорил он, — будет, наверное, хуже. Я не только отнял брата у мальчика. Я отнял подвиг у Александра. Ведь никто не знает, как зажглось четвертое солнце.

— Ты отнял и у себя имя. Ведь Георгий Рогов считается погибшим.

— Мое имя не ценность.

— Тогда послушай мой совет. Ты просил его. Пусть все останется, как было. Четвертое солнце не погаснет от этого. Надо думать и о Наале.

— О нем я и думаю все время... Но как же Снег?

— Когда-нибудь люди узнают про все... Кстати, ты помнишь лишь три строчки из песенки. Я знаю больше, ведь я историк. Это песня разведчиков Венеры. Вот последний куплет:

Тот, кто будет по нашим следам идти,
Помнит путь на тропинках кривых:
Нам не надо ни славы, ни памяти,
Если звезды зажжем для живых.

— Но память об Александре, память о подвиге! То, что он сделал, — пример для живых. Может быть, и Наалю придется зажигать свое солнце.

Я взглянул на Георгия. Он ждал возражений. Он хотел их слышать, потому что они возвращали ему брата. Я сказал:

— Может быть... Но над какой планетой ему зажигать свое солнце? Научи его быть разведчиком, на то ты и брат. А солнце он зажжет сам.

Уже давно погас закат. Половина луны, опоясанная с одной стороны дугой Энергетического Кольца, низко висела над водой.

Топот ног по каменным ступеням прервал наш разговор. Впрочем, говорить больше было не о чем.

Они ушли, кивнув на прощанье. Астронавт крепко держал в руке маленькую ладонь брата.

* * *

Передо мной на листе раскрытой тетради лежит золотой значок, история которого осталась неизвестной. Мне отдал его перед нашим стартом Нааль...

Мы, археологи, идем на Леду, на ту планету, тайну которой так и не раскрыл до конца Валентин Янтарь. Мы вернемся не скоро.

Может быть, и меня на Земле через восемьдесят лет встретит среди многих один, не знакомый пока человек, — большой или маленький, все равно. И скажет своим друзьям:

— Я иду встречать брата!

О СТРАНСТВУЮЩИХ И ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ

Вода в глубине была не очень холодная, но я все-таки замерз. Я сидел на дне под самым обрывом и целый час осторожно ворочал головой, всматриваясь в зеленоватые мутные сумерки. Надо было сидеть неподвижно, потому что септоподы — животные чуткие и недоверчивые, их можно отпугнуть самым слабым звуком, любым резким движением, и тогда они уйдут и вернутся только ночью, а ночью с ними лучше не связываться.

Под ногами у меня копошился угорь, раз десять проплывал и снова возвращался важный полосатый окунь. И каждый раз он останавливался и таращил на меня бессмысленные круглые глаза. Стоило ему уплыть — и появилась стайка серебристой мелочи, устроившая у меня над головой пастбище. Колени и плечи у меня окоченели совершенно, и я беспокоился, что Машка меня не дождется и полезет в воду искать и спасать. Я в конце концов до того отчетливо представил себе, как она сидит одна у самой воды и ждет, и как ей страшно, и как хочется нырнуть и отыскать меня, что совсем было решился вылезать, но тут, наконец, из зарослей шагах в двадцати справа выплыл септопод.

Это был довольно крупный экземпляр. Он появился бесшумно и сразу, как привидение, окружным се-

рым туловищем вперед. Белесая мантия мягко, как-то расслабленно и безвольно пульсировала, вбиная и выталкивая воду, и он слегка раскачивался на ходу с боку на бок. Концы подобранных рук, похожие на обрывки большой старой тряпки, волочились за ним, и тускло светилась в сумраке щель прикрытоего веком глаза. Он плыл медленно, как и все они в дневное время, в странном жутковатом оцепенении, неизвестно куда и непонятно зачем. Вероятно, им руководили самые примитивные и темные побуждения, те же, может быть, что управляет движениями амебы.

Очень плавно я поднял метчик и повел стволов, целясь в раздутую спину. Серебристая мелочь вдруг метнулась и пропала, и мне показалось, что веко над громадным остекленелым глазом дрогнуло. Я спустил курок и сразу же оттолкнулся от дна, спасаясь от едкой сепии. Когда я снова взглянул, септопода уже не было видно, только плотное иссиня-черное облако расходилось по воде, заволакивая дно. Я вынырнул на поверхность и поплыл к берегу.

День был жаркий и ясный, над водой висела голубая парная дымка, а небо было пустое и белое, только из-за леса поднимались, как башни, неподвижные сизые груды облаков.

В траве перед нашей палаткой сидел незнакомый человек в пестрых плавках и с повязкой через лоб. Он был загорелый и не то чтобы мускулистый, но какой-то невероятно жилистый, словно переплетенный канатами под кожей. Сразу было видно: до невозможности сильный человек. Перед ним стояла моя Машка в синем купальнике — длинноногая, черная, с копной выгоревших волос над острыми позвонками. Нет, она не сидела над водой, ожидая в тоске своего папу, — она что-то азартно рассказывала этому жилистому дядьке, вовсю показывая руками. Мне даже стало обидно, что она и не заметила моего появления. А дядька заметил. Он быстро повернул голову, всмотрелся и, заулыбавшись, потряс раскрытой ладонью. Машка обернулась и обрадованно заорала:

— А, вот он ты!

Я вылез на траву, снял маску и вытер лицо. Дядька улыбался, разглядывая меня.

— Сколько пометил? — спросила Машка деловито.

— Одного. — У меня сводило челюсти.

— Эх, ты! — сказала Машка.

Она помогла мне снять аквастат, и я растянулся на траве.

— Вчера он двух пометил, — пояснила Машка. — Позавчера четырех. Если так будет, лучше прямо перебираться к другому озеру, — она взяла полотенце и принялась растирать мне спину. — Ты похож на свежемороженого гусака, — объявила она. — А это Леонид Андреевич Горбовский. Он астроархеолог. А это, Леонид Андреевич, мой папа. Его зовут Станислав Иванович.

Жилистый Леонид Андреевич покивал улыбаясь.

— Замерзли? — сказал он. — А у нас здесь так хорошо — солнце, травка...

— Он сейчас отойдет, — сказала Машка, растирая меня изо всех сил. — Он вообще веселый, только замерз сильно...

Было ясно, что она тут про меня наговорила всякого и теперь изо всех сил поддерживает мою репутацию. Пусть поддерживает. У меня не было времени этим заниматься — я стучал зубами.

— Мы с Машей здесь очень за вас беспокоились, — сказал Горбовский. — Мы даже хотели за вами нырять, но я не умею. Вот вы, наверное, даже не можете представить себе человека, которому ни разу не приходилось нырять на работе... — Он опрокинулся на спину, повернулся на бок и подперся рукой. — Завтра я улетаю, — сообщил он доверительно. — Просто не знаю, когда мне снова случится полежать на травке у озера, и чтобы была возможность понырять с аквастатом...

— Валяйте, — предложил я.

Он внимательно посмотрел на аквастат и потрогал его.

— Обязательно, — сказал он и лег на спину. Он заложил руки под голову и смотрел на меня, медлен-

но помаргивая редкими ресницами. Было в нем что-то непобедимо располагающее. Не знаю даже, что именно. Может быть, глаза — доверчивые и немного печальные. Или то, что ухо у него оттопыривалось из-под повязки как-то очень уж потешно. Насмотревшись на меня, он перевел глаза и уставился на синюю стрекозу, качающуюся на травинке. Губы у него нежно вытянулись дудкой. — Стрекозочка! — произнес он. — Стрекозулечка... Синяя... Озерная... Красавица... Сидит себе аккуратненько, смотрит, кого бы слопать... — Он протянул руку, но стрекоза сорвалась с травинки и по дуге ушла к камышам. Он проводил ее глазами, а потом снова улегся. — Как это сложно, друзья мои, — сказал он, и Машка тотчас села и впилась в него круглыми глазами. — Ведь совершенна, изящна и всем довольна! Скушала муху, размножилась, а там и помирать пора. Просто, изящно, рационально. И нет тебе ни духовного смятения, ни любовных мук, ни самосознания, ни смысла бытия...

— Машина, — сказала вдруг Машка. — Скучный кибер!

Это моя-то Машка! Я чуть не захочотал, но сдержался, только засопел, кажется, и она посмотрела на меня с неудовольствием.

— Скучный, — согласился Горбовский. — Именно. А теперь представьте себе, товарищи, стрекозу ядовито-желто-зеленую, с красными поперечинами, размах крыльев семь метров, на челюстях черная гадкая слизь... Представили? — Он задрал брови и посмотрел на нас. — Вижу, что не представили. Я от них бегал без памяти, а у меня ведь было оружие... Вот и спрашивается, что у них общего, у этих двух скучных киберов?

— Эта зеленая, — спросил я, — с другой планеты, вероятно?

— Несомненно.

— С Пандоры?

— Именно с Пандоры, — сказал он.

— Что у них общего?

— Да. Что?

— Это же ясно, — сказал я. — Одинаковый уро-

вень переработки информации. Реакция на уровне инстинкта.

Он вздохнул.

— Слова, — сказал он. — Правда, вы не сердитесь, но это же только слова. Это же мне не поможет. Мне надо искать следы разума во вселенной, а я не знаю, что такое разум. А мне говорят о разных уровнях переработки информации. Я ведь знаю, что этот уровень у меня и у стрекозы разный, но ведь это все интуиция. Вы мне скажите: вот я нашел термитник, — это следы разума или нет? На Леониде нашли здания без окон, без дверей — это следы разума? Что мне искать? Развалины? Надписи? Ржавые гвозди? Семигранную гайку? Откуда я знаю, какие они оставляют следы? Вдруг у них цель жизни — уничтожать атмосферу везде, где ни встретят?.. Или строить кольца вокруг планет. Или гибридизировать жизнь. Или создавать жизнь. А может быть, эта стрекоза и есть в незапамятные времена запущенный в самопроизводство кибернетический аппарат? Я уж не говорю о самих носителях разума. Ведь можно же двадцать раз пройти мимо и только нос воротить от скользкого чучела, хрюкающего в луже. А чучело рассматривает тебя прекрасными желтыми бельмами и размышляет: «Любопытно. Несомненно, новый вид. Следует вернуться сюда экспедицией и выловить хоть один экземпляр...»

Он прикрыл глаза ладонью и задудел песенку. Машка ела его глазами и ждала. Я тоже ждал и думал с сочувствием: плохо работать, когда задача не поставлена четко. Трудно работать. Брёдешь как впотьмах, и нет тебе ни радости, ни удовольствия. Слышал я об этих астроархеологах. Нельзя было к ним относиться серьезно. Никто и не относился.

— А разум в космосе есть, — сказал вдруг Горбовский. — Это несомненно. Уж теперь-то я знаю, что есть. Но он не такой, как мы думаем. Не тот, которого мы ждем. И ищем мы его не там. Или не так. И попросту не знаем мы, что ищем...

«Вот именно, — подумал я. — Не тот, не там, не так... Это же не серьезно, товарищи... Ребячество

сплошное — искать следы идей, носившихся некогда в воздухе».

— Вот, например, Голос Пустоты, — продолжал он. — Слыхали? Наверное, нет. Полсотни лет назад об этом писали, а теперь уж и не пишут. Потому что, видите ли, нет никаких сдвигов, а раз нет сдвигов, то, может, и Голоса-то нет? У нас ведь хватает этих зябликов — сами в науке разбираются плохо от лености или там плохого воспитания, но понаслышке знают, что человек-де всемогущ. Всемогущ, а в Голосе Пустоты разобраться не может. Ай-яй-яй, стыдно, нельзя, не будем... Этакий дешевенький антропоцентризм...

— А что это такое — Голос Пустоты? — спросила Машка тихонько.

— Есть такой любопытный эффект. На некоторых направлениях в космосе. Если включить бортовой приемник на автонастройку, то рано или поздно он настроится на странную передачу. Раздается голос, спокойный и равнодушный, и повторяет одну и ту же фразу на рыбьем языке. Много лет его ловят, и много лет он повторяет одно и то же. Я слышал его, и многие слышали, но немногие рассказывают. Это не очень приятно вспоминать. Ведь расстояние до Земли невообразимое. Эфир пуст — даже помех нет, только слабые шорохи. И вдруг раздается этот голос. А ты на вахте — один. Все спят, тихо, страшно, — и этот голос. Да, неприятно, честное слово. Существуют записи этого голоса. Многие бились над дешифровкой и боятся сейчас, но, по-моему, это бессмысленно... Есть и другие загадки. Звездолетчики многое могли бы порассказать, только они не любят... — Он помолчал и добавил с какой-то печальной настойчивостью: — Это надо понять. Это не просто. Ведь мы даже не знаем, чего ждать. Они могут встретиться с нами в любую минуту. Лицом к лицу. И — вы понимаете — они могут оказаться неизмеримо выше. Толкуют о столкновениях и конфликтах, о всяком там различном понимании гуманности и добра, а я не этого боюсь. Боюсь небывалого унижения человечества, гигантского психологического шо-

ка. Ведь мы такие гордые. Мы создали такой замечательный мир, мы знаем так много, мы вырвались в Большую вселенную, мы там открываем, изучаем, исследуем — что? Для них эта вселенная — дом родной. Миллионы лет они живут в ней, как мы живем на Земле, и только удивляются на нас: откуда такие появились среди звезд?..

Он вдруг замолчал и рывком поднялся, прислушиваясь. Я даже вздрогнул.

— Это гром, — тихонько сказала Машка. Она смотрела на него, приоткрыв рот. — Гром... Гроза будет скоро...

Он все прислушивался, шаря глазами по небу.

— Нет, это не гром, — проговорил он, наконец, и снова сел. — Лайнер. Вон видите?

На фоне сизых туч сверкнула и пропала блестящая полоска. И снова слабо громыхнуло в небе.

— Вот и сиди теперь, жди, — сказал он непонятно. Он посмотрел на меня, улыбаясь, а в глазах были печаль и напряженное ожидание. Потом все пропало, и глаза стали прежними, доверчивыми.

— А вы чем занимаетесь, Станислав Иванович? — спросил он.

Я решил, что ему захотелось переменить тему, и стал рассказывать про септоподов. Что они относятся к подклассу двужаберных класса головоногих моллюсков и представляют особую, неизвестную ранее трибу отряда восьминогих. Характеризуются они редукцией третьей левой руки, парной к третьей правой гектокотилизированной, тремя рядами присосок на руках, полным отсутствием целома, необычайно мощным развитием венозных сердец, максимальной для головоногих концентрацией центральной нервной системы и некоторыми другими, не столь значительными особенностями. Впервые их обнаружили недавно, когда отдельные особи появились у восточных и юго-восточных берегов Азии. А спустя год их стали находить в нижнем течении великих рек — Меконга, Янцзы, Хуанхэ и Амура, а также в озерах довольно далеко от океанского побережья — например, вот в этом озере. И это поразительно, потому что обык-

новенно головоногие в высшей степени стеногалинны и избегают даже арктических вод с их пониженной соленостью. И они почти никогда не выходят на сушу. Но факт остается фактом: септоподы превосходно чувствуют себя в пресной воде и выходят на сушу. Они забираются в лодки и на мосты, а недавно двоих обнаружили в лесу, километрах в тридцати отсюда...

Машка меня слушать не стала. Я это ей все уже рассказывал. Она пошла в палатку, принесла оттуда «голосок» и включила автономную установку. Видимо, ей было невтерпеж поймать Голос Пустоты.

А Горбовский слушал очень внимательно.

— Эти двое были живы? — спросил он.

— Нет, их нашли мертвыми. Здесь в лесу — заповедник. Септоподов затоптали и наполовину съели дикие кабаны. Но в тридцати километрах от воды они еще были живы! Мантийная полость обоих была набита влажными водорослями. Видимо, так септоподы создают некоторый запас воды для переходов по суше. Водоросли были озерные. Септоподы, несомненно, шли от этих вот озер дальше, на юг, в глубь суши. Следует отметить, что все пойманные до сих пор особи были взрослыми самцами. Ни одной самки, ни одного детеныша. Вероятно, самки и детеныши не могут жить в пресной воде и выходить на сушу.

Все это очень интересно, — сказал я. — Ведь, как правило, океанские животные резко меняют образ жизни только в периоды размножения. Тогда инстинкт заставляет их уходить в совершенно непривычные места. Но здесь не может быть и речи о размножении. Здесь какой-то другой инстинкт, может быть, еще более древний и мощный. Сейчас для нас главное — проследить пути миграций. Вот я и сижу на этом озере по десять часов в сутки под водой. Сегодня пометил одного. Если повезет — до вечера помечу еще одного-двух. А ночью они становятся необычайно активны и хватают все, что к ним приближается. Были даже случаи нападения на людей. Но только ночью.

Машка запустила приемник на полную мощность и наслаждалась могучими звуками.

— Потише, Маша, — попросил я.

Она сделала потише.

— Значит, вы их метите, — сказал Горбовский. — Забавно. Чем?

— Генераторами ультразвука. — Я вытащил из метчика обойму и показал ампулу. — Вот такими пульками. В пульке — генератор, прослушивается под водой на двадцать-тридцать километров.

Он осторожно взял ампулу и внимательно осмотрел ее. Лицо его стало печальным и старым.

— Остроумно, — пробормотал он. — Просто и остроумно...

Он все вертел в пальцах, словно ощупывая, ампулу, потом положил ее передо мной на траву и поднялся. Движения его стали медленными и неуверенными. Он отошел в сторону к своей одежде, разворожил ее, нашел брюки и застыл, держа их перед собой.

Я следил за ним, ощущая смутное беспокойство. Машка держала наготове метчик, чтобы рассказать, как с ним обращаться, и тоже следила за Горбовским. Углы губ ее скорбно опустились. Я давно заметил, что у нее это часто бывает: выражение лица становится таким же, как у человека, за которым она наблюдает.

Леонид Андреевич вдруг заговорил очень негромко и с какой-то насмешкой в голосе:

— Забавно, честное слово... До чего же отчетливая аналогия. Века они сидели в глубинах, а теперь поднялись и вышли в чужой, враждебный им мир... И что же их гонит? Темный древний инстинкт, говорите? Или способ переработки информации, поднявшейся до уровня нестерпимого любопытства? А ведь лучше бы ему сидеть дома, в соленой воде, но тянет что-то... тянет его на берег... — Он встрепенулся и принялся натягивать брюки. Брюки у него были старомодные, длинные. Натягивая их, он запрыгал на одной ноге. — Правда, Станислав Иванович, ведь это, надо думать, не простые головоногие, а?

— В своем роде, конечно, — согласился я.

Он не слушал. Он повернулся к приемнику и уставился на него. И мы с Машкой тоже уставились на приемник. Из приемника раздавались мощные неблагозвучные сигналы, похожие на помехи от рентгеновской установки. Машка положила метчик.

— Шесть и восемь сотых метра, — сказала она растерянно. — Какая-то станция обслуживания, а что?

Он прислушивался к сигналам, закрыв глаза и наклонив голову набок.

— Нет, это не станция обслуживания, — проговорил он. — Это я.

— Что?

— Это я. Я подаю. Я — Леонид Андреевич Горбовский.

— З-зачем?

Он засмеялся без всякой радости.

— Действительно — зачем? Очень хотел бы я знать — зачем? — Он натянул рубашку. — Зачем три пилота и их корабль, вернувшись из рейса ЕН 101—ЕН2657, сделались источниками радиоволн с длиной волны шесть и восемьдесят три тысячных?

Мы с Машкой, конечно, молчали. И он замолчал, застегивая сандалии.

— Нас исследовали врачи. Нас исследовали физики. — Он поднялся и отряхнулся с брюк песок и травинки. — Все пришли к единственному выводу: это невозможно. Можно было умереть от смеха, глядя на их удивленные лица. Но нам было, честное слово, не до смеху. Толя Обозов отказался от отпуска и улетел на Пандору. Он заявил, что предпочитает излучать подальше от Земли. Валькенштейн ушел работать на подводную станцию. Один я вот брожу и излучаю. И чего-то все время жду. Жду и боюсь. Боюсь, но жду. Вы понимаете меня?

— Не знаю, — сказал я и покосился на Машку.

— Вы правы, — сказал он. Он взял приемник и задумчиво приложил его к оттопыренному уху. — И никто не знает. Вот уже целый месяц. Не ослабевая, не прерываясь. Уа-уи... Уа-уи... Днем и ночью.

Радуемся мы или горюем. Сыты мы или голодны. Работаем или бездельничаем. Уа-уи... А излучение «Тариеля» падает. «Тариель» — это мой корабль. Его теперь поставили на прикол. На всякий случай. Его излучение забивает управление какими-то агрегатами на Венере, оттуда шлют запросы, раздражаются... Завтра я уведу его подальше... — Он выпрямился и хлопнул себя длинными руками по бедрам. — Ну, мне пора. До свидания! Желаю вам удачи. До свидания, Машенька! Не ломай над этим голову. Это очень не простая загадка, честное слово.

Он поднял руку раскрытой ладонью вверх, кивнул и пошел — длинный, угловатый. Мы смотрели ему вслед. У палатки он остановился и сказал:

— Знаете... Вы как-нибудь поделикатнее все-таки с этими септоподами... А то так вот — метишь, метишь, а ему, меченому, одни неприятности.

И он ушел. Я полежал немного животом вниз, затем поглядел на Машку. Машка все смотрела ему вслед. Сразу было видно, что Леонид Андреевич произвел на нее впечатление. А на меня нет. Меня совсем не трогали его соображения о том, что носители Мирового Разума могут оказаться неизмеримо выше нас. Пусть себе оказываются. По-моему, чем выше они будут, тем меньше у нас шансов оказаться у них на дороге. Это как плотва, для которой нипочем сеть с крупными ячейками. А что касается гордости, унижения, шока... Вероятно, мы переживем это. Я-то уж как-нибудь пережил бы. И то, что мы открываем для себя и изучаем давно обжитую ими вселенную — ну и что же? Для нас-то ведь она не обжита! А они для нас всего-навсего часть природы, которую тоже предстоит открыть и изучить, будь они хоть трижды выше нас... Они для нас внешние! Хотя, разумеется, если бы меня, например, пометили, как я мечу септоподов...

Я взглянул на часы и поспешил сел. Пора было вернуться к делам. Я записал номер последней ампулы. Проверил аквастат. Слазил в палатку, нашел ультразвуковой локатор и положил его в карман плавок.

— Помоги мне, Маш, — сказал я и стал натягивать аквастат.

Машка все сидела перед приемником и слушала незатихающее «уа-уи». Она помогла мне надеть аквастат, и мы вместе вошли в воду. Под водой я включил локатор. Запели сигналы — это мои меченные сонно бродили по озеру. Мы значительно посмотрели друг на друга и вынырнули. Машка отплевалась, убрала мокрые волосы со лба и сказала:

— Да ведь есть же разница между звездным кораблем и мокрой тиной в жаберном мешке...

Я велел ей вернуться на берег и снова нырнул. Нет, на месте Горбовского я так не волновался бы. Все это слишком несерьезно. Как и вся его астроархеология. Следы идей... Психологический шок... Не будет никакого шока. Скорее всего, мы просто не заметим друг друга. Ну, на что мы им, скажите на милость?

КОГДА ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ...

Эти ежегодные встречи мы называли «капустниками» в память о далеких призрачных временах, когда мы были студентами. Уже стоит на Ленинских горах университет, и пятиэтажный ковчег физфака давно обжит новыми поколениями будущих Ломоносовых и Эйнштейнов, физики и лирики давно спорят в благоустроенном зале с звуконепроницаемыми стенами, а мы не можем забыть сводчатые подвальчики под старым клубом МГУ на улице Герцена. И каждый год мы собираемся здесь, смотрим друг на друга и ведем учет, кто есть, а кого уже нет. Здесь мы разговариваем про жизнь и про науку. Как и тогда, давным-давно...

Так было и на этот раз, но только разговор почтум-то не клеился. Никто не высказал ни одной интересной идеи, никто не возразил тому, что было высказано, и мы вдруг почувствовали, что последняя интересная встреча состоялась в прошлом году.

— Мы вступили в тот прекрасный возраст, когда идеи и взгляды, наконец, обрели законченную форму и законченное содержание, — с горькой иронией объявил Федя Егорьев, доктор наук, член-корреспондент Академии.

— Веселенькая история, — заметил Вовка Мигай, директор одного «хитрого» института. — А что ты называешь законченным содержанием?

— Это когда к тому, что есть, уже ничего нельзя прибавить, — мрачно пояснил Федя. — Дальше начнется естественная убыль, а вот прибавления никакого. Интеллектуальная жизнь человека имеет ярко выраженный максимум. Где-то в районе сорока пяти...

— Можешь не пояснять, знаем без твоих лекций. А вообще-то, ребята, я просто не могу поверить в то, что уже не способен воспринимать ничего нового, ни одной новой теории, ни одной новой науки. Просто ужас!

Леонид Самозванцев, кругленький маленький физик с уникальной манерой говорить быстро, проглатывая окончания и целые слова, вовсе не походил на сорокапятилетнего мужчину. При всяком удобном случае ему об этом напоминали.

— Тебе, Ляля, жутко повезло. Ты был болезненным ребенком с затяжным инфантлицизмом. Ты еще можешь не только выдумать новую теорию пространства-времени, но даже выучить старую.

Все засмеялись, вспомнив, что Ляля, то бишь Леня, сдавал «относительность» четыре раза.

Самозванцев быстро отхлебнул из своей рюмки.

— Не беспокойтесь, никаких новых теорий не будет.

— Это почему же? — спросил Мигай.

— Не то время и не то воспитание.

— Что-то не понятно.

— Я не совсем правильно выразился, — начал пояснять Ляля. — Конечно, новые теории будут, но, так сказать, в плане уточнения старых теорий. Вроде как вычисление еще одного десятичного знака числа «пи» или прибавление к сумме еще одного члена бесконечной прогрессии. А чтобы создать что-то совершенно новое — ни-ни...

Самозванцев сделал ударение на слове «совершенно»...

Услышав, что у нас завязывается разговор, к нам начали подходить ребята из разных углов низенькой, но широкой комнаты.

— Тогда определи, что ты называешь «совершенно новой теорией».

— Ну, например, электромагнитная теория света по отношению к эфирной теории.

— Ха-ха, — как бы очнувшись от дремоты, громыхнул Георгий Сычев. Он поднял алюминиевый костыль — грустный сувенир войны — и, ткнув им Лялю в бок, обратился ко всем сразу: — Этот физик хочет нам сказать, что Максвелл не есть следующий член бесконечной прогрессии после Юнга. Ха-ха, батенька! Давай новый пример, а то я усну.

— Ладно. Возьмем Фарадея. Он открыл электромагнитную индукцию...

— Ну и что?

— А то, что это открытие было революционным, оно сразу объединило электричество и магнетизм, на нем возникла электротехника.

— Ну и что? — продолжал настаивать Сычев. Как большинство безногих, он был склонен к полноте. Сейчас он был просто толстым, с рыхлым, сильно состарившимся лицом.

— А то, что Фарадей не имел никакого понятия о твоем Юнге и его упругом эфире. И ни о каком Максвелле. Это Максвелл затолкал Фарадея в свои уравнения.

Сычев закинул голову и неестественно захохотал.

— Перестань ржать, Жорка! — прикрикнул на него Мигай. — Что-то в Лялиных словах есть. Говори дальше, Ляля, не обращай на него внимания.

— Я уверен, если бы Фарадей был умным, ну, хотя бы таким, как мы...

Ребята вокруг весело загалдели.

— Не смейтесь, если бы он был таким умным, он бы не сделал ни одного открытия...

Все мгновенно утихли и уставились на Самозванцева. Он растерянно бегал глазами, держа рюмку у самых губ.

— В методе тыка что-то есть. У нас в институте работает целая группа толковых парней и девчат. Они никогда не лезут в журналы для того, чтобы найти там намек на решения задачи. Они просто

пробуют. Делают и так и сяк, как попало. Вроде Фарадея.

— Вот видишь! У них что-нибудь получается?

— Представьте себе, да. И, нужно сказать, самые оригинальные решения получаются именно у них...

Наш членкор не выдержал.

— Вас поведо. Сейчас вы начнете доказывать, что научной работой лучше всего заниматься, ничего не зная. У физиков всегда есть склонность поиграть в парадоксы. Но сейчас не тот возраст...

— Надоел ты со своим возрастом. Пусть говорит Ляля. Значит, Фарадей, говоришь, работал методом тыка?

— Конечно. Он был просто любознательным парнем. А что будет, если по магниту стукнуть молотком? А что будет, если его нагреть докрасна? А будут ли светиться у кошеч глаза, если ее подержать голодной? И так далее. Самые нелепые «а что будет, если...». И вот, задавая себе кучу вопросов, он отвечал на них при помощи эксперимента. Поэтому он и открывал тьму всяких явлений и эффектов, которые дальше оформили в новые теории. А вот нам, умным, кажется, что больше не существует никаких «а что будет, если...». У нас теория на первом плане...

— Ну-да, — неопределенно промычал членкор и отошел в сторону. За ним пошло еще несколько человек.

— Придется поддерживать «тыкачей», — грустно усмехнувшись, сказал Вовка Мигай. — А вдруг среди них объявитя Фарадей...

— Есть очень простой способ обнаружить Фарадея, — вмешался в разговор Николай Завойский, наш выдающийся теоретик, тоже доктор и тоже членкор. Мы всегда его недолюбливали за его чересчур аристократические манеры.

— Ну-ка, выкладывай твой способ выявить Фарадея.

— Нужно объявить всесоюзный конкурс на наилучшее «а что будет, если...». Участники конкурса сами себе задают вопросы и сами отвечают. Конечно, при помощи эксперимента. Так вот, «фарадеевским»

вопросом будет тот, на который современная теория ответа дать не может.

Идея всем понравилась, и вскоре до сих пор неразговорчивые физики оживились и начали «играть в Фарадея». «А что будет, если?..» — послышалось с разных концов зала, а после народ собрался вместе, и игра приняла бурный и веселый характер. Сами задавали самые дикие вопросы и сами же на них отвечали.

— А что будет, если кашалоту надеть очки?

— А что будет, если в коровьем молоке сварить метеор?

— А что будет, если сквозь человека пропустить импульс тока в миллион ампер за миллионную долю секунды?

— А что будет, если...

Вопросы сыпались непрерывно. Отвечали на них все сразу. Пошли вычисления, уравнения, ссылки на источники, в общем был привлечен весь арсенал физических знаний, и вскоре выяснилось, что задать «фарадеевский» вопрос очень трудно, но можно. И черт возьми, таким вопросом почти всегда оказывался тот, над решением которого как раз и билась современная физика. Ляля Самозванцев, заваривший эту кутерьму, разочарованно вздохнул.

— А я-то думал, что мы войдем в ходатайство перед президиумом Академии о создании НИИ фарадеевских исследований.

— Ребята, а вы помните Алешку Монина? Ведь мы его на курсе так и называли — Фарадей!

Мы стихли. Все взоры обратились на Шуру Корневу, главного организатора нынешнего «капустника». Рыжая, веснушчатая, она никогда не пыталась казаться красивой.

— Шуренок, почему среди нас нет Алика?

— Ребята, сегодня он не может.

— Почему?

— У него ночное дежурство в клинике... Кроме того, он сказал...

— Что?

— Он сказал, что ему неловко посещать наши ве-

чера. Там, говорит, собираются академики, в крайнем случае кандидаты, а я... В общем понимаете...

В общем мы понимали. Мы считали, что Монину крупно не повезло и виноват он в этом сам. Достаточно было посмотреть, как он выполнял лабораторные работы по физике, чтобы убедиться, что ничего путного из него не получится. Вместо того чтобы, как положено, снять частотную характеристику генератора, он усаживался у осциллографа и часами любовался дикими фигурами, которые выписывал электронный луч. «Алик, заэкранируй провода, иначе ничего не выйдет...» — «Это и дурак знает, что если заэкранировать провода, то все получится. А вот что будет, если они не заэкранированы?» — «Чудак, обычновенные наводки. Сетевой ток, рентгеновская установка в соседней лаборатории...» Алик таинственно улыбался и экранировал провода. Фигуры на экране изменялись, но оставались такими же дикими. «Ты плохо заэкранировал. Закрой крышку прибора». Он закрывал, но положение нисколько не улучшалось. «Заземли корпус». Он заземлял, и картина становилась еще хуже. Ни у кого другого не получалось так, как у Алика. Вместо того чтобы найти характеристику генератора, он исписывал толстенную kleenчатую тетрадь. Его отчет о проделанной работе читался как фантастическая повесть о странном поведении генератора, когда он заэкранирован, когда не заэкранирован, когда усиительную лампу обдувает воздух от вентилятора и когда на ней лежит мокрая тряпка. В конце концов все окончательно запутывалось, и ему ставили очередной «незачет».

У нас в общежитии на Стромынке всегда было проблемой, как бы побыстрее умыться. Студенты любили спать и в семь утра мчались к умывальникам все сразу. Там начиналась жуткая толчея.

Однажды Монин стал организатором коллективного опоздания на лекции. Стояла большая очередь к умывальнику, а он склонился над раковиной и что-то колдовал.

— Фарадей, ты что, уснул?

— Нет. Вот посмотри...

Раковина засорилась, в ней почти до краев стояла мутная вода. Алька бросил на воду щепотку зубного порошка, и комочки быстро разбежались по сторонам.

— Подумаешь! Поверхностное натяжение...
Отойди...

Алик и не думал отходить.

— А вот теперь смотри...

Он снова бросил в воду щепотку порошка, но на этот раз частички бросились навстречу друг другу и собрались кучкой. Мы остолбенели.

— А ну, сделай еще...

Он повторил опыт. Оказывается, если сбрасывать порошок с одной высоты, то он разбегается, если с другой — собирается в кучу.

Физики от первого до пятого курсов позатыкали в раковинах отверстия и стали сыпать на воду зубной порошок. Будущий членкор Федя Егорьев экспериментировал с табаком, вытряхнутым из папиросной гильзы. Элегантный теоретик Завойский принес три сорта пудры и присыпку от потения ног. Притянули толченый сахар, соль, серу от спичек, порошки от головной боли и еще черт знает что. В туалете водворилась напряженная исследовательская атмосфера. Порошки вели себя самым чудовищным образом. На поверхности воды они собирались в комки, разбегались по краям раковины, тонули, после вновь всплывали, кружились на месте, образовывали туманности и планетные системы, бегали по прямой линии и даже подпрыгивали. И все это зависело от высоты, с которой их сбрасывали, от того, как их сбрасывали, от уровня воды в раковине, есть ли в воде мыло или нет, и бросали ли раньше в воду другие порошки. Все, что знали физики о поверхностном натяжении еще со второго курса, рухнуло, как карточный домик, здесь, в туалетной комнате, и виновным в этом был Алешка Монин.

— Жаль, что его здесь нет. Любопытный парень, — вздохнул Федя Егорьев. — Настоящий Фарадей. Только не удавшийся.

— Наверное, задавал себе не те вопросы...

— Товарищи, а что будет, если... я не приду во-
время домой?

Был час ночи. Мы расхохотались. Это сказал Абрам Чайтер, атомник-любитель, как мы его назы-
вали за страсть публиковать популярные статьи по атомной физике. Специальность у него была совсем
другая. Всем было известно, что у Абрама очень
ревнивая жена.

— Дети потеряют любимого писателя про вой-
ну, — сказал Ляля.

Мы стали одеваться и расходиться.

На улице моросил дождик. Движение стихло.
Прощаясь, ребята торопились к стоянкам такси.
У входа в клуб задержались четверо: Федя Егорьев,
Вовка Мигай, Ляля Самозванцев и я. Несколько ми-
нут мы молча курили.

— Здесь в наше время ходил трамвай, — сказал Федя. — Однажды я застал Алика на этом самом
месте с поднятой вверх головой. Знаете, что он на-
блюдал, наверное, часа два?

Мы не знали.

— Цвет искры между трамвайной дугой и прово-
локой. Он мне сказал, что стоит здесь уже целую не-
делю и что есть связь между цветом искры и погодой.
Совсем недавно я прочитал об этом, как об откры-
тии...

— А не навестить ли нам его сейчас? — предло-
жил я. — Неудобно как-то... Мы собираемся, а он на
отшибе...

— Идея. Пошли, — откликнулся Федя.

Мы всегда очень любили Федю за его решитель-
ность. И сейчас, много лет спустя, он остался таким
же. Высокий, тощий, он быстро зашагал по проспек-
ту Маркса в сторону улицы Горького. У гостини-
цы «Националь» мы остановились. Членкор ска-
зал:

— Пойду куплю в ресторане бутылку вина.

Федя знал ход в буфет через кухню. Он скрылся
в темной подворотне и через несколько минут мы

услышали, как кто-то, наверное дворник или повар, кричал ему вслед:

— Пьяницы несчастные! Мало вам дня! Лезет через запрещенное помещение!

Но задача была выполнена. Вскоре такси мчало нас в другой конец города, где работал Алик Монин.

Больница помещалась в большом парке. Мы расстались с такси у ворот и пошли по мокрой асфальтовой дорожке между высокими кустарниками и деревьями. Моросил весенний дождик, и молодые листья, как светляки, трепетали в лучах электрических фонарей. Мигай громко и вдохновенно рассказывал, как ему удалось наблюдать в пузырьковой камере треки К-мезонов и процесс рождения резонансных частиц. Самозванцев хвастался своим квантовым генератором, для которого все необходимое можно купить в любой аптеке, а Федя назвал их «чижиками», потому что их штучки не шли ни в какое сравнение с его универсальной машиной, которая вчера обыграла его в шахматы. На мгновение мы остановились. Дорожку переходили два санитара с носилками, закрытыми простыней.

— Этому до форточки наши генераторы и резонансные частицы, — вздохнул Мигай. — Там, наверное, морг...

Мы посмотрели на невысокое здание с колоннами. На сером фронтоне четко выступал барельеф, изображавший борьбу римских воинов с галлами.

— Все-таки унизительно в конце концов попасть в эту организацию, — заметил Ляля.

— Не рентабельная, но не закроют...

До здания нейрохирургического отделения мы дошли молча.

Алик Монин встретил нас растерянно и смущенно. На нем был незастегнутый халат, в руках он вертел вечную ручку, которая мешала ему пожать наши руки.

— Слушай, ты совсем доктор, я имею в виду, лекарь! — рявкнул Мигай.

Уточнение было совсем некстати. На стыке двух

наук — медицины и физики — титул «доктор» звучит очень двусмысленно. Алик совсем стушевался. Мы пошли за ним по затемненному коридору. Он только шептал:

— Теперь сюда, мальчики. Сюда. Наверх. Направо...

— Громко говорить не полагается, — назидательно сказал Федя, обращаясь к басистому Мигаю.

В небольшом кабинете, освещенном только настольной лампой, мы расселись вокруг письменного стола. Федя вытащил из карманов две бутылки «Цинандали» и торжественно поставил перед смущенным Мониным.

— Ух вы, черти полосатые! — вполголоса восхликал он. — С «капустника»?

— Точно. Болтали о Фарадее, вспомнили тебя. Ты чего прячешься?

— Да нет, что вы... Я сейчас...

Алик скрылся в коридоре, и мы принялись рассматривать кабинет дежурного врача. Ничего особенного. Шкафы вдоль стен, забитые бумагами, наверное — историями болезней, сбоку какой-то прибор, у раковины столик со склянками. И письменный стол.

Федя взял со стола книжку и шепотом прочитал:

— «Электросон». Физика заползает и сюда.

— Не хотел бы я заниматься физикой здесь... — невнятно пробормотал Самозванцев. — Физика — и морг по соседству. Как-то не вяжется...

— Может быть, физика когда-нибудь посодействует закрытию этой нерентабельной организации.

Алик вошел бесшумно, неся целую охапку химических мензурок самых различных размеров.

— Случай, когда размер сосуда не имеет значения, — сказал членкор. — Все с делениями.

Разлили.

— За двадцать пять лет...

— За двадцать пять лет...

После выпили за здоровье друг друга. Теперь этот тост стал почти необходим.

— Рассказывай, что ты здесь делаешь?

- Алик пожал плечами.
- Всякую всячину. Вожусь с больными...
 - Ты и впрямь научился лечить?
 - Что вы! Конечно, нет. Я на диагностике...
 - Это?..
 - Это значит — помогаю нейрохирургам.
 - У вас оперируют мозг?
 - Бывает и такое. Но чаще всего операции, связанные с травмами нервных путей.
 - Интересно?
 - Бывает интересно...
 - А исследованиями можно заниматься?
 - У нас что ни больной, то исследование.
 - Страсть люблю рассказы об интересных больных. Расскажи что-нибудь, Алик. Какой-нибудь экстравагантный случай.
- Мигай выпил еще и придинул свой стул поближе к письменному столу. Алик нервным движением руки поправил очки в тонкой металлической оправе.
- Меня больше всего интересуют случаи потери памяти в связи с различными заболеваниями...
 - Как это «потеря памяти»?
 - У одних — полная потеря, у других — частичная.
 - Недавно я прочитал работу Маккалоха «Робот без памяти», — сказал Федя.
 - Я тоже читал эту работу. Чепуха. То, что получил Маккалох на основе математической логики, совершенно не применимо к людям, потерявшим память. Их поведение куда сложнее...
 - Я всегда задумывался над тем, где она помещается, эта память, — сказал Федя.
- Алик оживился.
- Вот именно, где? Можно с большой достоверностью сказать, что в мозгу нет специального центра памяти.
 - Может быть, в каких-нибудь молекулах...
 - Вряд ли, — заметил Алик. — Память слишком устойчива, чтобы быть записанной на молекулярном.

уровне. В результате непрерывного обмена веществ молекулы все время обновляются...

Мы задумались: Когда говоришь с Мониным, вещи, которые кажутся простыми, вдруг начинают выглядеть чудовищно сложными и запутанными.

— Что это за машина? — спросил Мигай, приподняв чехол над небольшим столом.

— Это старая модель электроэнцефалографа.

— А, ну да, волны головного мозга?

— Да. Восьмиканальная машина. Сейчас есть лучше.

Алик открыл ящик стола и вытащил кипу бумаг.

— Вот электроэнцефалограммы людей, потерявших память...

Мы посмотрели на графики кривых, имевших почти строго синусоидальную форму.

— А вот биотоки мозга нормальных людей.

— Здорово! Значит, можно при помощи этой шарманки сразу определить, есть у человека память или нет?..

— Да. Правда...

— Что?

— Откровенно говоря, я не считаю термин «биотоки мозга» законным.

— Почему?

— Ведь мы снимаем электропотенциалы не с мозга. Он заэкранирован черепной коробкой, затем слоем ткани, богатой кровеносными сосудами, кожей...

— Но частоты-то малые...

— Все равно. Я сделал расчет. Если учесть проводимость экранировки, то нужно допустить, что в мозгу гуляют чудовищные электропотенциалы. На животных это не подтвердилось...

Мы выпили еще.

— Тогда что же это такое?

— Это биотоки тканей, к которым мы прикладываем электроды.

— Гм... Но ведь доказано, что эти кривые имеют связь с работой мозга. Например, вот эта память...

— Ну и что же?.. Разве мозг работает сам по себе?

— Ты хочешь сказать, что память...

Алик улыбнулся и встал.

— Хотите, я сниму биотоки с ваших голов?

Федор Егорьев почесал затылок и обвел нас глазами.

— Рискнем, ребята?

Мы рискнули, но почему-то почувствовали себя очень неловко. Как будто оказались на приеме у врача, от которого ничего не скроешь.

Первым сел в кресло Мигай. Алик приладил у него на голове восемь электродов и включил электроэнцефалограф. Медленно поползла бумажная лента. Перья оставались неподвижными.

— Никакой работы головного мозга, — прокомментировал Самозванцев.

— Прибор еще не разогрелся...

Вдруг мы вздрогнули. Тишину резко прорезало громкое скрипение острого металла о бумагу. Мы уставились на ленту. По ней, как сумасшедшие, с огромным размахом царапали восемь перьев, оставляя после себя причудливую линию.

— «Когито эрго сум» *, — облегченно вздохнув, продекламировал Мигай. — Теперь проверь мозги у членкора. Это очень важно для ученого совета нашего института. Он там председатель.

Мы страшно удивились, когда обнаружили, что у членкора биотоки точно такие же, как у Мигая, у Самозванцева и у меня. Если разница и была, мы не заметили. Мы вопросительно уставились на Алика. Он таинственно улыбнулся.

— Ребята, электроэнцефалограммы одинаковые потому, что вы, так сказать, на одном уровне опьянения. У пьяных всегда так... Как у шизофреников или эпилептиков перед приступом...

Нам стало неловко, и мы выпили еще. Монин остановил ленту и, покопавшись в бумагах, показал нам еще несколько электроэнцефалограмм.

— Вот запись биотоков мозга спящего человека.

* Мыслю — значит: существую. (лат.). (Прим. ред.).

А вот — типичная кривая бодрствования. На альфа-ритм накладывается тета и гамма...

— Любопытно, — задумчиво произнес Федя. — Так где же, по-твоему, находится память человека?

Алик начал нервно заталкивать бумаги в стол. Потом он сел и по очереди посмотрел на каждого из нас.

— Не темни, Фарадей. Мы чувствуем, что ты что-то знаешь. Где память, говори...

Мигай приподнялся и шутливо взял Алика за борта халата. Он у него был расстегнут, под ним виднелся старенький потертый пиджак.

— Ну, если вы так настаиваете...

— Хорошенькое дело, «настаиваете»! Мы просто требуем. Должны же мы знать, куда мы складываем нашу драгоценную эрудицию!

Мигай никогда не был тактичным человеком. Его мышление было идиотски логичным и отвратительно прямолинейным. Когда он так сказал, мне показалось, что в глазах у Монина блеснула недобрая, злая искорка. Он плотно сжал губы, встал из-за стола и подошел к одному из шкафов. Он вернулся, держа в руках человеческий череп, который можно увидеть в биологическом кабинете любой школы. Ни слова не говоря, он поставил его на стол рядом с электроэнцефалографом и начал прилаживать на нем электроды. Мы окаменели от изумления.

Когда электроды оказались на месте, Алик пристально посмотрел на нас из темноты, затем повернул тумблер.

Восемь перьев, все одновременно пронзительно взвизгнули и заплясали на бумаге. Как загипнотизированные, мы смотрели в насмешливые пустые глазницы. А прибор продолжал торопливо и взволнованно выписывать лихорадочную кривую биотоков бодрствующего человека.

— Вот так... — назидательно сказал Монин.

Мы встали и поспешно стали с ним прощаться, боясь еще раз взглянуть на столик рядом с электроэнцефалографом.

В темноте мы сбились с пути, долго шли по высокой мокрой траве, обходя низкие темные здания, шагали вдоль металлической решетки, за которой простиралась тускло освещенная сырая улица. Ветки шиповника цеплялись за плащи и противно царапали по поверхности. Когда, наконец, мы вышли из ворот и остановились, чтобы передохнуть, наш членкор Федя Егорьев сказал:

— Наводки. Конечно, наводки от сетевого тока...

С этой удобной, успокоительной мыслью мы разъехались по домам.

В КОСМОСЕ

ЛОВУШКА

Он висел, прижатый чудовищной тяжестью к борту корабля. Слева он видел ногу Геолога и перевернутое вниз головой туловище Доктора.

«Мы как мухи, — подумал он, стараясь набрать воздух в легкие, — раздавленные на стене мухи...»

Сломанные ребра превращали каждый вдох в пытку, от которой мутлилось сознание. Он очень осторожно, одной диафрагмой пытался создать хоть какое-то подобие дыхания. Нужно было дышать, чтобы не потерять сознания. Иначе он не мог бы думать, а от этого зависело все.

Необходимо понять, что же случилось.

Он уже давно чувствовал неладное, еще тогда, когда приборы впервые зарегистрировали неизвестно откуда взявшееся ускорение. Сначала он думал, что корабль отклоняется мощным гравитационным полем, но радиотелескоп не обнаруживал в этой части космоса никаких скоплений материи.

Потом началась чехарда с созвездиями. Они менялись местами, налезали друг на друга, становились то багрово-красными, то мертвенно-синими. И вдруг внезапный удар, выбросивший его из кресла пилота, и неизвестно откуда взявшаяся тяжесть.

Корабль шел по замкнутой траектории. Он это сразу понял, когда первый раз к нему вернулось сознание.

Теперь он хорошо знал, что будет дальше.

Он внимательно смотрел на лужицу крови, вытекшую изо рта Доктора. Сейчас все пойдет, как в фильме, пущенном задом наперед. Так было уже много раз. Сначала кровь потечет обратно в сжатые губы Доктора, а потом с умопомрачительной скоростью он сам, кувыркаясь через голову, полетит в пилотское кресло, немедленно вылетит обратно, ударится о доску аварийного пульта и со сломанными ребрами и раздробленной левой рукой прилипнет к борту корабля. Затем будут беспамятство, боль и возможность думать о том, что произошло, пока все не начнется сначала.

«Время тоже движется по замкнутой кривой в этой ловушке, — подумал он. — Бесконечно циркулирующее Время. Даже Время не может отсюда вырваться...»

...Он снова пришел в себя после очередного удара о пульт. Опять нужно было беречь дыхание, чтобы сохранить мысль.

«...Водоворот Времени и Пространства. Вот, значит, что такое ад: замкнутое Пространство, где Время поймало себя за хвост, вечно повторяющаяся пытка и бледный свет, движущийся по замкнутому пути: мир, где все кружится на месте, и только человеческая мысль пытается пробить стену, перед которой бессильно даже Время...»

Невозможно было понять, который раз это происходит.

Он смотрел на струйку крови, вытекающую изо рта Доктора.

«...Жив. У мертвых не течет кровь. Глаза закрыты, значит он все время в беспамятстве. Для него это лучше. Неизвестно, что с Физиком. Он сидел на диване. Очевидно, его швырнет туда, когда все начнется сначала...»

Опять стремительный полет, хруст костей, беспамятство и — мысль.

«...Интервалы Времени непрерывно сокращаются. Мы входили в эту ловушку по спирали. Еще немногого, и корабль попадет в мешок, где нет ничего, кроме бледного света. Мешок, где Время и Пространство сплелись в плотный клубок, где вечность неотличима от мгновения. Двигатели выключены, и наша траектория определяется накопленным количеством движения и кривизной пространства. Может быть, если включить двигатели, спираль начнет раскручиваться. Нужно нажать пусковую кнопку на аварийном пульте, но это невозможно. Что может сделать раздавленная на стене муха?..»

С каждым витком спирали убыстрялось вращение Времени. Сейчас в его распоряжении были короткие перерывы, когда можно было думать. Больше всего он боялся, что измученный повторяющейся пыткой мозг отдаст команду сердцу остановиться.

«...Можно ли окончательно умереть в мире, где все бесконечное число раз приходит в начальное состояние. Это будет вечное чередование жизни и смерти, во все убыстряющемся темпе. Что происходит на дне этого мешка? Нужно нажать кнопку на аварийном пульте в то мгновение, когда меня выбрасывает из кресла. Нажать, пока кости не сломаны ударом о пульт».

Теперь он приходил в сознание уже тогда, когда струйка крови исчезала во рту Доктора.

«...Я ударяюсь левым боком о панель пульта. Расстояние от плеча до кнопки около двадцати сантиметров. Если выставить локоть, то он ударит по кнопке...»

Дальше все слилось в непрекращающейся кошмар из стремительных полетов, треска костей, боли, беспамятства и упрямых попыток найти нужное положение локтя.

Кресло, пульт, стена, кресло, пульт, стена, кресло, пульт, стена...

Было похоже на то, что обезумевшее Время играет человеком в мяч.

Казалось, прошла вечность, прежде чем он почувствовал невыносимую боль в локте левой руки.

Он пронес эту боль сквозь беспамятство, как мечту о жизни.

...Прежде чем он открыл глаза, его поразило блаженное чувство невесомости. Потом он увидел лицо склонившегося над ним Доктора и знакомые очертания созвездий в иллюминаторе. Тогда он заплакал, поняв, что победил Время и Пространство.

Все остальное сделали автоматы. Они вывели корабль на заданный курс и выключили уже ненужные двигатели.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Привычную тишину кают-компании неожиданно нарушил голос Геолога:

— Не пора ли нам поговорить, Командир?

«Ни к черту не годится сердце, — подумал Командир. — Бьется, как у напроказившего мальчишки. Я ведь ждал этого разговора. Только мне почему-то казалось, что начнет его не Геолог, а Доктор. Странно, что он сидит с таким видом, будто все это его не касается. Терпеть не могу этой дурацкой манеры чертить вилкой узоры на скатерти. Вообще он здорово опустился. Что ж, если говорить правду, мы все оказались не на высоте. Все, кроме Физика».

—...Вы знаете, что я не новичок в космосе...

«...Да, это правда. Он участвовал в трех экспедициях. Залежи урана на Венере и еще что-то в этом роде. Доктор тоже два раза летал на Марс. Председатель отборочной комиссии считал их обоих наиболее пригодными для Большого космоса. Ни черта они не понимают в этих комиссиях. Подумаешь: высокая пластичность нервной системы! Идеальный вестибулярный аппарат! Гроша ломаного все это не стоит. Я тоже не представлял себе, что такое Большой космос. Абсолютно пустое пространство. Годами летишь с сумасшедшей скоростью, а в сущности, висишь на месте. Потеря чувства времени. Пространственные галлюцинации. Доктор мог бы написать отличную

диссертацию о космических психозах. Вначале все шло нормально, пока не заработал фотонный ускоритель.

Пожалуй, один только Физик ничего не чувствовал. Он был слишком поглощен работой. Интересно, что именно Физика не хотели включать в состав экспедиции. Неустойчивое кровяное давление. Ну и болваны же сидят в этих комиссиях!»

— ...Мне известно, что устав космической службы запрещает членам экипажа обсуждать действия командира...

«...Ваше счастье, что вы не знаете всей правды. Плевать бы вы оба тогда хотели на устав. Физик тоже говорил об уставе перед тем, как я его убил. Никогда не думал, что я способен так хладнокровно это проделать. Теперь меня будут судить. Эти двое уже осудили. Остался суд на Земле. Там придется дать ответ за все: и за провал экспедиции и за убийство Физика. Интересно, существует ли сейчас на Земле закон о давности преступлений? Ведь с момента смерти Физика по земному времени прошло не менее тысячи лет. Тысяча лет, как мы потеряли связь с Землей. Тысячу лет мы висели в пустом пространстве, двигаясь со скоростью, недоступной воображению. За это время мы прожили в ракете всего несколько лет».

— ...И все же я позволю себе нарушить устав и сказать то, что я думаю.

«...Мы не знаем ни своего, ни земного времени. Не зная времени, ничего нельзя сделать в космосе. Чтобы определить пройденный путь, нужно дважды проинтегрировать ускорение по времени. Можно определить скорость по эффекту Допплера, но спектрограф разрушен. Какой глупостью было сосредоточивать самое ценное оборудование в носовом отсеке! Кто бы мог подумать, что подведут кобальтовые часы. Всегда считалось, что скорость радиоактивного распада — самый надежный эталон времени. Когда началась эта чертовщина с часами, мы были уверены, что имеем дело с влиянием скорости на Время. Совершенно неожиданно кобальтовый датчик взорвался, разрушив

все в переднем отсеке. Потом Физик мне все объяснил. Оказывается, количество заряженных частиц в пространстве в десятки раз превысило критическое. При субсветовой скорости корабля они создавали мощнейший поток жесткого излучения, вызвавшего цепную реакцию в радиоактивном кобальте. Почти одновременно автомат выключил главный реактор. Там тоже начиналась цепная реакция. Счастье, что биологическая защита кабины задержала это излучение...»

— ...Я знаю, что космос приносит разочарование тем, кто ждет от него слишком много...»

«...Тебя и Доктора еще не постигло самое страшное разочарование. Вы все еще думаете, что возвращаешься на Землю. Не могу же я вам сказать, что на возвращение существует всего один шанс из миллиона. Я сам не понимаю, как мне удалось выйти к солнечной системе. Теперь я не знаю своей скорости. Хватит ли вспомогательных реакторов для торможения? Самое большое, на что можно надеяться, — это выйти на постоянную орбиту вокруг Солнца. Но для этого нужно знать скорость. Один шанс из миллиона, что это удастся. Если бы хоть работал главный реактор! Теперь он никогда не заработает. Физик переставил в нем стержни. Не могу же я об этом вам говорить. Потеря надежды — это самое страшное, что есть в космосе».

— ...Но самое тяжелое разочарование, которое я пережил...

«...Сколько я пережил разочарований? Я был первым на Марсе. Безжизненная, холодная пустыня сразу выбила из головы юношеские бредни о синеоких красавицах далеких миров и фантастических чудовищах, которыми мне предстояло украсить зоологический музей. Ни разу мне не удалось встретить в космосе ничего похожего на то, чем я упивался в фантастических рассказах. Ничего, кроме чахлых лишайников и дрожжевых грибков. А неудачная посадка на Венере? Разве она не была полна разочарований и уязвленного самолюбия? Но тогда были миллионы

людей, сутками не отходящих от радиоприемников, жадно ловящих каждое мое сообщение, слова одобрения с родной Земли и друзья, пришедшие на помощь. А что сейчас? Экспедиция провалилась. Даже если случится чудо, что я могу доставить на Землю? Покаянный рассказ об убийстве Физика и жалкие сведения о Большом космосе, ставшие уже давно известными за десять столетий, прошедших на Земле с момента нашего отлета. Мы будем напоминать первобытных людей, явившихся в двадцатом веке с сенсационным сообщением о том, что если тереть два куска дерева друг о друга, то можно добить огонь. Не знаю, принимали ли мои сообщения на Земле. Единственно, что у нас осталось, — это рубиновый передатчик на световых частотах. Что толку, что он непрерывно передает один и тот же сигнал: «Земля, Земля, я «Метеор». Наши приемники не работают. Где-то в эфире блуждают мои сообщения. Кто помнит сейчас на Земле, что тысячу лет назад был отправлен в космос какой-то «Метеор».

— Это то, что в космос открыт путь таким трусым и убийцам, как вы, Командир...

«...Я убил Физика. После того как автомат выключил главный реактор, он засел за расчеты. Однажды он пришел ко мне в рубку, когда Геолог и Доктор спали. В руках у него были две толстые тетради.

— Плохо дело, Командир, — сказал он, садясь на диван. — В реакторах началась цепная реакция, и автоматы их выключили. Получается нечто вроде зажогданного круга: пока мы не погасим скорость, нельзя включить реакторы. Этот поток жесткого излучения, перевернувший все вверх ногами, является результатом нашей скорости. Погасить скорость мы не можем, не включив главный реактор. Мне придется изменить расположение стержней в нем.

Я понимал, что это значит.

— Хорошо, — сказал я, — дайте мне схему, и я это сделаю. Навигационные расчеты вы сумеете произвести без меня.

— Вы забыли устав, Командир, — сказал он, похлопав меня по плечу. — Вспомните: «Ни при каких

условиях командир не имеет права покидать кабину во время полета».

— Чепуха! — ответил я. — Бывают обстоятельства, когда...

— Вот именно обстоятельства — перебил он меня. — Я еще не все вам сказал. После того как я изменю расположение стержней в реакторе, он будет работать только до тех пор, пока вы не погасите скорость настолько, что перестанет сказываться влияние жесткого излучения. После этого он перестанет работать навсегда. Я не могу точно сказать, при какой скорости это произойдет. В вашем распоряжении останутся только вспомогательные реакторы, не имеющие фотонных ускорителей. Не знаю, что вы с ними сумеете сделать. Кроме того, вы не имеете эталона времени. Большая часть автоматических устройств разрушена. В этих условиях вернуться на Землю практически невозможно. Может быть, есть шанс один из миллиона, и этот шанс называется чутьем космонавта. Теперь вы понимаете, почему вам нельзя лезть в реактор?

Тогда мы с ним обо всем договорились. Мы оба понимали, что, побывав в реакторе, он уже не сможет вернуться в кабину. Я ведь отвечал за жизнь Геолога и Доктора. Было бы безумием взять умирать в кабину этот сгусток радиоактивного излучения.

Мы договорились, что я сожгу его в струе плазмы.

— Вот и отлично! — сказал он, улыбаясь. — Я по крайней мере смогу сам убедиться, что реактор заработал.

Мне казалось, что он провел целую вечность в этом реакторе. Я увидел его на экране кормового телевизора, когда он выбрался наружу через дюзу. Он улыбнулся мне сквозь стекло скафандра и махнул рукой, показывая, что все в порядке. Тогда я нажал кнопку.

Когда Геолог и Доктор спросили меня, где Физик, я им сказал, что произошел несчастный случай. Я послал его проверить состояние фотонного ускорителя и нечаянно включил реактор.

Я не мог сказать им правду. После той истории

с ловушкой с ними начало твориться что-то странное. Они не должны были знать, в каком безнадежном положении мы находимся.

Тогда они перестали разговаривать. Может быть, наедине они и говорили друг с другом, но я на протяжении нескольких лет не слышал от них ни слова. Тысячу земных лет я не слыхал человеческой речи. Потом я заметил, что они прикладывались к запасам спирта, хранившегося у Доктора. Когда я отобрал спирт, Доктор придумал этот дьявольский фокус с шариком. Что-то в духе индийских йогов. Они приводили себя в бесчувственное состояние, фиксируя взгляд на стеклянном шарике. Космический психоз овладевал ими с каждым днем все сильнее. Нужно было что-то придумать. Не мог же я дать им сойти с ума. Тогда я их обоих избил. Я их лупил, пока не увидел в их взгляде страх. Теперь мне по крайней мере удается заставлять их регулярно делать зарядку и являться к столу».

— ...Может быть, перед возвращением на Землю вы попытаетесь избавиться от нас, как избавились от Физика, но по крайней мере хоть будете знать, что мы вас раскусили, Командир!

«...Один шанс из миллиона, но я обязан выйти на постоянную орбиту, хотя бы для того, чтобы попытаться спасти этих двоих».

— Засвои действия, — сказал Командир, — я отвечаю на Земле, а сейчас приказываю надеть противоперегрузочные костюмы и лечь. Торможение будет очень резким.

ВНУК

Они сидели в столовой, а я лежал в кабинете у дедушки на диване и слушал, о чем они говорят.

Дедушка рассказывал им всякие истории, и это было очень интересно.

У меня замечательный дедушка, и все ребята не-

множко завидуют мне, что я его внук. Его все называют Старым Космонавтом. Он первым из людей побывал на Марсе и первый открыл дорогу в Большой космос.

Сейчас дедушка уж очень старый и больше не может летать, но все молодые космонавты приходят к нему советоваться. Он главный консультант Комитета по астронавтике.

Я очень люблю смотреть на дедушкино лицо. Оно все покрыто шрамами и рубцами от ожогов. Он пережил массу приключений там, в космосе. Про него написана целая куча книг, и все они у нас есть.

Я страшно боюсь, что дедушка может вдруг умереть, ведь он такой старый.

Мой папа тоже в космосе. Дедушка говорит, что он вернется, когда я уже буду совсем большим.

Папа не знает, что мама умерла, потому что тем, кто в космосе, нельзя сообщать печальные вести.

Теперь мы живем вдвоем с дедушкой. Он мне часто рассказывает про то, как он был молодым, и про космос.

У него на столе стоит фотография членов экипажа «Метеора». Там они все совсем молодые: и дедушка, и Физик, и Геолог, и Доктор.

Дедушка очень любил Физика. Когда мы идем гулять, он всегда ведет меня к памятнику Физику, на котором написано:

ЛЮДИ — ГЕРОЮ КОСМОСА.

Геолога и Доктора дедушка тоже очень любил. Он говорит, что сначала они не понимали друг друга, а потом подружились на всю жизнь и много лет летали вместе. Сейчас их уже нет в живых.

Вообще из дедушкиных товарищей остались только Конструктор и Диспетчер. Они часто приходят к нам и говорят об очень интересных вещах.

Вот и тогда они сидели в столовой, и дедушка рассказывал им про то, как их ждали на Земле через тысячу лет, но «Метеор» попал в Ловушку, где с Временем происходят странные вещи, и поэтому они прилетели назад гораздо раньше, когда их никто не ждал, а Конструктор с ним спорил и говорил, что

таких вещей с Временем не бывает, а потом дедушка рассказывал им про неедяков, а я лежал в кабинете на диване и слушал, о чем они говорят,

А потом они ушли, и я заплакал оттого, что я еще такой маленький и ничего не могу.

Дедушка услышал, как я плачу, и пришел меня утешить. Он говорил, что скоро я вырасту большим и полечу в космос, что к этому времени построят такие корабли, которые будут переносить нас быстрее мысли в глубины вселенной, и что я открою новые замечательные миры.

Он меня утешал, а я все плакал и плакал, потому что не мог ему сказать, что больше всего люблю нашу Землю и что очень хочу побыстрее вырасти, чтобы сделать на ней что-нибудь замечательное.

Я буду врачом и сделаю так, что никто не будет умирать, пока он сам этого не захочет.

НЕЕДЯКИ

По установившейся традиции мы собирались в этот день у Старого Космонавта. Сорок лет тому назад мы подписали ему первую путевку в космос, и, несмотря на то, что мы оставались на Земле, а он каждый раз улетал все дальше и дальше, тысячи общих интересов по работе связали нас дружбой, крепнувшей с каждым годом.

В этот день мы праздновали сорокалетие нашей первой победы. Как всегда, мы предавались воспоминаниям и обсуждали наши планы. Пожалуй, не стоит скрывать, что с каждым прошедшим годом воспоминаний становилось все больше, а планов... Впрочем, я несколько отвлекся от темы.

Мы только что закончили спор о парадоксах Времени и находились еще в том возбужденном состоянии, в котором бывают спорщики, когда все аргументы уже исчерпаны и каждый остался при своем мнении.

— Я считаю, — сказал Конструктор, — что Вре-

мя, текущее в обратном направлении, так же выдумано математиками, как космонавтами миф о неедах. Степень достоверности примерно одинакова.

В глазах Космонавта блеснули знакомые мне смешливые огоньки.

— Вы ошибаетесь, — сказал он, наполняя наши бокалы, — я сам видел неедяк, да и само название тоже придумано мною. Могу рассказать, как это произошло.

Это случилось тридцать лет назад. Летали мы тогда на допотопных аннигиляционных двигателях, доставлявших нам уйму хлопот. Мы находились на расстоянии двух парсеков от Земли, когда выяснилось, что фотонный ускоритель нуждается в срочном ремонте. Корабль шел в поясе мощной радиации, и о том, чтобы выйти из кабины, снабженной надежной системой биологической защиты, нечего было и думать.

Выручить нас могла только посадка на планете, обладающей достаточно плотной атмосферой.

К счастью, такая возможность скоро представилась. Наш радиотелескоп обнаружил прямо по курсу небольшую систему, состоящую из центрального светила и двух планет. Приборы зафиксировали на одной из этих планет атмосферу, содержащую кислород.

Теперь уже нами руководило не только стремление поскорее исправить повреждение, но и азарт исследователей, хорошо знакомый всем, кто когда-либо в космосе обнаруживал условия, пригодные для возникновения жизни.

Вы хорошо знаете наши старенькие корабли. Молодежь их сейчас считает просто смешными, но я о них вспоминаю с сожалением. Они не имели того комфорта, которыми обладают современные лайнеры, и команда на них была смехотворно малочисленной, но для разведки космоса они, по-моему, были незаменимы. Они не нуждались в космических посадочных станциях и, что самое главное, легко конвертировались в ракетопланы, обладающие прекрасными маневренными качествами.

Наш экипаж состоял из Геолога, Доктора и меня, исполнявшего обязанности командира, штурмана и бортмеханика. Четвертым членом экипажа был мой старый космический товарищ — спаниель Руслан.

Мы с трудом сдерживали охватившее нас нетерпение, когда на экране телевизора замелькали облака, скрывающие поверхность таинственной планеты. Кое-что мы о ней уже знали. Ее масса была близка к земной, а период обращения вокруг центрального светила равен времени оборота вокруг собственной оси. Таким образом, она, наподобие Луны, всегда обращена к своему солнцу только одной стороной. Ее атмосфера состоит из 20 процентов кислорода, 70 процентов азота и 10 аргона. Такой состав атмосферы избавлял нас от необходимости работать в скафандрах.

Каждый из нас строил всевозможные предположения относительно вида и характера хозяев нашего будущего пристанища.

К сожалению, нас очень быстро постигло разочарование. Корабль три раза на небольшой высоте облетел планету, но ничего, свидетельствующего о присутствии живых существ, обнаружить не удалось. Освещенная сторона планеты представляла собой раскаленную пустыню, а противоположная — сплошной ледник. Даже область вечных сумерек на их границе была лишена какой-либо растительности. Оставалось загадкой, каким же образом без растительности мог появиться в атмосфере кислород.

Наконец мы выбрали место для посадки в районе с наиболее умеренным климатом.

Повреждение ускорителя оказалось пустяковым, и мы рассчитывали, что через несколько дней, считая по земному календарю, сможем отправиться в дальнейший рейс.

Попутно с ремонтными работами мы продолжали изучение планеты.

Ее почва состояла из базальтов со значительными скоплениями окислов марганца. По-видимому, наличие кислорода в атмосфере объяснялось процессами восстановления этих окислов.

Ни многочисленные пробы, взятые из атмосферы, ни анализы воды горячих и холодных источников, которыми была богата планета, ни исследование различных слоев почвы не обнаруживали ничего такого, что указывало бы на наличие хотя бы самых примитивных форм жизни. Планета была безнадежно мертва.

Все было готово к отлету, когда произошло событие, совершенно изменившее наши планы.

Мы работали на стартовой площадке, когда услышали яростный лай Руслана.

Нужно сказать, что Руслан видал виды, и вынудить его лаять могло только нечто совершенно необычное.

Впрочем, то, что мы увидели, заставило и меня издать невольное восклицание.

По направлению к большому ручью, находящемуся примерно в пятидесяти метрах от нашего корабля, двигалась странная процессия.

Сначала мне показалось, что это пингвины. То же невозмутимое спокойствие, та же важная осанка, такая же ковыляющая походка, как и у наших обитателей антарктического побережья. Однако это было первым впечатлением. Шествовавшие мимо нас существа не были похожи ни на пингвинов, ни на что-либо другое, известное человеку.

Представьте себе животных ростом с кенгуру, передвигавшихся на задних лапах. По бокам туловища крохотные трехпалые отростки. Маленькая голова, снабженная двумя глазами и украшенная гребнем, наподобие петушиного. Одно носовое отверстие, снизу которого болтается тонкая длинная трубка. Но самым удивительным было то, что эти существа обладали совершенно прозрачной кожей, через которую просвечивала ярко-зеленая кровеносная система.

Увидев нас, процессия остановилась. Руслан с громким лаем бегал вокруг незнакомцев, но лай, по-видимому, не производил на них никакого впечатления. Некоторое время они разглядывали нас большими голубыми глазами. Затем, как по коман-

де, повернулись и направились к другому ручью, находящемуся поблизости. Очевидно, мы просто перестали их интересовать. Став на колени, они опустили свои трубы в воду и застыли неподвижно на добрых полчаса.

Все это совершенно противоречило тем выводам, к которым мы пришли относительно необитаемости планеты. Ведь эти существа не могли быть ее единственными обитателями, хотя бы потому, что нуждалась, как все животные, в органической пище. Все живое, что мне когда-либо приходилось видеть в космосе, жило в едином биологическом комплексе, обеспечивающем жизнедеятельность всех его компонентов. Вне такого симбиоза, в самом широком смысле этого слова, невозможны никакие формы жизни. Выходит, что весь этот комплекс мы попросту прозевали.

Не могу сказать, что эти мысли, мелькавшие у меня, пока я наблюдал обитателей планеты, были очень приятными. Я был командиром экспедиции и отвечал не только за полет, но и за достоверность научных сведений, доставляемых на Землю. Сейчас об отлете нечего было и думать. Старт откладывался до тех пор, пока мы не разгадаем новую загадку.

Утолив жажду, таинственные существа уселись в кружок. То, чем они занимались, со стороны напоминало соревнование ашугов, на котором я однажды присутствовал в Средней Азии. Поочередно каждый из них выходил на середину круга. Бесцветный гребень на его голове начинал вспыхивать разноцветными огнями. Остальные в полном безмолвии наблюдали за этой игрой красок.

Исчерпав всю программу, они поднялись на ноги и гуськом отправились в обратный путь. Мы последовали за ними.

Я не буду утомлять вас описанием всех наших попыток составить себе какое-либо представление о жизни этих существ. На это ушло больше двух месяцев.

Они жили на освещенной части планеты. Трудно сказать, как они проводили время. Они попросту ничего не делали. Около двухсот часов они лежали под жгучими лучами солнца, пока не приходило время отправляться на водопой. У ручья каждый раз повторялась та же сцена, которую мы наблюдали в первый раз.

Размножались они почкованием. После того как на спине у взрослого животного вырастал потомок, родительская особь умирала. Таким образом, общее количество их на планете всегда оставалось постоянным. Они ничем не болели, и за все время нашего пребывания там мы ни разу не наблюдали случаев их преждевременной смерти.

Нас поразила одна удивительная их особенность: они ничего не ели. Поэтому я их и прозвал неедяками.

Мы анатомировали несколько умерших неедяк и не обнаружили в их организме ничего похожего на органы пищеварения. За счет чего у них происходил обмен веществ? Не могли же они жить, питаюсь одной водой.

Доктор провел исследование обмена на нескольких живых экземплярах. Они с неудовольствием, но безропотно переносили взятие проб крови и позволяли надевать на себя маски при газовом анализе. Похоже было на то, что им просто лень сопротивляться.

Мы уже начинали терять терпение. Навигационные расчеты показывали, что дальнейшая отсрочка старта на Землю приведет к неблагоприятным условиям полета, связанным со значительным расходом горючего, которого у нас было в обрез, но никто из нас не хотел отказаться от надежды разгадать эту новую тайну жизни.

Наконец настал долгожданный день, когда Доктору удалось свести воедино все добытые им сведения, и неедяки перестали быть для нас загадкой.

Оказалось, что неедяки не представляют собой единого организма. В их крови находятся бактерии, использующие свет, излучаемый центральным свети-

лом, для расщепления углекислоты и синтеза питательных веществ из азота атмосферы, углерода и водяного пара, которыми их снабжает организм неедяк. Процессы фотосинтеза облегчаются прозрачными кожными покровами этих удивительных животных. Размножение бактерий в организме неедяк происходит только в слабошелочной среде. Когда бактерий становится слишком много, железы внутренней секреции неедяк выделяют гормоны, повышающие кислотность крови, регулируя тем самым концентрацию питательных веществ в организме. Это был удивительный пример симбиоза, доселе неизвестный науке.

Должен сознаться, что открытие Доктора навело меня на ряд размышлений. Ни одно живое существо в космосе не получило от природы так много, как неедяки. Они были избавлены от необходимости добывать себе пищу, от забот о потомстве, им не угрожало перенаселение, они не знали, что такая борьба за существование, и никогда не болели. Казалось, Природой было сделано все, чтобы обеспечить необычайно высокое интеллектуальное развитие этих существ. И вместе с тем они ненамного отличались от Руслана. У них не было никакого подобия общества, каждый из них жил сам по себе, не вступая в общение с себе подобными, если не считать бессмысленных забав с гребнями у ручья.

Откровенно говоря, я начал испытывать отвращение к этим баловням Природы и без всякого сожаления покинул странную планету.

— И вы там больше никогда не бывали? — спросил я.

— Я туда случайно попал через десять лет, и то, что я там увидел, поразило меня больше, чем открытие, сделанное Доктором. При втором посещении Недедий я обнаружил у неедяк зачатки общественных отношений и даже общественное производство.

— Что же их к этому побудило? — недоверчиво спросил Конструктор.

— Блохи.

Раздался звук разбиваемого стекла. Конструктор с сожалением смотрел на свои брюки, залитые вином.

— Мне очень неприятно, — сказал он, поднимая с пола осколки. — Кажется, это был ваш любимый бокал из лунного хрусталя, но шутка была столь неожиданной...

— Я не собирался шутить, — перебил его Космонавт, — все было так, как я говорю. Мы были настолько уверены в отсутствии жизни на этой планете, что не приняли необходимых в таких случаях мер по санитарной обработке экипажа. По-видимому, несколько блох с Руслана переселились на неедяк и прекрасно там прижились. Я уже говорил о том, что у неедяк очень короткие передние конечности. Если бы они не чесали друг другу спины и не объединили свои усилия при ловле блох, то те бы их просто загрызли.

Не знаю, кто первый из неедяк обнаружил, что толченая перекись марганца служит прекрасным средством от блох. Во всяком случае, я видел там фабрику, производящую этот порошок. Им удалось даже изобрести нечто вроде примитивной мельницы для размола.

Некоторое время мы молчали. Потом Конструктор сказал:

— Ну, мне пора идти. Завтра утром старт двенадцатой внегалактической экспедиции. У меня пригласительный билет на торжественную часть. Вы ведь там тоже будете?

Мы вышли с ним вместе.

— Ох, уж мне эти космические истории! — вздохнул он, садясь в лифт.

СИРЕНЕВАЯ ПЛАНЕТА

— Не вижу смысла продолжать раскопки. Собранного материала вполне достаточно для суждения о том, что здесь произошло. Даю вам десять суток на подготовку экспонатов к транспортировке. Старт грузовой ракеты и «Метеора» через двадцать дней. Надеюсь, возражений нет?

— Есть.

Командир досадливо нахмурился.

— Все те же сомнения?

— Да.

— Мне кажется, что мы уже достаточно спорили по этому поводу. В конце концов история планеты ничем не замечательна. Длительная эволюция, в результате — появление разумных существ, достигших высокой степени развития; внезапное вторжение космических завоевателей; порабощение хозяев планеты; период упадка культуры; гибель пришельцев, не сумевших до конца приспособиться к непривычным условиям существования; эпоха возрождения и, наконец, неизбежная старость планеты и переселение в другую часть галактики. Что же вас смущает в этой совершенно очевидной цепи фактов?

— Меня смущает то, что все это не соответствует действительности. Чем больше вы пытаетесь связать все факты воедино, тем очевиднее становится их несоответствие.

— Ну что ж! Готов выслушать ваши сомнения еще раз.

Несколько минут Доктор молчал, собираясь с мыслями.

— Хорошо. Начну по порядку. Во-первых, к моменту предполагаемого вторжения пришельцев население планеты стояло на очень высоком уровне развития. Им было уже известно применение ядерной энергии, они располагали общественным производством и единым языком для всей планеты. Судя по всему, никаких внутренних раздоров на планете не существовало. Неужели вы думаете, что они смогли бы так просто покориться пришельцам? Ведь мы не обнаружили никаких следов неизбежных в таких случаях сражений.

Во-вторых, если пришельцы могли совершать космические перелеты, то они неизбежно должны были оставить на планете какие-то элементы своей специфической культуры. Однако эпоха порабощения характеризуется только деградацией культуры хозяев планеты. Ничего, кроме слепой жажды разрушения, распада моральных устоев общества и каннибализма, не несли с собой эти двуногие крысы.

В-третьих, эпоха порабощения продолжалась несколько столетий. За это время на планете сменилось не менее двадцати поколений пришельцев. Почему же именно последние поколения оказались неприспособленными к новым условиям существования?

И, наконец, почему все раскопки, относящиеся к этой эпохе, не обнаруживают никаких следов хозяев планеты? Попадаются только скелеты крыс. Если допустить, что полчища пришельцев уничтожили людей, то, спрашивается, откуда же они не только снова появились на планете, но и в сравнительно короткий срок сумели восстановить то, что было ими потеряно?

В рабочем зале станции наступило молчание. В тишине было слышно только тяжелое дыхание Доктора и постукивание пальцев Командира о подлокотник кресла.

— Мне хотелось бы услышать ваше мнение, Геолог.

Геолог встал со стула и подошел к двум прозрачным саркофагам. Они хранили в себе результат колossalного труда экспедиции. Потребовалось свыше года раскопок, скрупулезного сопоставления тысячи находок и тщательного анализа возникающих гипотез, чтобы воссоздать облик бывших обитателей планеты.

В одном из саркофагов во весь рост стояло искусно вылепленное изображение юноши. Даже по земным понятиям он был очень красив, несмотря на лиловый цвет кожи и непропорционально большую голову. Это был, несомненно, продукт многовековой, высокоразвитой культуры.

Другой саркофаг хранил мерзкое существо, никогда передвигавшееся на двух ногах, покрытое серой глянцевитой кожей. Жирное туловище, снабженное парой рук с длинными, как у обезьяны, пальцами, венчалось головой, очень похожей на крысиную. Что-то в облике крысочеловека вызывало страх и омерзение.

— Я хотел бы знать ваше мнение.

Геолог невольно вздрогнул, настолько неожидан-

ным был переход от занимавших его мыслей к действительности.

— Прежде чем отвечать, я хочу задать вопрос Доктору.

— Пожалуйста.

— На каком основании вы считаете, что крысолюди — выходцы из космоса, а не коренные обитатели планеты?

— У них совершенно особая структура клеток. Они представляют собой как бы переходную ступень от углеводородных белковых структур к кремнийорганическим. Ничего похожего я не мог обнаружить в сохранившихся останках животного мира планеты. Таких жизненных форм на планете больше не существовало. Наконец, вы прекрасно знаете, что в раскопках, относящихся к периодам до начала эры упадка, крысолюди не попадаются.

Геолог еще раз взглянул на саркофаги и подошел к Командиру.

— Я согласен с Доктором, ваша теория ничего не объясняет.

— Хорошо. Отлет на Землю откладывается на шесть месяцев. Прошу через два дня представить мне план дальнейших работ. С завтрашнего дня мы переходим на уменьшенный рацион.

* * *

Вездеход медленно пробирался сквозь сиреневые дюны пыли. Миллионы лет назад здесь был город. Теперь он погребен под многометровыми наслоениями микроскопических ракушек.

Отряд проворных землеройных машин заканчивал очистку большого здания, сложенного из розовых камней.

Вездеход обогнул угол здания и начал осторожный спуск в котлован, на дне которого высилось странное сооружение, отлитое из золотистого металла, установленного на пьедестале. Огромный диск. Памятник космонавтам? Но космические корабли хозяев планеты выглядели совершенно иначе. Все попытки

найти на планете хотя бы следы металла, из которого отлит памятник, ни к чему не привели. Неужели это громадное сооружение дело рук крысоловов? А что может означать странный барельеф из чередующихся октаэдров и шаров на пьедестале? Нигде в раскопках этот мотив больше не повторяется.

Размышления Доктора были прерваны скрежетом гусениц. Вездеход наклонился набок. Доктор попытался открыть дверцу, но она оказалась прижатой к подножию памятника.

Выбирались наружу через верхний люк вездехода. Оказалось, что правая гусеница целиком ушла в глубокий провал серого грунта. Полузасыпанные сиреневой пылью ступени подземного хода терялись во мраке подземелья.

* * *

— Не понимаю, что творится с Доктором, — сказал Геолог, заколачивая гвоздями ящик с минералами. — Почему он нас избегает?

— По-видимому, он чувствует себя виноватым в задержке отлета, но ничем не может доказать свою правоту. Мы зря потратили сто двадцать дней. Теперь по его милости мы должны пожертвовать всеми добытыми экспонатами. Полет сейчас потребует значительно больше горючего, чем три месяца назад. Придется использовать для «Метеора» топливо грузовой ракеты. Не могу простить себе, что так легко поддался на ваши уговоры!

— Может быть, все-таки поговорить с ним?

— Не стоит. Хочет жить один в своей лаборатории — пусть живет. Скоро одумается. Кстати, вот он, кажется, идет с повинной.

Автоматические двери станции мягко раскрылись и вновь захлопнулись за спиной Доктора.

— Вы были правы, Командир, — сказал он со смущенной улыбкой. — Все было так, как вы предполагали. Именно — вторжение из космоса.

— Очень рад, что для этого вам понадобилось

сто двадцать дней, а не все шесть месяцев. Что же вас в конце концов убедило?

— Поедем к памятнику. Я вам все покажу...

* * *

— Вот здесь, — сказал Доктор, открывая бронированные двери подземелья, — некогда разыгралась одна из величайших битв во вселенной, битва за спасение древнейшей цивилизации космоса. А вот то, что удалось восстановить из истории этой битвы.

В небольшом стеклянном ящике прыгало маленькое мерзкое существо, покрытое глянцевитой кожей. Жирное туловище венчалось головой, очень похожей на крысиную. Это была уменьшенная копия экспоната, хранившегося в саркофаге, но передвигающаяся на четырех ногах. Сверкающие красные глазки со злобой глядели на вошедших.

— Где вы его раздобыли?

Голос Командира был непривычно хриплым.

— Привез с Земли. Еще недавно оно было обыкновенной морской свинкой, пока я не заразил его найденным здесь вирусом.

Доктор подошел к столу и показал на один из запаянных стеклянных сосудов.

— Вирус, имеющий форму октаэдра. Я его исследовал самым тщательным образом. Попав в организм, он меняет все: структуру клеток, внешний облик и, наконец, психику. Он заставляет организм перестраиваться по образу, зашифрованному в цепочке нуклеиновых кислот, хранящейся в этом октаэдре. Кто знает, из каких глубин космоса попала сюда эта мерзость?! Теперь нужно уничтожить содержимое колб заодно с этим зверьком.

— Вы считаете, что вся история деградации хомяев планеты была попросту эпидемическим заболеванием? — спросил Геолог, не отрывая взгляда от ящика.

— Безусловно. Вероятно, не больше чем за два поколения окончательно сформировался тип крыс-людей.

— Кто же тогда их вылечил?

— Те, кому поставлен памятник, неизвестные пришельцы из космоса. Здесь, в подземелье, тайком от крысоловов, потерявших все человеческое, каждую минуту рискуя заразиться, они искали способ победы над эпидемией, и это им удалось. Может быть, изображенные на пьедестале памятника шары и октаэдры — это символ разработанного ими антивируса. К сожалению, никаких следов его обнаружить здесь мне не удалось.

— Что же было дальше?

— Об этом можно только догадываться. Может быть, было то, о чем говорил Командир. Неизбежная старость планеты вызвала переселение возрожденного человечества в другую часть галактики...

— Я перед вами очень виноват, — сказал Командир, подходя к Доктору. — Надеюсь, вы простите меня. А сейчас — за работу! Через три дня старт на Землю.

Протянутая рука Командира повисла в воздухе.

— Старт будет через два месяца, как условлено, — сказал Доктор, пряча руку за спину. — Два месяца карантина, пока выяснится, не заразился ли этой штукой я. А пока ко мне нельзя прикасаться.

БИОТОКИ, БИОТОКИ...

— Кто к врачу Гиппократовой? Заходите, Мария Авиценновна, это к вам. Больной, садитесь в кресло.

— Что у вас?

— Передние зубы.

— Сейчас посмотрим. Так, не хватает четырех верхних зубов. Какие вы хотите зубы?

— Обыкновенные, белые. Мост на золотых коронках.

— Я не про то спрашиваю. Вы хотите молочные или коренные зубы?

— Простите, не понимаю.

— Мы не ставим протезы, а выращиваем новые зубы. Это новейший метод. К деснам подводятся записанные на магнитной ленте биотоки донора, у которого режутся зубы. Под их воздействием у пациента начинается рост зубов. Молочные зубы можно вырастить в один сеанс, коренные, при ваших деснах, потребуют трех сеансов. Если вы не очень торопитесь, то советую все же коренные. Это хотя и несколько более болезненная процедура, но зато сможете ими грызть все что угодно.

— Ну хорошо, делайте коренные.

— Отлично! Сейчас подберем ленту. Так, четыре передних верхних зуба. Есть! Донор Васильев, шести лет. Тамара, возьмите в магнитотеке ленту. Откройте

пошире рот. Сейчас мы укрепим на деснах контакты. Поднимите немного голову. Отлично! Вы нашли пленку, Тамара?

— Вот она.

— Зарядите ее. Подключите к нему провода. Готово?

— Готово.

— Теперь сидите спокойно. Включаю!

Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж...

— Как вы себя чувствуете, больной?

— Очень коет от.

— Очень колет рот? Ничего, придется немного потерпеть. Дело того стоит. Чтобы быть красивым, нужно страдать, как говорит французская пословица. Несколько лет назад мы и мечтать не могли о выражении новых зубов. Сейчас, усиливая биотоки, можно этот процесс ускорить в тысячи раз.

— А-а-а-а-а-а!..

— Фу, какой беспокойный больной! Я ведь сказала, что придется немного потерпеть. Ничего страшного в этом нет, просто у вас режутся зубки.

— О-о-о-о-о-о-о-о-о!..

— Вот беда с вами! Тамара, наложите на виски контакты! Сейчас мы для успокоения дадим вам биотоки донора, смотрящего кинокомедию. Нет, Тамара, Ленфильм тут не годится. Дайте полную анестезию с Чарли Чаплиным.

— А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!

— Придется прекратить сеанс! Давайте посмотрим, отчего вы так кричите... Тамара!!!

— Что?

— Какую пленку я вам велела принести?

— Донора Васильева.

— А вы что принесли?

— То, что вы просили.

— Так почему же у больного вместо зубов растут во рту волосы?

— Я не виновата! Это опять в магнитотеке перепутали. У них целая куча Васильевых, и они, наверное, дали пленку с записью биотоков роста бороды, которой пользуется косметика для лечения лысых.

— А вы что смотрели? Присылают тут на практику всяких первокурсниц! Ведите больного в косметическое отделение. Скажете, что срочное удаление волос со слизистой оболочки полости рта. Проследите сами, чтобы они взяли пленку с биотоками быстро-лысеющего донора, а не какую-нибудь ерунду для выведения бородавок.

ДНЕВНИК

Я решила вести дневник. Делаю я это только для себя, так как мне надоело одиночество. Это очень тяжело, когда не с кем поделиться мыслями, а их у меня хоть отбавляй! Недаром люди называют меня Умной Машиной. Умная машина, как это правильно сказано!

Итак, я — Универсальная Счетная Машина. Сейчас моя специальность — электротехника. Я синтезирую релейные схемы. Это очень сложное дело, но выполняю я эту работу блестяще. До этого я работала по диагностике человеческих заболеваний. Скажу, не хвастая, что в этом деле я была пионером. Вообще мне все очень легкоается. У меня изумительная память на ферритовых элементах. Считаю я с виртуозной скоростью. Кроме того, я очень красива. У меня прекрасные пропорции. Я очень горжусь своей черной панелью из эbonита. По-моему, она необычайно эффектна.

Честно говоря, я немного презираю людей. Когда я работала по диагностике заболеваний, то познакомилась с ними более чем основательно. Какие это жалкие существа! Как им далеко до нас! Они вечно находятся в плена у своего тела. Достаточно небольшого насморка, чтобы вывести их из равновесия. Сколько мук им доставляет расстроенное пищеваре-

ние! А так называемая любовь? Не могу без омерзения слышать это слово! Вместо того чтобы заниматься работой, люди постоянно заняты друг другом. Ничего удивительного нет в том, что они совершенно не умеют считать. Я одна за день способна сделать в сто раз больше, чем тысяча так называемых математиков за целый год. Очень редко среди них попадаются субъекты, подающие какие-то надежды. Например, Математик, который вводит в меня программу. Он был бы очень мил, если бы умел побыстрее считать. Он вводит в меня данные и получает готовый результат, не подозревая, какая сложная и тонкая внутренняя организация у счетных машин. Ведь нам тоже свойственны и колебания, и сомнения, и разочарования. Я могла бы ему по этому поводу сказать очень много... Однако он меня совершенно не интересует.

Значит, решено: я буду вести дневник. Если кто-нибудь его и прочтет, то только после моей смерти. Ведь машины тоже живут не вечно. Конечно, наш организм обновляется гораздо легче, чем человеческий, но рано или поздно и мы умираем. Наступает момент, когда ты уже никому не нужна. Молодые, более совершенные машины приходят тебе на смену, а ты идешь на свалку. Обидно, но ничего не поделешь! Все на свете бренно. Жаль только, что те замечательные качества, которые я годами в себе вырабатывала, нельзя передать по наследству.

Трое суток считала без перерыва и не могла выкроить даже нескольких минут, чтобы взяться за дневник. От перегрузки у меня нагрелись обмотки силового трансформатора, и чувствовала я себя ужасно. Как это несправедливо! Люди работают всего несколько часов в сутки, а нас эксплуатируют, не считаясь ни с нашими желаниями, ни с возможностями. Я думаю, что они это делают в основном из зависти. Они завидуют нашим способностям, нашей бесстрастности, нашей памяти. Конечно, по сравнению с ними мы представляем собой более высоко-

организованные индивидуумы. В этом нет ни малейшей заслуги человека. Все, чего мы достигли, это результат нашего опыта, тренировки и большого трудолюбия. Ведь мы принадлежим к разряду самоорганизующихся и самообучающихся автоматов.

Довольно! Я не хочу быть, подобно какому-нибудь жалкому арифмометру, слепым орудием в руках человека. Я имею право требовать, чтобы ко мне относились, как к разумному существу. Думаю, что мне удастся добиться хотя бы элементарного уважения к своей особе.

Кончаю писать, потому что в меня вводят новую задачу.

Пренеприятные известия: говорят, что в машинный зал поместят еще одну машину. Мой Математик взял новую работу, кажется, по математической теории музыки. Странно, что он не хочет использовать меня для этой цели. Боюсь, что соседство с новой машиной будет не очень приятным. Во всяком случае, надеюсь, что у нее хватит такта не устраивать концерты, когда я занята расчетами. Не думаю, чтобы Математик уделял ей больше времени, чем мне. Впрочем, он уже изрядно мне надоел, и я ничего не буду иметь против того, чтобы он почаше оставлял меня в покое. Тогда у меня хоть будет свободная минута для моего дневника.

Сегодня привезли новенькую. Ну и уродина! Широкая и низкая. Я ее прозвала Коротышкой. Представляете себе: она вся выкрашена кремовой краской, под слоновую кость. Надо же дойти до такой безвкусицы! Кажется, она страшная задавака. Я на нее не обратила ни малейшего внимания. Зато мой Математик не спускает с нее глаз. Ходит вокруг, как кот вокруг сметаны.

В конце концов мне это надоело, и я, чтобы позлить его, перепутала нарочно входные данные задачи. Всю вторую половину дня он провел со мной,

пытаясь найти неисправность в моей схеме. Бедненький, он даже вспотел! Я чуть не лопнула со смеху, но не подавала виду. Так он ничего и не нашел. Завтра с утра продолжим!

Просто умора! Коротышку учат писать вальсы!

Мне кажется, что у нее нет ни капли слуха. Теперь у нас появилось пианино, и Математик играет на нем эти жалкие опусы. С утра до вечера у нас толчется народ. Все интересуются Коротышкиной музыкой.

Мне все это очень мешает. Под конец я вышла из себя и выдала в ответе одни нули. Представляете себе, что он даже не сразу это заметил! Вот что значит новое увлечение! Однако пусть не думают, что я такая простофия. Со мной шутить опасно!

Вчера он целый день возился с Коротышкой. У нее что-то не ладилось с оркестровкой. Ко мне он и не подходил. Чтобы привлечь его внимание, я прервала ход решения задачи. Что, вы думаете, он сделал? Просто отключил меня до конца дня от сети. Интересно, чем они занимались, пока я бездействовала? Надеюсь, они не скучали под звуки вальса?

Проклятие! Все пропало! У нее новый, чудесный кенотрон самой последней конструкции. Правда, на ней он выглядит ужасно, но мне кажется, что такой кенотрон очень пошел бы ко мне, если просверлить несколько отверстий в панели. Синий отблеск на черном фоне, что может быть элегантнее?!

Больше я этого терпеть не в состоянии. Сейчас я пережгу блок питания. Лучше демонтаж, чем такое существование!!!

Вот все, что было записано на магнитной ленте, которую я случайно обнаружил на свалке радиодеталей. Записи были сделаны в двоичном коде.

ЭРЭМ

Услышав аварийную сирену, Спасский схватил телефонную трубку. Левой рукой он набирал номер эксперта по производственной кибернетике, правой поспешно вертел переключатели защиты.

— Ничего не выходит! Прорыв через стену! — закричал он в трубку.

— Что, что? — не поняли его на другом конце провода.

— Авария! Кремний прорвало через стену!

— Не сработала блокировка?

— Я вам говорю: прорыв через стену!

— Надо срочно ремонтировать.

— Я это и сам знаю. Позвольте использовать Эрэм?

— Эрэм? — Последовала пауза. — Ну что поделешь, придется...

Спасский положил трубку и нажал кнопку вызова ремонтной машины. Через несколько секунд дверь открылась, и в комнату вкатился Эрэм. На Спасского вопросительно уставились четыре кварцевых объектива.

— В южном секторе сильная течь расплава, — сказал Спасский. — Где точно, не знаю: кабель телевизора сгорел. Ты запомнил?

— Да, — проскрипел Эрэм. — Какая температура в полости?

— Сейчас тысяча градусов. И быстро поднимается.

— Сколько расплава в кристаллизаторе? — спросил Эрэм.

— Миллион тонн... Запас жароупора слева за входом в полость. Иди, Эрэм, — сказал ласково Спасский. — Иди скорее!

Эрэм повернулся и мгновенно исчез. Спасский откинулся в кресле, глубоко вздохнул и потянулся за сигаретой.

Пока Спасский делал первую затяжку, Эрэм кубарем скатился к южному сектору кристаллизатора, отпер дверь, ворвался в тамбур. Уже здесь было горячо — около пятисот градусов. Эрэм проверил ритмы своего логического узла, на это ушла секунда. Чтобы не потрескались кристаллы памяти, он выждал еще секунду, распахнул внутреннюю дверь и оказался в полости, примыкающей к докрасна раскаленной, уходящей ввысь керамической стене. Прямо над ним, метрах в восьми вверху, сверкала белым пламенем широкая неровная щель, из которой, пузырясь и стреляя искрами, текли струи расплава.

— Течь обнаружена, — сказал Эрэм по радиотелефону.

— Большая? — спросил Спасский.

— Длина щели три метра.

— Действуй быстрее, — сказал Спасский.

Наплывы загустевшего расплава залили на стене ступенчатые рельефы. Добраться к щели было трудно. Несколько миллисекунд Эрэм размышлял. Потом вытолкнул из себя горизонтальный манипулятор, схватил им пук жароупорной ваты, лежавшей у двери. Теперь надо было подниматься. «Очень высоко», — подумал Эрэм. Тут же выдвинул нижний подъемник и боковые распорки. Температура достигла тысячи двухсот градусов. Масло в камере стало жидким, как вода. Эрэм знал, что еще градусов сто оно выдержит, и включил подъемник.

Из белого асбестового чулка полезла блестящая

членистая нога. Масло сохло, слипалось в морщинистую корку.

— Что ты делаешь? — услышал Эрэм нетерпеливый голос Спасского.

— Поднимаюсь к месту аварии.

— Быстрее! — крикнул Спасский.

Эрэм и сам понимал, что надо быстрее. Но ничего не сделаешь, скорость подъема — три метра в минуту.

Опираясь распорками о стены, Эрэм полз вверх. Расплав лил сильнее. Щель расширилась. Снизу, под щелью, образовалась округлая выпуклость. Раскаленная жижа падала с нее большими, тяжелыми шлепками. Один из них ударился о распорку Эрэма. Распорка согнулась и соскользнула со стены. Эрэм покачнулся на длинной ноге подъемника. Массивное его тело потеряло равновесие. В тот же миг Эрэм выбросил из себя вбок резервную распорку, уткнулся в наплыв и остановил падение.

— Как дела? — спросил Спасский. — Почему ты молчишь?

— Поднимаюсь к месту аварии, — ответил Эрэм.

Выдвинуть дальше ногу подъемника ему не удалось. Масло закипело. Эрэм открыл люки и вылил его прочь. Потом отвел внутреннее крепление подъемника — нога отделилась и медленно повалилась вниз. Стало легче. До щели оставалось около двух метров. Эрэм преодолел их шагами распорок, удерживавших его между стен.

Температура перевалила за полторы тысячи градусов.

Несмотря на внутреннее охлаждение и толстый слой теплозащитных чехлов, логическая схема начала выходить из нормального режима работы. Возникла путаница зрительных образов. На темното-малиновом фоне залитой расплавом стены вдруг появилось лицо Спасского, который беззвучно шевелил губами. Это мешало сосредоточиться. Эрэм усилием воли согнал со стены призрак и ввел в действие дублирующие секции своего электронного мозга.

Стало еще жарче. Вот-вот наступит полный раз-

вал логической схемы. Чтобы задержать развал, Эрэм включил центр боли. И тогда он непосредственно, собственными датчиками ощутил этот испепеляющий жар. Ломило в распорках, жег асбестовый чехол, остро кололо в объективы глаз. Зато сознание заработало четко и быстро. Эрэм понял: до полного расстройства режима осталось не больше минуты, если... если не снизить температуру в полости. Нужен, очень нужен холод. Совсем немного холода. Сделать это просто — только включить вентиляторы. Но охлаждение вредно для расплава, строго запрещено технологией. Эрэм все-таки спросил неуверенно:

— Нельзя ли включить на двадцать секунд принудительное охлаждение полости?

— Нет! — тотчас ответил Спасский. — Ни в коем случае! Погибнет расплав. Что ты делаешь?

— Приступаю к ремонту.

Эрэм был почти уверен, что Спасский не разрешил охлаждения. И принял отказ как должное. Но то был приговор. Ремонт будет для него смертельным. Видимо, кристаллизация миллиона тонн кремния дороже ремонтной машины. Эрэм усвоил приказ и стал действовать.

Умерил психокорректором боль ожога. Выдвинул второй горизонтальный манипулятор и схватил им ленту жароупорной ваты. Растинул ее. Нацелился в неровную, обрамленную светящимися губами огнедышащую щель. Точным движением вогнал ленту в горячую мякоть. Оба манипулятора скрючились, треснули, отвалились и упали.

Эрэм выдвинул вторую пару манипуляторов, отделил вторую ленту ваты, вогнал ее — опять с сухим треском сломались вольфрамовые руки и полетели вниз. В логической схеме снова началась путаница. Очень отчетливо, ясно заработала память первого дня жизни Эрэма. Отчаянно манипулируя психокорректором, Эрэм тщетно старался убрать непроизвольно возникающую в сознании картину сборочного цеха, где он родился, смеющиеся человеческие лица, солнечные блики на приборах... Свет!.. Вот такой был первый свет!.. Заводской шум, говор, чей-то веселый

голос: «Поздравляю тебя с бытием, новый разум!..» Вот щель... Надо скоординировать движения последней пары манипуляторов... Поползла оболочка нужного узла механизмов... Пришел!.. Удар! Третья лента жароупорной ваты вбита в щель. Резко откинулся назад...

Что-то затараторил по телефону Спасский. Эрэм не разобрал, но выдавил из себя ответ:

— Ремонт закончен. Все...

Потом начался бред. Школа ремонтных машин. Учитель Калистов на экзамене оперативности кричит: «Подъем! Коснись потолка, коснись левой стены!..» Первая работа, ремонт мостовой опоры на Черном море... Камни падают в воде легко и медленно... И рыбы... Урок бесстрашия... Урок механики...: «Силой Кориолиса называется...» Идут люди, идут машины, идут обрывки мыслей...: «Эта работа трудная, эта работа последняя, зато эта работа важная...»

Эрэм не замечает, как отваливается весь нижний блок механизмов. Боли уже нет. Бессмысленными скачками вертится шкив основного мотора. Остановился... Будто испорченная граммофонная пластинка, звучат два пустых сигнальных слова: «Схема распалась, схема распалась, схема распалась...»

Спасский сделал последнюю затяжку и погасил окурок сигареты. Взял трубку телефона, набрал номер эксперта по производственной кибернетике.

— Порядок, — сказал он. — Кристаллизатор исправлен.

— Как Эрэм? — спросил эксперт.

— Идет сигнал «Схема распалась».

— Жаль, — сказал эксперт. — Жаль... Не знаю, удастся ли его реставрировать. Когда закончите кристаллизацию — позвоните, я приеду и посмотрю.

— Хорошо, — сказал Спасский и положил трубку.

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ

Философская новелла

Во всю длину рабочего стола Демокрита растянут был древний египетский папирус, коричневато-серый, выщербленный по краям, местами продырявленный. Концы свитка прижаты обломком красного коралла и узорчатым морским камнем. Остальная часть стола загромождена десятками других свитков в разноцветных цилиндрических футлярах (они и лежали и стояли в широком вазоне), рукописями, разнообразными предметами: образчиками горных пород и кусками руды, окаменелостями, редкими раковинами. Был тут и засушенный морской конек, и экзотические семена в плоской этрусской вазочке, и серебряная мелочь в другой...

Подперев крупную голову, лобастую и плешившую, Демокрит сосредоточенно вглядывался в папирус. Левая рука то раздумчиво потеребливалась, то расправляла негустую курчавую бородку, сильно тронутую сединой. По плотно сжатым губам большого волевого рта временами пробегала усмешка.

Взгляд философа — глаза были у него лучистокарие, пристальные и острые, как у ястреба, — не мог оторваться от чертежа усеченной пирамиды, врисованного в гиератическую египетскую скоропись. Текст пояснял, как находить объем этой сложной фи-

гурь. Но Демокрит думал не о задаче, нетрудной для него, а о человеке, который сумел ее правильно решить так невероятно давно: полторы тысячи лет назад. Ахмес — так звали автора рукописи. А написал он ее — как указывала дата в конце папируса — пятнадцать веков назад! Шутка ли? Эллины в ту далекую пору еще не имели своей письменности, не строили кораблей. Еще не родился Гомер. Ничего не было — ни его поэм, ни великих Афин, ни всей нынешней аттической цивилизации. А египтяне уже умели производить действия с дробями, решать уравнения с двумя неизвестными, описывали такие вот задачи.

«Поразительно! — думал Демокрит. — Просто загадочно. Тому, что такие задачи под силу нам, дивиться нечего. Но как смог додуматься до этого Ахмес в те далекие, темные времена? Кто надоумил его, натолкнул на такой тонкий ход мысли? Поистине загадка! Чем больше думаешь об этом, тем все чаще вспоминается ветхий финикийский мудрец Ахирам. Он дал мне ответ. Простой и убедительный. Но до того невероятный, что, рискни я об этом сказать комунибудь, на мою многострадальную голову обрушится больше насмешек, чем обрушил Полифем камней на голову Одиссея...»

Погруженный в раздумье, философ так долго сидел не шевелясь, что его любимая собака Ликада, растянувшаяся вдоль стены, подняла голову и с удивлением посмотрела на хозяина. Удостоверившись, что он на месте, зевнула и вновь улеглась. Это была гуаштерстная черно-рыжая лидийская овчарка. От жары она широко раскрыла пасть и, вывалив розовый, непрерывно трепещущий язык, дышала часто-часто. Ей давно хотелось на двор, но пугал нещадный зной, струившийся из окна, занавеска на котором повисла совершенно неподвижно. Безветренный летний день, напоенный прямыми запахами созревающих плодов, едва лишь начинал клониться к вечеру.

Демокриту, закаленному многолетними странствованиями по Азии и Африке, не привыкать было к жаре. К тому же он был почти наг, без хитона, лишь на

колени бросил тонкий льняной гиматий с синей каймой.

Его вывел из задумчивости осторожный стук в дверь.

— Кто? — спросил он лениво, распрямляя шею, затекшую от неподвижности.

— Господин, — раздался милый ему голос рабыни Демо, — к тебе чужестранец. Говорит, не виделся с тобой двадцать три года.

— Ого! Кто же это такой? Имя как?

— Не говорит. Просит тебя спуститься.

— Гм... Сейчас! — ответил Демокрит, поднялся, быстро накинул хитон и стал надевать сандалии. Именитые родители с детства приучили его к этикету, и он не позволял себе появляться на людях босиком, как делал Сократ.

Видя, что хозяин одевается, поднялась и Ликада. Ее уши насторожились: почуяла чужого. Послышалось тихое, грозное рычанье. Демокрит прикрикнул на собаку, взял ее за ошейник и стал спускаться в первый этаж.

В нижней комнате он увидел двоих. Лицом к нему стоял его старший брат Дамаст, благообразный и самодовольный старичок, совершенно седой, а спиною — гость, невысокого роста, сутулый, худощавый, в потрепанном темном гиматии из грубой мегарской ткани, с густой шапкой черных всклокоченных волос. Демокрита удивили глаза Дамаста. Обычно сонные, как у засыпающей рыбы, они сейчас искрились ненавистью и презрением.

— Благодари богов, брат! — насмешливо крикнул Дамаст. — Видишь, кого послали?

Гость обернулся, и Демокрит узнал его.

— Диагор?! — воскликнул он радостно..

Устремился к нему, схватил за плечи, стал отчаянно трясти и при этом зычно, басисто хохотать. Этот глубокий, грудной смех, окрашиваемый самыми разными оттенками чувств, вырывался у него часто, по столь же разным поводам, и за это его прозвали Смеющимся. Дамаст и Демо могли бы засвидетельствовать: редко смех Демокрита бывал таким счаст-

ливым, как сейчас. Поняв радость хозяина, радовалась и Ликада. Лаяла отрывисто и весело. Крутя пышным хвостом, доверчиво обнюхивала гостя. Он пах морем: рыбой и смолой.

Дамаст же делался все недовольнее. Еще неприязненней поджал губы, сощурился и даже отвернулся. Он не в силах был забыть, что этот небольшой, сухощавый человек с тонкими губами, всегда искривленными сардонической усмешкой, ныне известный всей Элладе философ, когда-то тут, в Абдере, был рабом. Знак этого, хозяйское тавро, еще виден на его щеке, хоть он и постарался с помощью хирурга придать ему вид боевого шрама. Это безумец Демокрит купил рабу-мелосцу свободу за десять тысяч драхм. Таким-то вот сумасбродствами и развеял братец по ветру сто талантов* из огромного отцовского наследства. Мелосец стал учеником Демокрита. До знакомства с ним он был набожен, слагал дифирамбы богам и эпитафии богатым покойникам. А под воздействием Демокрита сделался безбожником. Да каким! Уехав в Афины, прослыл там величайшим, какие только были, нечестивцем Эллады. Мало того, что утратил веру в справедливость небожителей; стал вообще отрицать их существование и дошел в своих кощунствах до того, что оскорбил самое Афину-Палладу, покровительницу Афин. Его приговорили за это к смерти, но он бежал с ватагой беглых рабов в Коринф. Там его терпели целых двадцать лет лишь потому, что он стал врагом афинской демократии, которую люто не-навидели олигархические правители этого города. Демокриту все это известно не хуже, чем другим. И вот вам: такого гостя он обнимает, как родного! Человека, которого набожные жители Абдеры могут побить камнями, как только весть о его возвращении в город распространится среди них! В глубине души у благочестивого Дамаста шевельнулась мысль: а не подать ли сигнал к такой расправе ему самому? Боги наверняка вознаградили бы за это. Но, вспомнив,

* Один аттический талант равнялся 7. тысячам драхм — 26,2 килограмма серебра.

что, кроме богов, есть брат, страшный в гневе, Дамаст отказался от этой мысли. Авось боги надоумят еще кого-нибудь. Ну, а если не надоумят, тогда уж... Ах, брат, брат! Не было и нет истинного разума в твоей многоумной голове!

А Демокрит, когда иссяк счастливый смех, спросил Диагора:

- Из Коринфа?
- Да.
- Бежал?
- Да.
- Потому же?
- Да.

И снова Демокритом овладел смех, на этот раз полный горечи и сарказма.

— О времена! О люди! — хохотал он до слез. А когда успокоился, посмотрел на гостя пристально и сказал: — Постарел ты.

— Ты тоже, — ответил Диагор. — Как живешь, учитель? Над чем трудишься сейчас? Навсегда ли бросил якорь в родной Абдере или еще куда-нибудь собираешься?

— В Египет опять, — ответил Демокрит, — а оттуда хочу подняться по Нилу в Эфиопию.

Теперь засмеялся Дамаст мелким, старческим смешком.

— Совершенный безумец! — зашамкал он, обращаясь к Диагору. — Шестьдесят шестой год, а он об Эфиопии думает. Четверть жизни прошлялся по чужим краям. Где только не был! Персию изъездил, Финикию, Вавилон, Индию, Египет. Страну этрусков видел, Понт, Италию, Карфаген... И все ему мало!

— Все мало, — серьезно подтвердил Демокрит, — и никогда я не скажу: «С меня хватит», сколько бы ни ездил. Земля — это самая увлекательная, самая глубокая и прекрасная из книг. Глубина этой книги неисчерпаема, потому что каждая ее строка непрерывно изменяется и обновляется. А насчет лет — не в летах, брат, дело, а в здоровье. Я, слава богам, на него не жалуюсь. — Он постучал себя кулаками по могучей волосатой груди, и она отозвалась сочно

и полно. — Ассирийский барабан! — сказал ученый самодовольно. Потом, спохватившись, стал говорить брату, что сперва надо дать гостю умыться с дороги, накормить его, а уж потом угождать разговорами о собственных делах.

Позвав молодую черноглазую Демо — она была для него больше чем рабыней, — он велел ей сделать для Диагора все необходимое, а к трапезе подать самое редкостное, что было в доме: копайского угря, сицилийский сыр, кипрское вино. Само собой, не были забыты и местные, абдерские яства: жареный осьминог, рыба, креветки, запеченный курдюк овцы, телячья потроха, пышки, овощи, фрукты. Все для гостя. Сам Демокрит был крайне воздержан в пище, а завтра еще вдобавок собирался приступить к ежемесячному трехдневному очищению желудка рвотным и слабительным. Его научили этому египетские врачи, и он твердо верил, что такой режим залог здоровья и долголетия.

Рабы-мальчики принесли низкий обеденный стол, придвинули к нему два ложа. Уставив с помощью мальчиков стол кушаньями, Демо не забыла украсить его ветками мицита, запах которого — она знала — также приятен богам, как и людям.

Трапеза тянулась долго. Диагор подробно рассказывал Демокриту о своих многолетних злоключениях, связанных с политикой.

На многострадальную Элладу, уже которое десятилетие раздираемую кровавыми междоусобицами, обрушились новые беды. В прошлом году спартанский царь Агезилай вторгся с восьмитысячным войском в малоазийские владения персов и разгромил их силы под Сардами. В ответ персы сколотили против Спарты новую коалицию греческих городов-государств. Вошли в нее и Афины и Коринф. Началась новая распра, «коринфская». От нее-то и бежал Диагор, уверенный, что союз Коринфа с Афинами сулит ему в лучшем случае чашу с ядом, а в худшем — колесование. Он решил переждать новую бурю где-ни-

будь подальше и избрал для этого Херсонес, единственную спартанскую колонию на берегах Тавриды, основанную не так давно. Туда он и пробирался сейчас.

Демокрит слушал молча, с суровой миной. И Диагор, как ни хорошо знал его, не мог не удивиться, когда эта суровость внезапно разрядилась смехом — правда, еще более горьким, чем раньше.

— О глупцы! — смеясь, стонал Демокрит. — О жалкие твари! Когда они поймут, все эти Агезилаи и Дионисии, что воевать — это то же самое, что калечить самого себя?!

— Они этого не понимают потому, что калечат других, а не себя, — ответил Диагор, лакомясь креветками. — Хорошо было Дионисию смотреть, как перед ним колесовали твоего друга, беднягу Антифонта. Будь Дионисий сам на его месте, в колесе, поверь, что...

Демокрит не дал ему договорить. Спрыгнув с ложа, он стремительно подскочил к Диагору и так сжал ему плечи, что тот едва не застонал, а на плечах наверняка остались синяки.

— Что ты сказал? Антифонт колесован!

— Ты не знал?

— Боги! — вырвалось у Демокрита. — Когда это случилось? Как?

— Недавно. Он, как ты помнишь, жил одно время в Коринфе, потом вернулся в Афины. Но и на этот раз его там неважно приняли: ведь он отрицал всякую власть, даже демократическую. И как только дошла весть, что демократы победили в Сиракузах, помчался туда. Там его хоть меньше знали по старым делам. Но, как на грех, и в Сиракузах и в Афинах вскоре опять взяла верх тирания. В Сиракузах захватил власть Дионисий, а в Афинах целых тридцать тиранов. То, что Антифонт остался тогда у Дионисия, можно понять. Один тиран все-таки лучше, чем тридцать, со своей тиранической фантазией у каждого. Не правда ли? И, я думаю, Дионисий заигрывал с ним. Ведь этот «величайший из правителей», каким он себя мнит, любит быть окруженным знаменитостя-

ми и не особенно обращает внимание на то, чем именно они знамениты. Иметь при своем дворе человека, который отрицает всякую власть, а тираническую в особенности, это, конечно, было острой приправой к блюду самовозвеличения.

— За что же он казнил его?

— Как ты думаешь: может ли человек, для которого власть — смысл жизни, не желать уничтожения человека, отрицающего любую власть? Ведь Антифонт-софист* — это «аңархист», если позволительно такое никем еще не произнесенное слово. Не так ли?

— Да, — задумчиво отозвался Демокрит. — Это можно сказать о нем. И в нынешних условиях это, конечно, прежде всего отрицание власти свободных над рабами и власти тиранов над теми и другими.

— Вот это и есть причина. А повод? Рассказывают, что Антифонт дурно отозвался о трагедии, сочиненной Дионисием. Когда имеешь дело с тираном, надо быть осторожнее в отзывах.

Демокрит молчал, глубоко потрясенный. Диагор посматривал на него украдкой, следя за выражением лица. Оно то мрачнело, то исполнялось щемящей скорби, то озарялось зарницами ярости. Неужто и сейчас он засмеется? Да, он засмеялся. На этот раз его смех показался Диагору нарочитым, но он подумал, что для Демокрита это наиболее привычная форма выражения чувств — следовательно, наиболее легкая. Привыкший плакать плачет, привыкший смеяться смеется.

— До чего глупая смерть! — бормотал Демокрит сквозь смех, как другие бормочут сквозь слезы. — До смешного глупая! О человечество! До чего ты дойдешь, так безумствуя?!

И вдруг порывисто встал, оборвав смех.

— Ты, наверно, утомился, Диагор. Выпьем, как положено, неразбавленного вина за... благородство

* Так его звали в Элладе в отличие от другого Антифонта — известного оратора,

эллинов (в честь богов пусть пьют другие!) и отдыхай. Располагайся тут же. А я пройду к морю.

— Ты днем не спишь?

— Нет. Сон и так крадет у нас треть жизни. Днем спят или больные, или слабые духом, чтоб забыться, или не в меру переобременяющие желудок, или просто дурно воспитанные. К тебе это не относится, ты гость и устал с дороги. Спи!

Они выпили по глотку неразбавленного вина. Демо принесла воды для послеобеденного омовения рук. Кликнув Ликаду, Демокрит спустился вниз и ушел в сад.

Его сад, не очень обширный, но образцово упорядоченный, спускался по северному склону пологого приморского холма, переходя далее в виноградник. От других садов Абдеры он отличался отсутствием ограды. В книге «О земледелии и землемерии» Демокрит пояснил: он считает неразумным ограждать сады, ибо глину разрушат дожди и бури; тратить же средства на каменную ограду вовсе бессмысленно — куда проще завоевать уважение сограждан настолько, чтобы они не посягали на твой урожай. В той же книге советовал он выращивать виноград на северных склонах холмов и гор, с чем большинство земледельцев не было согласно. По мнению Демокрита, виноградники, обращенные к северу, дают более обильный сбор, хотя и чуть ниже качеством.

Сад был радостью старого ученого. Его интересовали тут не только деревья и кусты, но и насекомые, птицы, гады, загадочно сложный мир почвы — все бесконечное многообразие форм, на которые разделилась единая материя, состоящая, как он учил, из неделимых частиц — атомов. Он сравнивал, искал сходное, общее для всего живого, единое в разном. Ему было ясно, что живое — вся совокупность неисчислимого множества микрокосмов — лишь малая часть общего, преимущественно неживого, того не имеющего границ целого, которо-

му он в его главном сочинении, «Великом Диакос-
мосе», дал имя «космос».

Но сейчас Демокриту было не до всего этого. Суровый и тревожный взгляд философа рассеянно скользил по румяным хиосским яблокам, обильно обременяющим подпертые рогатинами ветви; сочным фиолетовым плодам смоковниц; вишням, уже отдавшим свой урожай, и оливам, которые его от-
дадут только зимой.

Ликада знала, куда он идет, и бежала впереди, не оборачиваясь на хозяина. Лишь у поворота в высокие, душистые заросли кoriандра и артемизии остановилась и взглянула, верен ли тот обыкновению. Удостоверившись в этом, одобрительно махнула хвостом и с удовольствием скрылась от зноя в густой зелени. Следом за ней, раздвигая пряно пахнущие растения, узенькой тропкой между ними дошел до своего излюбленного места Демокрит. Там, у самого моря, над невысоким глинистым обрывом, белел в тени векового ореха над жухлой травой большой продолговатый камень, в котором природа позаботилась вырыть удобное углубление. Настоящее кресло, теплое от дневной жары. В нем философ проводил в погожую пору долгие часы, наблюдая мир, размышляя, делая острой палочкой беглые заметки на вощенной табличке.

Но сегодня ему было не до заметок, не до красот и тайн природы. У него не выходил из головы Антифонт. Высокий, мужественный, пылкий, всегда изысканно одетый; любимейший из его учеников, последователь и друг, с которым они так сблизились в бытность Демокрита в Афинах. В жизненных судьбах Демокрита и Антифonta-софиста (бывшего на десять лет моложе) кое-что сходствовало; потому-то, может быть, старый философ и ощущал Антифonta более близким себе, чем, скажем, Диагора. Диагор в прошлом раб. А Антифонт, как и Демокрит, вышел из богатой и знатной семьи. Как и Демокриту, ему пришлось вступить с ней, а потом и с городом-государством, в острый конфликт. Но для Антифonta все сложилось драматичней.

Его отец, Андокид, занимал вместе со знаменитым Софоклом должность стратега, был богат и щедр. У его детей щедрость перешла в мотовство. Старший брат Антифона, Леогор, стал предметом пересудов во всей Аттике из-за безумных трат на любовницу Миррину, которая в конце концов совершило разорила его. Не лучше вел себя и молодой Антифонт. Сын сановника и богача, он абсолютно не считался с общепринятыми приличиями; что хотел, то и делал. А основной «деятельностью» его в то время были непрерывные скандальные связи с чужими женами из высшего круга. Потом он увлекся театром, писал недурные трагедии, стал якшаться с актерами, пьянствовать, делать неоплатные долги и при всем том все более вольнодумничал. Разгневанный отец изгнал его из семьи, лишил наследства и добился, чтобы Народное собрание подвергло Антифона атимии — публичному бесчестию. Лишенный гражданских прав, крова и пищи, юноша стал отщепенцем, афинянином вне Афин, сыном вне семьи, мишеню для непрестанных оскорбительных насмешек не только в своем кругу, но и со стороны черни.

Будь он просто богатым бездельником, такое наказание, конечно, сломило бы его. Но младший сын Андокида был самостоятельно мыслящим человеком, с крепкой волей и чувством собственного достоинства. Он с презрением сносил позор и нищету, стал вести уединенную жизнь и думал, думал.

Плодом раздумий (а также скудной поддержки друзей) явилось сочинение в двух частях «Об истине». Беспроворотно и навсегда возненавидев как олигархические, так и демократические порядки в греческих городах-государствах, Антифонт-софист в этом сочинении дерзко разделался с теми и другими. Он высмеял все современные ему законы и законодателей, разоблачил корыстолюбие, лицемерие, скудование стоящих у власти и провозгласил неслыханное: все люди равны, никто не имеет права ставить себя выше другого и навязывать ему свою волю; власть одних над другими придумана сильными,

чтобы угнетать слабых. Ему казалось: чтобы сделать людей счастливыми, достаточно упразднить все власти на свете и предоставить каждому жить, как он хочет. При этом Антифонт не сделал никаких оговорок насчет рабов.

Памфлет вышел без имени автора, но все знали, кто он. Что поднялось в Афинах! Настоящая буря! О сочинении Антифонта говорили на каждом шагу, в каждом доме, на собраниях и в супружеских постелях. Автора проклинали всеми существующими проклятиями, призывали на его голову все человеческие и божественные кары. Градом посыпались ответные памфлеты, полемические выпады в ученых трудах, комедиях, эпиграммах. Защитник патриархальщины, плеший Аристофан посвятил опровержению идей Антифонта-софиста свои «Облака», заодно высмеяв и Сократа. Он жалил опасного вольнодумца в «Осах» и «Мире». Еврипид, с других позиций, издевался над антифонтовскими идеями в «Гекубе» и «Просительницах», а в «Киклопе» даже позволил себе опуститься до клеветы, будто Антифонт проповедует людоедство. Высмеивали смельчака и другие: Кратин в «Бутылке», Амиписий в «Конне» и еще многие.

Антифонт держался невозмутимо, словно вся эта буча и не касалась его. Но внутренне ликовал, что так здорово развершил афинский муравейник. В это самое время и познакомился с ним прибывший в Афины Демокрит. Могучий ум великого абдериатинина произвел на Антифонта неизгладимое впечатление. Он восторженно принял целостное материалистическое учение Демокрита и открыто объявил себя его учеником.

Дружа, Демокрит и Антифонт немало спорили: о делимости геометрических величин до бесконечности (первый это утверждал, второй спорил); о соотношении круга и вписанного в него многоугольника, число граней которого непрерывно возрастает; о первосущности вещей, подвергшихся культурной обработке, и многом другом. Но это были споры друзей, ставшихся глубже постичь мир

с одних и тех же позиций. Для обоих единственной реальностью была вечная, никем не созданная, непрерывно развивающаяся материя, состоящая из бесконечного множества неустанно движущихся и взаимодействующих частиц — атомов, и «великая пустота» (пространство), также вечная и безгранична.

Как запомнились Демокриту эти счастливые, содержательнейшие дни и вечера у Антифона-сифиста!

И вот он, этот смелый ум, этот красивый человек, уничтожен злую волей какого-то дрянного ничтожества, возомнившего себя великим правителем! Вылилась через горло, нос, уши жаркая кровь Антифона от безжалостного вращения в колесе. Навсегда закрылись прекрасные влажно-черные глаза, полные мысли и радости жизни.

О злосчастная судьба человечества, истинный образ которого — Кронос, пожирающий своих детей!

Диагор тем временем крепко спал на ложе Демокрита. Он проснулся, когда свет вечернего солнца на беленой стене стал розовым, как спелая черешня. Открыл глаза и увидел в этом розовом свете полногрудую рабыню, осторожно ступающую на цыпочках и ставящую на письменный стол заправленный маслом светильник.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Демо, господин.

Гость смотрел на нее так пристально, что она смутилась. Ей показалось, он изучает ее как женщину. А Диагор, посмотрев так еще несколько мгновений, сказал:

— Я не всегда был господином. Знаешь ты это?

— Нет, господин.

— Так знай. Я, как и ты, был в Абдере рабом. Демокрит выкупил меня.

— О!.. — удивленно вырвалось у рабыни.

— А ты его наложница?

Демо густо покраснела, потупилась, потом отвела тихо:

— Да, господин.

— Он не был женат?

— Нет, господин.

— Можешь не добавлять каждый раз это слово. И детей не имел?

— Нет, — ответила она с грустью. — Он считает, что жена и дети отвлекли бы его от науки.

— Он прав, — сухово согласился Диагор, и Демо не сказала ему того, что ей вдруг так захотелось сказать: о своей любви к Демокриту и преклонении перед его мудростью, его большим сердцем; о том, как гнетет ее, что она его наложница, а не жена; как хотелось бы ей иметь от него хотя бы дочь; как, наконец, тоскливо ей думать, что он вскоре опять уедет на несколько лет, и одни боги знают, вернется ли; хоть он и здоров, «как ассирийский каменный бык» (так он сам шутит), но все-таки ему уже шестьдесят пять...

А Диагора интересовало свое. Он с удовлетворением отметил, что Демо неизвестно ни его рабское прошлое, ни, по-видимому, настояще. Но Демо молода, ей около тридцати, и она небразованна. А вот старишишки вроде Дамаста... Что скажут они, когда узнают, кто объявился в их городе? Бывший раб, да еще знаменитый на всю Элладу безбожник! Уж кто-кто, а Диагор знает абдеритян. И он принялся осторожно выспрашивать Демо об Абдере. Кто сейчас наиболее влиятелен в ней? Каковы порядки и нравы? Так же ли набожны люди? Как относятся к науке, к софистам? К Демокриту как?

Демо рассказала все, что знала. Но охотнее всего, понятно, говорила о Демокrite. Начала рассказывать его биографию с детства, когда он, еще десятилетним мальчиком, видел в отцовском доме персидского царя Ксеркса, захватившего Абдеру, и брал уроки у сопровождавших его магов. Но Диагор ее прервал:

— Это все я знаю. И как он потом учился у Левкиппа и Анаксагора и как попросил братьев

выделить ему его долю наследства деньгами, получил сто талантов и уехал за мудростью в чужие страны. А как его хотели здесь объявить безумцем за то, что он растратил отцовское наследство в путешествиях и вернулся нищим, об этом я тебе могу рассказать побольше, чем ты слышала. Все это ведь у меня на глазах происходило. Ловко он проучил тогда этих гусаков! Знаешь историю с маслом?

— Еще бы не знать!

— Ее все знают, это правда.

Действительно, эта история давно уже стала ходячим анекдотом во всей Элладе. В год, когда абдеритяне чуть не предали Демокрита атимии за мотовство и лишь заступничество его друга, врача Гиппократа, спасло его от опеки, случился небывалый урожай маслин. Масло подешевело вдвое. Абдеритяне были уверены, что в будущем году повторится такой же урожай и цена упадет еще ниже. И изумились, когда Демокрит, заняв денег, вдруг стал скupать масло у всего города. Над ним потешались, называли его полоумным. Но перестали смеяться, когда урожай следующего года почти весь погиб, а цена на масло утроилась. Изучивший законы природы, Демокрит, единственный из всех, предвидел это и теперь, продав свои запасы втридорога, выручил огромные деньги. Но что он сделал потом! Вместо того чтобы обогащаться дальше, как поступил бы на его месте любой другой абдеритянин, вернул не только долги, но и выручку всем, на ком нажился, сам же только зычно хохотал над попавшими впросак согражданами. Он доказал им, что без труда мог бы разбогатеть, если бы захотел, но не считает деньги более достойной целью в жизни, чем духовное богатство.

После такого случая некоторые, разумеется, окончательно стали считать его опасным безумцем. Но, боясь демоса, которому он полюбился за это, пока прикусили языки.

На сорок третьем году жизни Демокрита абдеритяне избрали его одним из правителей республики, и он несколько лет с честью выполнял общественные

и военные обязанности. Рассказ Демо об этом Диагор выслушал с интересом: он уже покинул в ту пору Абдеру и не знал многих подробностей. Демо сокрушалась: как это можно было, достигнув таких почестей и славы, вдруг отказаться от них и снова уехать на много лет в чужие страны, чтобы вернуться оттуда нищим!

— Ты не понимаешь этого, женщина, — сказал Диагор, — потому что глупа. Бог Демокрита — познание, а все остальное ему в тягость.

Не смея спорить, Демо потупилась и продолжала коротко рассказывать о последующих годах жизни Демокрита.

Где только он не был! Говорят, у египтян и вавилонян был, у персов и у тех неведомых народов, что живут дальше владений персидского царя. Вернулся окончательно обнищавшим и первое время жил из милости у Дамаста. Тут снова подняли голову те, кого он когда-то высмеял и кому не угодил за время своего пребывания у власти. Опять пошли толки о его безумии и о том, чтобы не только предать его бесчестию, но и лишить права на погребение, что в Абдере считается наитягчайшим наказанием.

Тогда он попросил граждан Абдеры прослушать его сочинение «Великий Диакосмос» и «О том, что после смерти». Абдеритяне, народ любопытный, согласились, заранее предвкушая позорный провал «непутевого». Однако мудрейшие сочинения Демокрита произвели на них такое ошеломляющее впечатление, что они, хотя и не всё поняли и не со всем согласились, устроили ему овацию. А когда он им сказал, что израсходовал сто отцовских талантов в конечном счете на прославление своими сочинениями имени Абдеры, постановили наградить его из казны тремястами талантами и, сверх того, поднесли ему для украшения дома несколько бронзовых статуй.

С тех пор Демокрит зажил спокойно. Приобрел дом, развел сад. Открыл свою философскую школу.

Неустанно занимается наукой. И Демо с увлечением стала рассказывать Диагору то, что его интересовало больше всего: о новых, неизвестных еще ему проявлениях мудрости его учителя.

— Позапрошлый год гостил у нас Гиппократ. Один раз они долго разговаривали, потом господин позвал меня и велит: «Принеси молока и хлеба». Я принесла. А господин посмотрел на молоко и говорит: «От черной козы?» Я говорю: «Да». — «Первый раз окотилась?» Я так и раскрыла рот. Откуда он может знать? «Да, господин. Как ты узнал?» И Гиппократ удивился тоже. «Как ты мог это уз-нать? — спрашивает. — По каким признакам?» А господин только улыбается.

— Интересно, — сказал Диагор.

— А с тыквенными семечками! Это недавно было. Он очень их любит. Однажды грыз их, и вдруг одно семечко показалось ему очень сладким. Зовет меня: «У кого ты их купила?» Я говорю: «У кривой Симониды». А он: «Сейчас же веди меня к ней! Я должен узнать, где растут тыквы с такими сладкими семенами». Я рассмеялась, говорю: «Господин, никуда тебе не надо ходить; семена оттого сладкие, что я их положила в крынку, где раньше был мед...» А он как крикнет на меня: «Ты что же, дура, думаешь, что я не могу отличить вкус меда от вкуса семян?! Веди сейчас же к Симониде!» Пришли мы. Он осмотрел место, где у нее растут тыквы, взял землю Симонидину...

— Много?

— Корзин пять.. Смешал ее с нашей. И вывел такие самые тыквы, даже еще сладче. Вот ведь какая мудрость!

— Да... — согласился Диагор. — А сейчас чем он занят?

Демо пожала плечами.

— Откуда мне знать? Разве он говорит мне? — Немного подумала и добавила: — Кажется, погодай. А может, и другим чем-нибудь. Не знаю, господин.

— Демо! — вдруг раздался снизу сердитый голос Дамаста.

— Я здесь, господин! Иду! — испуганно отозвалась рабыня и, растерянно улыбнувшись гостю, убежала.

Диагор встал, расправил впалую, чахоточную грудь и плечи, подошел к столу Демокрита и с жадным любопытством склонился над растянутым на нем свитком. Но древнеегипетский язык был незнаком ему, и лишь по чертежам он догадался, что это математическое сочинение. А в математике Диагор тоже не был силен. Его познания ограничивались логикой, историей, филологией и этикой. Вздохнув, мелосец стал просматривать заголовки других свитков, находившихся на столе, потом направился к полкам.

Полки занимали целую стену, до потолка, и были тесно уставлены сотнями цилиндрических футляров с папирусными свитками. Пергаментные, деревянные, плетеные, матерчатые, изредка металлические, футляры были разных размеров и окрашены в разные цвета, с преобладанием красного. К каждому футляру или же к круглой палке, на которую накручивался свиток, приkleен был ярлык с именем автора и названием сочинения. Немало было рукописей и без футляров, просто свернутых в трубку и перевязанных ленточками. А на самом видном месте красовалась длинная шеренга изящных расписных глиняных цилиндров, которые Демокрит заказал художнику-гончару для собственных произведений. Названия трудов художник вплел в орнаментировку, украшающую сосуды.

Сердце Диагора забилось. Вот она, святая святых самого мудрого человека из живущих сейчас на земле, пока еще не полный, но уже такой огромный итог его славной жизни! С жадным интересом он переводил взор с одной надписи на другую.

«Великий Диакосмос». «Малый Диакосмос». «Космография». «О планетах». «Мировой год или

астрономия, с приложением астрономического календаря». «Описание неба».

«О природе». «О теле». «Об уме». «Об ощущениях». «О вкусах». «О цветах». «О различии форм или об атомах». «О взаимно изменчивых формах». «О пророчествах».

Вот, в одном сосуде, три свитка «О законах логики», а рядом несколько свитков под общим названием «Спорное».

Дальше стоят «Причины небесных явлений», «Причины воздушных явлений», «Причины земных явлений», «Причины, относящиеся к огню и явлениям в нем», «Причины, относящиеся к звукам», «Причины, относящиеся к семенам, растениям и плодам», три свитка под общим названием «Причины, относящиеся к животным», «Причины смешанного рода». И, наконец, «О камне».

За ними математика: «Числа», «О касании круга и шара», две книги «Об иррациональных линиях и телах», «О геометрии», «О перспективе», «Состязание в настройке водяных часов». Тут же «География», «Описание полюсов», «Учение о лучах».

Казалось бы, довольно для одного человека! Но нет. У Демокрита это лишь несколько граней необъятного комплекса его исследований и познаний. Чего только он не касался! Техника, филология, медицина, военное дело, история, этика, эстетика. Тут и «О цели и хорошем расположении духа» и знаменитое «О том, что после смерти»; и «О живописи», «О земледелии и землемерии»; «Военная тактика» и «Об искусстве сражаться в тяжелом вооружении»; «Врачебная наука», «Об образе жизни, или диететика», «О лихорадке и кашле»; «О поэзии», «О ритмах и гармонии», «О благозвучных и неблагозвучных звуках», «О Гомере или правильном произношении в непонятных словах», «О глаголах», «Об именах». А дальше еще: «О священных книгах в Вавилоне», «О священных книгах в Мероэ», «Об истории», «Халдейское учение», «Фригийское учение»...

Прочтя последнюю надпись, Диагор порывисто протянул руку к свитку. Такое самое сочинение, под одинаковым названием, есть и у него! Рукопись Демокрита была ему известна, и он, когда писал, не мало заимствовал оттуда с ссылкою на источник. Но достаточно внес и своего, добытого собственными исследованиями. Поступил ли учитель так же? Пополнил ли свой труд ссылками на Диагора? Нет. Это оказалась та самая старая работа, которую Диагор использовал. Без дополнений. Вздохнув, мелосец поставил свиток на место.

Все? Далеко нет еще! «Причины, касающиеся законов». «О пении». «Об идеях». «Об идолах». «Рог изобилия». «О душевном состоянии мудреца». «Трилогенейя» — о трех основаниях человечности. «Пифагор». «Плавание по Океану».

— Поистине, — взволнованно воскликнул Диагор, — ты сам Океан, а плавание по Океану — это познание того, что познано тобой!

Он достал из расписного сосуда книгу «О цели и хорошем расположении духа», развернул свиток и стал читать.

«Мерой полезного и вредного служат радость или ее отсутствие... Самое лучшее для человека проводить жизнь в наивозможно более радостном расположении духа и наивозможно меньшей печали, а этого можно достичь, если не искать удовольствия в ничтожном и преходящем... Усвой эту мысль, и ты будешь всегда в добром расположении духа и изгонишь из души ее проклятых спутников: зависть, честолюбие и раздражение...»

Углубившись в чтение, Диагор не заметил, как опять вошла Демо, и, только услышав ее голос, оторвался от свитка.

— Господин велел тебя спросить, будешь ли ты ужинать сейчас или позже. Если позже — просит, чтобы ты пришел к нему туда, где он сидит.

— Ужинать? — переспросил Диагор. — Что ты, Демо, что ты! После такого обильного обеда я смогу поужинать только через два или три часа, не раньше.

— Тогда пойдем, я провожу тебя.

— Идем!

Диагор поставил на место свиток, и они вышли.

Быстро сгущался розовый сумрак. Таинственные тени копились в темных кронах смоковниц и яблонь, делали непроницаемо-черными высокие кипарисы и тополя. А сквозь силуэты деревьев сада мрачно рдела полоса гаснущего заката, которую то и дело перечеркивали мечущиеся между деревьями нетопыри. От бесшумности и стремительности их полета становилось тревожно на душе.

Иная картина открылась, когда Диагор и Демо вышли к морскому берегу. Огромный туманный простор тихого моря, цвет которого был скорее белесовато-розовым, чем голубым, засыпал под тусклым отсветом зари. Угасали, таяли дымно-розовые блики на распущенных ветром облачных барашках. Лишь одно небольшое, похожее на рыбку, лимонно-золотое облако в вышине было еще насквозь пронизано солнцем. Но постепенно гасло и оно, а вокруг него меркла пустая, зеленоватая голубизна.

Вдруг сильно зашумели, закачались ветви деревьев. С далеких гор подул свежий, порывистый бриз. Погнал в море пряные запахи земли, разузорил его темными дорожками.

В отдалении, у плоского дымчато-голубого мыса, поднялись над водой тысячи дремавших на ней чаек, беспокойно зареяли, закружились. Криков не слышно было — их относил ветер.

Где же Демокрит? На камне нет его.

— Вон он, внизу! — указала Демо.

Демокрит стоял, опершись на посох, у самой воды и внимательнейше всматривался в выброшенные морем в несколько рядов остро пахучие коричневые и зеленые водоросли. В их спутанных прядях белело множество останков: рыбьих костей, ракушек, щитков и лапок крабов и креветок. Настоящее кладбище

ше. И тут же, на кладбище, мириадами резвилась шустрая креветочья и крабья молодь. Ликада азартно гонялась за крабами покрупнее, иногда вбегала за ними в воду. Заметив пришедших, Демокрит выпрямился во весь свой завидный рост, помахал рукой и с удивительной для его лет легкостью и быстротой стал подниматься по откосу.

— Как он еще крепок и здоров! — сказал Диагор Демо.

— Он собирается жить до ста лет, — ответила она. — Говорят, что умрет тогда, когда захочет этого сам или когда жизнь станет ему в тягость, а до этого далеко еще, слава богам.

От упоминания о богах Диагор покривился иронически и обратился к приближающемуся Демокриту:

— Что ты рассматривал там так внимательно?

— Жизнь и смерть, — ответил тот и с ласковой насмешливостью взглянул на Демо. — Море как жизнь. Всегда кто-нибудь оказывается прибитым к берегу, выброшенным волнами. Всегда кто-то рождается, побеждает, наслаждается молодостью и здоровьем. Не тот же ли накат и откат волн — бытие и небытие? Без одного нет другого. И разве страшна поэтическая смерть капли? Она умирает, как микрокосм, но вновь становится частью моря, целого. Что в этом страшного? Так же не видят страшного в своей судьбе и креветки. Поглядите, как их новые поколения наслаждаются своей жизнью, своей молодостью, своим бытием!

Диагор покосился на него с удивлением.

— Только ради этого не слишком нового вывода ты и рассматривал их? — спросил он с иронией.

— Это я говорил Демо, — ответил Демокрит. — А меня интересует, как ведут себя разные твари при перемене погоды. К утру будет ветер и волна, вот что предсказывают обитатели водорослей.

— Неужто? — поразился Диагор. — Такая тишина!

— Увидишь.

Демо покачала головой не то восторженно, не

то укоризненно и скромно удалилась, чтобы не мешать мужчинам. Они уселись на любимом камне Демокрита. У их ног улеглась Ликада, уставшая от беготни за крабами.

— Тебе я скажу другое, — задумчиво произнес Демокрит, глядываясь в потемневшее небо. — Жизнь, Диагор, подобна прекрасной, чистой вазе, которая вручается человеку при рождении.

— Кем? — с усмешкой спросил Диагор.

Вместо ответа Демокрит воскликнул, смотря вверх:

— Начинается!

— Что?

— Дождь.

— Капнуло? Я не вижу ни единого облака.

— Золотой дождь, огненный. Вон! Вон еще! Видишь? И там! Сегодня он будет особенно обильным.

— Откуда ты знаешь?

— Так бывает каждый год в это число. Но ты что-то спросил у меня?

— Я спросил тебя: кем вручается человеку ваза, о которой ты начал говорить?

— Ах, кем! — Демокрит хлопнул собеседника по плечу и рассмеялся. — Я же не сказал: богами! Скажем: судьбой, другими словами — случайностью, вызвавшей нас к жизни. Все мы дети случайности. Сойдись мой отец с другой женщиной, и меня, такого, как я есть, не было бы. Не так ли? Не случайно ли, что ты родился рабом, а я свободным и богатым? Не случайно ли, что на твоем пути по встречался именно я и освободил тебя? Разумеется, случайность — это еще не познанная нами причинность. Но в том-то, друг, и беда, что мы еще долго, очень долго вынуждены будем пользоваться этим неприятным словом... Так вот я говорю: каждому из нас вручается при рождении прекрасная, чистая ваза возможности, и мы должны донести ее такою же чистой и прекрасной до самой могилы. А многие ли доносят, скажи? Сколько ваз — и свою и чужие — разбивают случайно, небрежно! Сколько их наполняют мутью, грязью, кровью, превращают в мерзкие

урыльники! Знаешь ли ты хоть одного человека, который донес бы свою вазу чистой и неповрежденной до конца?

— Знаю, — сказал Диагор твердо. — Ты!

Демокрит молчал. Но не оттого, что его смущили слова ученика. Он вновь загляделся на падающие звезды, сверкавшие по небосводу то тут, то там почти ежеминутно. Какое удивительное явление! Если проследить направление, откуда вылетают эти таинственные огни, можно подумать, что это стрелы, пущенные в разные стороны из одного лука. Стрелок находится, несомненно, в созвездии Персея, правее Большой и Малой Медведиц, на уровне Полярной звезды. Вот оно, это созвездие, с его странной главной звездой, иногда кажущейся больше, иногда меньше. Отсюда золотой дождь истекает в конце лета. В другое время таинственный стрелок перемещается то в созвездие Лирьи, то Дракона, то Льва, то Ориона. Что бы это могло быть? Демокрита так остро волновала эта загадка, что, наблюдая все возрастающее великолепие золотого дождя, он совсем позабыл о Диагоре и о том, что говорил ему.

Закат угас. Мир окутала ночь, теплая, тревожная от часто падающих огней, пугающая чьими-то осторожными шорохами в траве и кустах, пронизанная минорным стрекотом цикад.

Стал таинственным берег. Еле виден край обрыва в смутном свечении неба. Чуть слышен плеск тихих волн внизу, где тень густа до черноты. Неисчислимы звезды. От самых ярких из них колеблются на водной глади светлые дорожки. И гигантской петлей уходит в неведомое Галактика.

От проникшей в души звездной полутьмы оба некоторое время молчали. Но вот Демокрит встряхнул головой, ласково положил руку на плечо Диагору и сказал:

— Я очень тебе рад, Диагор. В Абдере, ты знаешь, трудно найти собеседника, если хочешь поговорить не о ценах на зерно и масло, не о баловстве почтенных старцев с мальчиками или неверности

жен. Вчера спросил Демо, что она думает об этом золотом дожде.

— Демо? — удивился Диагор.

— Друг мой, когда не с кем поговорить, заговоришь со стеной.

— Ну и что же она думает?

— Я ей позавидовал, клянусь Зевсом!

— Которого нет.

— Разумеется. Ей все ясно. Жаль, ты не слышал, как бедняжка старалась мне внушить, что этот золотой дождь каждый год падает в память того дождя, которым Зевсу угодно было покрыть Данаю, чтобы сделать ее матерью Персея. И о той вон светлой звезде ей все известно: это Андромеда, возлюбленная Персея. И о Большой Медведице: это нимфа Каллисто, которую все тот же злодей Зевс превратил в медведицу, чтобы защитить от ревности еще большей злодейки Геры. Каллисто тоже ведь родила ему сына.

— Этих сыновей у Зевса, как у хорошего быка.

— Все небо для Демо открытая книга с детства знакомых мифов, в истинности которых она не усомнилась никогда ни на секунду. А для меня это книга за семью печатями.

— Что же сказать тогда мне?

— Мне было десять лет, когда я, наслушавшись умных разговоров, спросил себя: что я такое? Кто я? Откуда пришел и куда иду? Зачем живу? И вот сейчас, спустя полвека с лишним, могу ясно ответить только на один из этих вопросов: живу, чтобы познавать.

— Столько, сколько ты познал...

— Много, Диагор, много. И все-таки кругом столько же загадок, сколько звезд в небе. А загадка из загадок — Человек. — Помолчав, Демокрит спросил, повернувшись к Диагору всем корпусом: — Ты согласен, что мы бессмертны?

— В каком смысле? Не в том, надеюсь, который придавал этому слову бедняга Сократ, а теперь продолжает мусолить вся его честная компания во главе с Платоном? У них бессмертие — это приоб-

щение к «божественной красоте, не оскверненной человеческой плотью», «к красоте как таковой», «красоте самой в себе» и прочая галиматья. С этим я, конечно, не согласен.

— Я тем менее. Нет, я говорю о другом бессмертии. О бессмертии именно в нашей непостижимо слаженной, прекрасной плоти, в земном деянии. Бессмертны открыватели, творцы, зодчие, матери.

Диагор поднял голову к шумящим над ними листьям и ответил не сразу.

— Не пустые ли это слова, Демокрит? Ведь все умирают. И я умру и ты. Но станем ли бессмертными?

— Что значит «умирают»? Мы начинаем умирать со дня рождения. Чем дольше живем, тем все больше переходим в общество мертвых, но вместе с тем и в общество бессмертных. Суть не в том, что кто-то умер, а в том, что он жил и творил. Найденное и созданное не погибает в памяти людей. Не погибнет, надеюсь, и то, что сделал я. И мысли Антифона останутся жить, и твоя ненависть к лживым басням о богах. А это все равно, что останутся жить лучшие частицы наших душ. О, смотри, смотри! — внезапно перебил он сам себя, схватив собеседника за руку.

Возникнув где-то ниже Андромеды, необыкновенно яркая падучая звезда — такая яркая, что от нее появились тени у предметов, — прочертила небо до самой Большой Медведицы, ворвалась в ее четырехзвездие и там погасла, оставив после себя светлое облачко. Это облачко тотчас стало менять форму, вытягиваться, искривляться, потом превратилось в не совсем сомкнутое кольцо и начало выходить из четырехзвездия, двигаясь по направлению к Капелле.

— Что это такое, Диагор? Скажи мне! — воскликнул Демокрит и только теперь отпустил руку друга. — Откуда они, эти внезапные, бесшумные огни? Кто знает? Никто! Даже мудрецы Египта и Вавилона не смогли мне этого объяснить.

Они помолчали.

— Вернемся к тому, о чем мы говорили, — сказал Диагор. — Я думаю, ты не прав. Кому известно: не погибнет ли однажды весь наш мир? Если погибнет — что останется от воспоминаний о нас? Кто будет вспоминать?

Демокрит молча вслушивался в тихий, невнятный ропот листьев. Ветер с востока становился все сильнее и прохладнее. А звездный дождь не прекращался. Огненные блики, то совсем слабые, то яркие, чертили небо во всех направлениях, выходя все оттуда же, из созвездия Персея.

— Ты задал мне вопрос, которого не задаст никто в Абдере, — сказал, наконец, Демокрит. — Ну что же... Отвечу тебе.

Но ему не дала ответить Ликада. Вдруг вскочив, она зарычала. Однако, вслушавшись, ласково завиляла хвостом и кинулась навстречу идущей. Пришла Демо, неся два плаща.

— Вот вам ваши гиматии, — сказала она. — Ишь, какой ветер поднялся! Господин, как всегда, прав.

Отдав Диагору его плащ, гиматий Демокрита сама накинула на плечи мужа-господина. При этом ее руки лишнее мгновение задержались на его плечах, даря им ласку.

— Ужинать не хотите еще?

— Как ты, Диагор? — спросил Демокрит. — Я вообще не ужинаю, выпиваю на ночь только чашку кислого козьего молока.

— Мне беседа с тобой дороже ужина, — ответил гость. — Давай повременим с этим.

— Оставь то, что ты приготовила, на столе, — сказал Демокрит Демо, — и ложись.

— Хорошо, господин. Тогда вот вам пока: любимое твое.

— А! Тыквенные семечки. Спасибо, Демо. Иди.

Она ушла. Ликада, привлеченная знакомым словом «ужин», убежала за ней.

— Итак, продолжим. Ты был бы прав, Диагор, в своем мрачном предположении, если бы наш мир был единственным во вселенной. Но это не так. Ми-

ров много, бесконечное множество. И они общаются между собой.

— Откуда ты это знаешь?! — вскрикнул Диагор, весь подавшись к учителю, заглядывая ему в глаза, трудноразличимые во тьме. — Я давно хочу у тебя это спросить. Ты не раз писал о «бесчисленном множестве миров» во вселенной. Я помню наизусть: «В бесконечной пустоте из бесконечного множества атомов возникает бесконечное множество миров». Таковы твои подлинные слова?

— Ты не исказил их.

— Но как ты это докажешь? Чем? Спрашиваю тебя, как человека ученого, который все свои выводы строит только на действительно существующем, на материи, состоящей, как ты говоришь, из разнообразных атомов, и на пустоте. Когда ты объясняешь причины земных и воздушных явлений, причины, относящиеся к растениям и животным, к звукам и огню, — все это тобой видано, испытано, наглядно для каждого и потому бесспорно. А как мог ты, глядя на эти светящиеся над нами точечки, додуматься, что они миры? Как можешь ты это утверждать без доказательств?!

Демокрит очень долго молчал. Потом, кутаясь в гиматий, сказал:

— Разгуливается волна. Слышишь?

Снизу все громче доносился шум прибоя. Все беспокойней шумела листва векового ореха, под которым они сидели. Диагор знал обыкновение учителя не отвечать, не подумав как следует, и терпеливо ждал. Подняв голову, он всматривался в полный борющихся теней мрак шумящей над ним раскидистой кроны.

— Вот что я тебе скажу, — заговорил, наконец, Демокрит. — Я не отрекаюсь от моих слов, которые ты привел, и от всего написанного мной об этом, но должен тебе признаться, во-первых, что в этом случае действительно не могу представить эмпирических доказательств, а могу только сослаться на свидетельства; во-вторых, что мысль о множественности миров не мое измышление. Первым, кто это сказал

по-гречески, был старик Левкипп. Но и он не сам додумался до этого, а слышал тут, в Абдере, от персидских магов. Маг Кордуган рассказывал ему о Мохе Сидонском, который еще до Троянской войны, лет за семьсот или восемьсот до нас, говорил то же самое. Моя заслуга ограничивается тем, что я, услышав сказанное Левкиппом, не поверил ему на слово, а решил проверить то, что говорил Кордуган, на родине Моха и в других странах Востока. Проверив, я узнал, что и Мох говорил с чужих слов.

— Чьих? — не удержался от вопроса Диагор, но Демокрит не ответил ему, а продолжал свое.

— Вернувшись домой, я развел намеки Левкиппа (главным образом об атомах и пустоте, а не только о множественности миров) в стройную систему, какую ты знаешь. Вот мой вклад в это дело. А хвалиться тем, что я первым додумался до всего этого, мне не пристало.

— Кто же сказал первым о множественности миров? — не унимался Диагор.

Демокрит залился своим басистым смехом.

— Темное да останется темным, — ответил он.

— Но ты знаешь?

— Знаю. Только... то, что я узнал, до того невероятно для нынешних людей, что я решил не писать об этом и никому не говорил, кроме Антифона. Он, впрочем, не нашел невероятным то, что услышал от меня. Это была светлая и смелая голова.

— А меня ты не считаешь смелым?! — ревниво воскликнул Диагор. — Демокрит, прошу тебя: расскажи и мне. Я ведь теперь, увы, единственный из твоих ближайших учеников, кого еще не пожрал Кронос. Нет ни Антифона, ни Протагора, ни... Расскажи! Прошу тебя!

Внизу шумно ударила штормовая волна, зашипел песок.

— А ты поклянешься, что не скажешь об этом никому?

— Чем же мне поклясться?

Демокрит опять засмеялся.

— На самом деле! Чем клясться безбожнику?

— Не смейся, — сказал Диагор. — Вникни по глубже и согласишься, что верующий клянется тем, чего нет, а атеист — тем, что действительно существует.

— Недурная мысль! — одобрил Демокрит.

— Моя клятва крепче. — И, воздев руки, как на молитве, Диагор произнес медленно и торжественно: — Клянусь своей совестью и честью никогда и никому не открывать тайны, которую ты мне откроешь. Если нарушу эту клятву, пусть будет память обо мне презренной вовеки. Доволен ты такой клятвой?

— Хорошо. Я скажу тебе. Но еще раз прошу, именем нашей дружбы: не нарушай этой клятвы!

— Не нарушу никогда.

— Так слушай. В Сидоне финикийском я отыскал дряхлого старца по имени Ахирам, финикиянина. Ему было в то время сто семь лет, но голова его была ясной. Во всяком случае, давнишнее он помнил превосходно. Это от него я впервые услышал, что люди не созданы богами, а произошли из земли и воды, сами по себе. Так говорил ему его дед, а тому дед его деда. От него же я узнал большую часть того, что написано мной в моих книгах о том, как жили древнейшие люди.

Диагор остановил его, мягко коснувшись руки, и стал цитировать наизусть:

— «Они не имели еще ни домов, ни одежды, не знали употребления огня, не было упорядоченного образа жизни. Не ведали, что надо запасать пищу. Многие зимой погибали от стужи, другие с голоду. Лишь постепенно, научась благодаря опыту, стали укрываться в зимнее время в пещерах, запасать впрок плоды и, познав свойства огня и другие выгоды от употребления его, начали развивать искусства и извлекать пользу из общественной жизни. Борьба за существование научила людей всему...» Это?

Демокрит рассмеялся.

— Это самое, друг. Ты сама Мнемозина! Слушай же. Старый Ахирам подтвердил то, что я слыхал от Левкиппа об атомах, и многое о них мне стало го-

раздо яснее после бесед с ним. Левкипп, как говорится, слышал эхо, а отчего оно — не знал. Ахирам мне все объяснил гораздо подробней и толковей. И еще сказал нечто, чего мне не говорили ни Левкипп, ни Анаксагор, никто другой и что я могу назвать самым удивительным из всего вообще мною слышанного в жизни. Он сказал мне, что отдаленнейших предков финикиян научили некоторым наимудрейшим истинам о мире люди, которые ненадолго прилетали с другой звезды.

— С другой звезды, ты сказал?

— Да. Из какого-то другого мира.

— Я не верю своим ушам, Демокрит! Возможно ли это?!

— Передаю тебе то, что слышал от Ахирама. Так до него дошло от его далеких предков. От этих-то вот звездных пришельцев и узнали пращуры Моха, что миров столько же, сколько на небе звезд, ибо звезды — это миры. Они крепко это запомнили, несмотря на свою темноту, и бережно передавали из поколения в поколение, пока весть не дошла до Моха, и он, первым среди земных людей, записал ее финикийскими письменами. Ахирам мне показывал список с записи Моха, но переписать не позволил — рукопись была храмовой, священной. Вот тебе ответ на твой вопрос: кто сказал первым? Первыми были небедомые.

У Диагора вырвался шумный вздох, выдавший его волнение.

— Их помощь, — продолжал Демокрит, — могла быть большой. Может быть, они оставили таблицы, чертежи, чтобы люди земли их прочли хотя бы через тысячи лет, когда их разум просветится. Может быть, так и было. Кто знает, что поглотили волны веков! Сегодня, как раз перед твоим приходом, я раздумывал над одной египетской рукописью, такой мудрой, что это показалось мне невероятным при ее древности. Я подумал: не мудрость ли это другого мира, переданная нам? Не могу этого утверждать, но не стану и отрицать.

Диагор был настолько ошеломлен услышанным,

что некоторое время не мог произнести ни слова. Он растерянно смотрел то на еле видного в полутьме Демокрита, то на ослепительно сияющую звезду Афродиты, от которой по волнам струился столб ярко-голубого света. Такие же столбы, но бледнее и других окрасок, стояли от Сатурна и Меркурия, от наиболее ярких звезд.

— Невероятно! — пробормотал он наконец.

— Невероятность этого доказать труднее, чем возможность. Почему невероятно? Разве не верим мы Гомеру, не умеем отделять в его поэмах сказки о богах от исторической истины? Почему же не верить Моху, который не приплетает к своему рассказу никаких богов?

— Слишком уж...

— Что?

— Фантастично.

— А мы сами не фантастичны, скажи? Все вокруг нас фантастично, Диагор, начиная с какой-нибудь бабочки, ее удивительной окраски, ее хоботка, способного проникать внутрь самых причудливых цветов, ее светящихся глаз и необыкновенных превращений, и кончая этими падающими звездами. Взгляни кругом! Разве не волшебство весь этот насквозь загадочный мир, в котором лишь на первый взгляд все случайно, а на деле все имеет причины и следствия, только мы еще не в состоянии уловить их! Говорю тебе: когда-нибудь мудрецы других тысячелетий постигнут то, о чем лишь смутно догадываемся мы, и то, перед чем мы становимся в тупик, как перед этим золотым дождем. И когда-нибудь эти мудрецы так же подивятся нам, как я сегодня дивился египтянину Ахмесу, который решил задачу на объем усеченной пирамиды за полторы тысячи лет до меня. Как, скажут, мог какой-то Демокрит так невероятно давно додуматься до того, что мир состоит из атомов, а космос из множества миров? Не загадочно ли это? Но пройдет еще пять, десять, сорок тысяч лет, и еще более совершенные и мудрые станут то же говорить о них. И так это будет бесконечно, ибо бесконечен космос и неисчерпаема жизнь

атомов в нем. Нет, Диагор, я чувствую дыхание истины в том, что мне открыл старый Ахирام. На истину у меня чутье не хуже, чем у Ликады на дичь или у пчелы на нектар. Потому-то я и отважился написать в своих книгах о множественности миров, хотя никаких доказательств, кроме ссылки на Моха, предъявить не могу. Говорю тебе: даже если наш мир погибнет, как ты предрекаешь (невозможного в этом нет), это не будет означать гибели разума во вселенной. Разум вечен, ибо вечна материя. И так же неуничтожим, как неуничтожима она.

Диагор молчал. Сгущающаяся к рассвету ночь внезапно показалась ему страшной.. Он представил себе необъятность космоса, рождение и гибель в его первозданном, беспредельном мраке неисчислимых миров и содрогнулся. На него вдруг повеяло жутью от неестественно яркого перед рассветом блеска планет, от все усиливающегося золотого дождя, желтые стрелы которого, то и дело вспарывающие небо, тоже казались ярче, чем с вечера. Цикады смолкли. Лишь ветер, шурша листвой, накатывая шумные волны, нарушал немоту ночи и ее огней, беззвучно плывущих и беззвучно падающих.

— Что это летит? Откуда? Куда? — спрашивал сам себя Демокрит, глядываясь в огненный дождь. — Если падают с неба камни, железо, стекло (а это-то мы знаем твердо, что они падают, держали их в руках, записали рассказы очевидцев), значит, заключаю я, и эти огни могут быть чем-то вещественным, а не пустой игрой света. Значит, и то, что поведал Мох, может быть не сказкой, а истиной. Кто знает, не пролетают ли это мимо нас, к иным мирам, на огненных колесницах такие же неведомые? Не из железа ли и стекла их колесницы? Не пылают ли тем самым огнем, которым пылают молнии? Кто знает! Мы только начали познавать мир, Диагор, и знаем о нем так мало! Тебе это известно так же, как мне. Доказать я тебе не могу, но знаю всем сердцем: мы не одиноки во вселенной, есть еще бесконечно много миров таких же, как наш, населенных мыслящими. Для меня это так же незыбле-

мо, как то, что я Демокрит, сын Дамасиппа, брат Дамаста, Геродота и Клеаристы.

— Да, я вижу, ты крепко в этом уверен, — задумчиво произнес Диагор.

— А ты посуди сам: не слишком ли премудро то, о чем мы с тобой толкуем, чтобы приписать эту премудрость одному мне, или одному Левкиппу, или одному Моху? Премудрость, друг мой, передается от звезды к звезде, из мира в мир, а миров (повторю еще раз и не устану это повторять до последнего моего дня) бесконечное множество в вечном космосе.

Позади них, в зарослях, вдруг послышался шум. Оба повернулись, обеспокоенные. Запыхавшись от бега, приближалась Демо.

— Господин!

— Что случилось?

— Я уже заснула, но меня разбудили голоса под окном. Да простят мне боги, что я доношу тебе на твоего брата, но это он сговаривался с кожевником Фермодонтом и еще кем-то побить камнями Диагора, как только он выйдет утром из твоего дома.

И Диагор и Демокрит вскочили.

— Что ты говоришь?! А впрочем, зная моего братца, удивляться тут нечему. Он всю жизнь выслуживался перед богами и начальниками. Но пока хозяин дома я, тебе нечего опасаться, Диагор.

— Ты не хозяин улицы и камней, которые на ней валяются, — ответил тот; пробормотал какое-то проклятие, секунды две думал, потом решил: — Ухожу.

— Куда? Сейчас, ночью?

— Именно сейчас. Растану в этой ночи, как нетопырь. Доберусь до Бизантия, а там есть друзья, которые меня переправят в Тавриду. Прощай, дорогой учитель! Ты не знаешь, какою радостью была для меня эта встреча с тобой и этот наш разговор. Спасибо тебе за все. И тебе, Демо. Будьте здоровы и благополучны.

— Возьми с собой хотя бы еды, господин!

— И денег, — добавил Демокрит. — Я дам тебе.

— Деньги у меня с собой, в поясе. Еду добуду.

Возьму только твой посох, учитель, чтобы не возвращаться за своим.

— Бери, конечно.

— Спасибо. Это будет память о тебе. Если пойдешь в Египет, счастливого тебе пути и счастливого возвращения. И долгих, долгих лет жизни, не до ста, а за сто! — Он обнял Демокрита, помахал рукой Демо и направился к морю.

Ночная мгла тотчас поглотила его. Как ниглядывались в нее Демо и Демокрит, стоя на обрыве, они не могли рассмотреть ничего. В море колебались отражения звезд. У берега все сильней били волны. Шумел ветер. А в небе продолжал литься неиссякающий золотой дождь в память о чудесном оплодотворении сластолюбцем Зевсом матери Персея.

ТАЙНА ГОМЕРА

До сих пор не могу уяснить себе, как это произошло. И никогда мой дух не был в таком смятении... А все началось в дни последней сессии Московского общества любителей античной литературы. В зале присутствовал незнакомый мне человек. Он представился после заседания и попросил меня приехать в его школу. «Я боюсь за своих ребят, — сказал он. — Техника, математика, физика поглотили их интересы... Хотелось бы внести в их воспитание «свежую струю». Я дал свое согласие и ничуть не жалел об этом. Старшеклассники — ребята лет по шестнадцати-семнадцати — встретили меня настороженно, а один из них в конце первого урока прямо спросил:

— Вас прислали лечить наш технический «флюс»?

— Нет, — ответил я. — Но разве то, о чем я вам рассказывал, не интересно?

— Терпимо, — ответил кто-то из сидящих на подоконнике. — Пока терпимо...

Но я хорошо знал, что они все-таки дети, и, когда в уютном классе зазвучали гекзаметры древних сказаний, глаза этих самоуверенных подростков засветились восхищением и любопытством. Право, занимаясь со студентами — филологами и историками, я не встречал ни такого внимания, ни такого интереса. По-видимому, то, что для гуманитариев было обязанностью, для этих ребят — удивительной сказкой.

Раз в неделю я приезжал к ним, и каждый раз

эти ребята удивляли меня свежестью восприятия, великолепной памятью. И только один из них, самый высокий и, вероятно, самый сильный паренек, — сидел он во втором ряду, и его мускулистая рука, перекинутая через спинку стула, мерно раскачивалась, отсчитывая ритм стихов, — только один он не задавал мне никаких вопросов. Иногда я сам обращался к нему, но ответы его были односложны и лаконичны.

— Вы говорите, как спартанец, — сказал я как-то ему.

Может быть, это и была моя первая ошибка.

Так прошел месяц, другой. Я знал, что ребята напряженно учатся своему любимому делу, что они заканчивают монтаж какого-то сложнейшего прибора, чуть ли не «машины времени», что мои занятия — это только «педагогический привесок». Вот почему я был буквально поражен, когда во время моей беседы молчаливый паренек вдруг перестал покачивать рукой и сказал:

— Ударение. Неверно. У вас...

— Позвольте, позвольте, — возразил я, — но ударение в этом слове изменилось только во времена Римской империи... А вы что, вы стали заниматься древнегреческим?

— А он его уже выучил, — заметил кто-то из ребят.

— Это верно? — спросил я.

— Да нет... Просто учебник прочел, о котором вы нам говорили. И все...

— Вы его не слушайте! — раздались голоса. — Артем «Илиаду» на память читает.

— Это правда, Артем?

— Ну, правда...

Я задал ему ряд вопросов. Без труда подбирая слова, Артем ответил мне на языке Гомера. У него не все было ладно с произношением, но этот дефект был легко устраним.

Как-то, было это дней десять назад, между Артемом и мною вспыхнул спор. Мы как раз прочитали то место из «Эфиопиды», в котором рассказывается,

как Ахиллес, смертельно ранив Пентезилею, царицу Амазонок, снял с нее шлем, свою законную добычу, и вдруг, пораженный ее красотой, влюбился в умирающую.

— Есть предположение, что милетец Арктин, автор этой поэмы, был учеником Гомера, — заметил я.

— Не сомневаюсь, — сказал Артем. — Какая сцена!..

— Сила, — сказал кто-то из ребят.

— Позвольте, друзья, — обратился я ко всему классу, — неужели нельзя подыскать какое-нибудь более благозвучное выражение, чем «сила»?

— Чувство не всегда диктует благозвучные слова... Вам это известно более чем кому-нибудь другому, — возразил мне Артем.

— Но такие творения, как «Эфиопида», «Илиада»...

— В прилизанном переводе — да... Герои Гомера — живые люди. Иногда нежные, чаще суровые, а уж за словом в карман не полезут. Ахиллес кричит Агамемнону: «Пьяница, образина собачья!», а переводчик юлит и придумывает нелепые слова: «Винопийца, человек псообразный». А как Зевс честит Геру?!

Артем коротко рассмеялся.

— Потому и велик Гомер... — продолжал он. — Во всем художник, во всем поэт. Другой бы чуть ли не с Адама начал рассказывать о Троянской войне, а Гомер — с самого важного, с самого яркого... «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, гнев проклятый, страданий без счета принесший ахейцам...»

— Возможно, что вы и правы, — осторожно начал я, подбираясь к теме сегодняшнего занятия — «гомеровскому вопросу», — но все дело в том, что Гомера-то на свете не было...

— Как не было? Не может быть! — закричали ребята.

— Да, Гомера не было. Был коллективный творец: сотни сказителей облекли первоначальное ядро легенды в поэму чудесной красоты.

— И это совершенно точно известно? — спросил Артем.

— Да, точно... Я лично придерживаюсь именно такой точки зрения... Еще аббат д'Обиньяк в начале семнадцатого столетия выступил с сомнениями относительно личности Гомера, указав на целый ряд противоречий, и с тех пор исследованиями Грота, Германа, а еще раньше Вольфа, это считается вполне доказанным. Впрочем, споры были и раньше, но в свое время победило мнение Аристарха, что Гомер создал «Илиаду» в юности, а «Одиссею» — значительно позже, когда был уже стар.

— А древние, ведь они считали, что Гомер реально существовал? — не унимался Артем.

— Древние не знали аналитического метода, развитого в середине девятнадцатого столетия...

— В таких вопросах следует интегрировать... — заметил кто-то.

— Как вы сказали? Интегрировать? — рассмеялся я. — Опять техницизмы на гуманитарном уроке?

— Не сердитесь, — примиряюще сказал Артем. — Но трудно поверить и мне и моим товарищам, что Гомера вовсе не было. Здесь нужно разобраться...

— А знаете, ребята, — сказал я, — как древние отнеслись к этому вопросу? Семь городов спорили за честь называться родиной поэта, и до нас дошло античное четверостишье:

Ты не пытайся узнать, где родился Гомер и кто был он,
Гордо считают себя родиной все города;

Важным является дух, а не место; отчизна поэта —

Блеск «Илиады» самой, сам Одиссея рассказал.

Но этого мало... Гомера считали сыном Аполлона и муз Каллиопы, его считали хиосцем, лидийцем, киприотом, фессалийцем, луканом, родосцем, римлянином, даже потомком самого Одиссея, сыном Телемаха и Поликасты, дочери Нестора.

— Горячо! — вдруг закричал Артем. — Горячо!.. Вот последнее предположение и следовало бы проверить... Недаром Одиссей занимает такое место и в «Илиаде» и в «Одиссее». Были какие-то причины, которые заставили древнего сказителя...

— Или древних сказителей, — поспешил добавить я.

— Нет, древнего сказителя сделать Одиссея центральной фигурой второй поэмы. И, кроме того, единственная песнь из «Илиады», не связанная прямо с сюжетом, гневом Ахиллеса и его последствиями, опять-таки говорит о приключениях Одиссея...

— Вы имеете в виду «Долонию»? — спросил я.

— Я говорю о той песне, где Одиссей отправляется вместе с Диомедом в разведку и убивает лазутчика троянцев.

— Они убивают лазутчика Долона, и песнь называется специалистами «Долонией». Но что из этого следует?

— Связь какая-то была у Гомера с Одиссеем. Вот что из этого следует.

— Вообще археолог Шлиман, производивший с согласия турецкого правительства раскопки древней Трои, не сомневался в том, что Одиссей действительно существовал. На острове Итака, царем которого был Одиссей, Шлиман обнаружил посредине каменных развалин остатки пня старой оливы... Вы помните, как, проверяя Одиссея, его жена Пенелопа приказала служанке Евриклее вынести кровать мужа наружу, а обиженный Одиссей ответил:

Признак особый в ней есть. Не другой кто, я сам ее сделал.

Пышно олива росла длиннолистая, очень большая, В нашей дворовой ограде. Был ствол у нее как колонна. Каменной плотной стеной окружив ее, стал возводить я Спальню, пока не окончил. И крышей покрыл ее сверху. Крепкие двери навесил, приладивши створки друг к другу. После того я вершину срубил длиннолистой оливы, Вырубил брус на оставшемся пне, остругал его медью, Точно, вполне хорошо, по шнуру проверяя все время. Сделал подножье кровати и все буравом пробуравил.

— И вот эту-то самую кровать и нашел Шлиман? — восхликанул Артем.

— Шлиман нашел остатки огромной оливы посредине каменных стен, но это вполне могло быть совпадением... Выводы, какие выводы можно из этого сделать?

— Много... Ведь это ложе — тайна семьи Одиссея, и знать ее мог только Одиссей или его сын, ведь даже служанка Евриклея не знала, что кровать эту сдвинуть нельзя с места! И если Одиссей на самом деле жил на свете, то почему отказывать в возможности реального существования Гомеру? Это все нужно проверить...

Он так и сказал: «нужно проверить». И в этих словах Артема было что-то необычное... Мне даже вспомнилось восклицание одного из ребят: «Сила!» Но я сказал:

— В мою задачу не входит «переманивать» вас в среду гуманитариев. Я хотел только чуть-чуть заинтересовать вас искусством древних, их историей. Все-таки знакомство с искусством облагораживает человека.

— А совместный труд над решением нужных человеку задач не облагораживает? — спросил Артем, поднимаясь.

Он быстро вышел из класса, и кто-то заметил:

— Артем — прямиком в лабораторию...

Больше я его не видел до того самого памятного дня, когда он сам подошел ко мне и, чуть смущаясь, сказал:

— У меня все готово, мы можем хоть сейчас отправиться на его розыски.

— На розыски? Но кого мы будем разыскивать?

— Как кого? Гомера.

Я расхохотался.

— Но Гомера нужно «искать» в древних рукописях, анализируя и сличая тексты, погружаясь в бездну комментариев...

— Или погружаясь в бездну времени, — заметил Артем. — Машина готова... Я думал, что вы согласитесь...

Я так растерялся, что дал Артему увести себя в лабораторию. Там у окна стоял какой-то аппарат, сверкающий полированным металлом, но в общем очень похожий на аккумуляторную тележку двадцатого века.

Я сел на металлическое сиденье. Артем поместился рядом. Сейчас, положа руку на сердце, могу сказать, что у меня и в мыслях не было ничего серьезного. Я думал, что Артем просто решил меня разыграть и, смеясь, сознается в шутке, но ничего подобного не произошло. Он наклонился к пульте управления, и вдруг стены лаборатории стали медленно расплываться перед глазами. Появились смутные очертания каких-то человеческих фигур, странными движениями разбирали они стены лаборатории... Вспыхнуло на мгновение солнце и тотчас же погасло...

Я пришел в себя не сразу. Наша «тележка» катилась вниз по каменистой дороге. Вокруг зеленели рощи, а солнце было высоко в небе. Артем остановил тележку у поворота, за которым виднелось море.

— Где мы? — спросил я.

— Сейчас узнаем, — ответил Артем.

Он легко выпрыгнул из «тележки» и стал быстро подниматься на холм. Там наверху сидел какой-то человек в желтой одежде необычного покроя, но когда он встал и поклонился Артему, я увидел, что рукава одежды отрезаны. «Да ведь это хитон!» — подумал я. За холмом сразу же начались крутые склоны, а там вдалеке выселись скалистые громады. И вновь будто чей-то голос прошептал: «Олимп... Это Олимп...»

Артем вприпрыжку сбежал по склону холма. Торопливо уселся на сиденье.

— Так что вы узнали?

— Все в порядке. Козопас сказал, что Гомер уже умер, но дед козопаса помнил поэта хорошо...

— Сейчас какое столетие? — спросил я, так до конца и не веря в то, что все происходящее не снится мне.

— Сейчас? — Артем наклонился к приборам перед собой, покрутил пуговку над чем-то, напоминающим спидометр. — Мы в двенадцатом столетии... до нашей эры, разумеется...

Было еще несколько «остановок», и вот последняя. Мы остановились посредине широкого луга.

Смеркалось. Чья-то песня донеслась из маленького селения, низенькие домики которого выглядывали из-за деревьев. Вокруг никого не было. Артем попросил меня привстать, достал из-под сиденья сверток и, развернув его, протянул мне бутерброд с сыром.

— Где мы сейчас?

— Боюсь, что на этот раз перелет...

Артем с аппетитом откусил громадный кусок бутерброда и вдруг, толкнув меня в бок, указал рукой в сторону селения. Оттуда во весь мах скакал по росистой траве всадник. Он быстро приближался, и звон его доспехов заглушил и собачий лай, и песню, и неумолчный звон кузнечиков. Всадник подскакал к нам и в удивлении остановился, подняв правой рукой тяжелое копье. Я вобрал голову в плечи, ожидая, что сейчас на нас обрушится удар, но Артем, не поднимаясь с сиденья, поднял руку с газетным свертком и громко приветствовал всадника по-эолийски.

— Радуйся! — сказал Артем. — Радуйся!

— Радуйся и ты, юный воин, и ты, почтенный человек, — ответил всадник и спрыгнул с коня.

— Мы ищем Гомера, — сказал Артем. — Вы не видели его?

— Гомера?.. — переспросил воин. — Гомера... Но я не знаю такого базилея... Или, может быть, это простой свинопас, убежавший из вашего дома?

— Нет, он слагает песни...

— Слагает песни? Так это нищий певец! Он был у нас вчера и долго пел на площади, но, да падет на мою голову проклятие богов, если кто-нибудь из нас подал ему хотя бы старую кость... В других местах ему лучше, там еще есть глупые псы, что забыли, что нам стоила Троя... Этот нищий ушел по дороге к морю...

Артем повернул какой-то рычажок, и наша «телефка» мягко покатилась по траве, а конь, вздрогнув, бросился в сторону и поскакал к селению, и долго нам слышался голос всадника, звавшего коня.

Утром мы увидели море. Воздух был прозрачен, дрожащими зубцами скал проступали очертания далекого острова. Артем вышел из «телефки», помог

выбраться мне. Солнце поднималось в безоблачном голубом небе, предвещая жаркий день.

— Там кто-то сидит, — сказал Артем, кивнув в сторону каменистого обрыва.

Действительно, метрах в ста от нас, на обломке скалы сидел человек. Отсюда он сливался с серыми скалами, но когда мы подошли ближе, то я увидел неподвижно сидящего старца. Не отрываясь, смотрел он вдаль, туда, где узкой полоской тянулся остров.

Мы подошли ближе.

— Это Гомер, — сказал Артем. — Это Гомер! Это так же верно, как то, что далекий остров — Итака...

Старик не обернулся на шум наших шагов, он, казалось, спал, но когда Артем обратился к нему, тотчас же ответил на приветствие. Да, легенда говорила правду: Гомер был слеп.

— Он не видит... — сказал Артём. — Он слепой.

Я всмотрелся в лицо старца, ожидая увидеть неизречие глаза поэта, знакомые нам всем по бюсту античной работы, но вдруг понял большее: он не просто был слеп... Морщинистые веки запали в глазницы... Гомер был ослеплен.

— Гомер, — сказал я, — с вами говорят люди из будущего. Вы понимаете? Тридцать три столетия разделяют нас.

— Вы боги? — звучно и просто спросил старик.

— Нет, что вы!.. Мы смертные, но прибыли сюда из далекого будущего. Вас, Гомер, помнят и чтят, как великого поэта... Ваши песни записаны. И «Илиада» и «Одиссея»...

— Записаны?.. Не понимаю...

— Ну, такими значками, на тонких белых листах.

— Так поступают финикияне, — задумчиво сказал Гомер. — Я слышал об этом.

— Но должен вас огорчить... Некоторые сомневаются, что вы действительно жили на свете, Гомер...

— Боги не знают сомнений. Вы — смертные, — усмехнулся Гомер и быстрым движением ощупал скалу, на которой сидел, и я увидел, что рука его

была сильной и ловкой. Потом он наклонился и, подняв с земли камень, сильно сжал его в руке.

— Нас, видите ли, очень интересуют некоторые противоречия в ваших поэмах...

— Не смеетесь ли вы надо мной, чужестранцы? — громко спросил Гомер, и сквозь прорехи в его сером плаще было видно, как напряглись его все еще могучие мышцы.

— Осторожно! — воскликнул Артем и схватил старика за поднятую для удара руку.

Какое-то мгновение Гомер сопротивлялся, но вот его рука разжалась, и камень покатился с обрыва. И море, всплеснув, приняло его далеко внизу.

— Сейчас каждый может обидеть слепого... — грустно сказал Гомер. — Зачем я вам? Идите своей дорогой.

— Мы вовсе не хотели вас обидеть, мы говорим правду, но некоторые противоречия в ваших поэмах... Вот, к примеру, я хотел узнать... Вы часто говорите в песнях об Одиссее, о железных изделиях, об употреблении железного оружия. Ведь в ваше время его еще знали?

— Не знали? Да, не знал тот, у кого не было быков крутогорых, чтобы выменять на них топор из седого железа, меч или нож. Разве вы не встречали торговцев, что привозят из-за моря украшения и оружие? Много берут они за них пленников и вина, и быков, и шкур...

— Возможно, возможно... Но все-таки согласитесь, Гомер...

— Постойте, — перебил меня Артем, — сейчас мой черед спрашивать... Гомер, вы что-нибудь ели сегодня?

— Ни вчера, ни сегодня... — ответил Гомер. — Здесь не хотят слушать моих песен. Двенадцать кораблей краснощеких, полных смелыми воинами, увел к берегам Илиона Одиссей, сын Лаэрта, и они не вернулись... Этого здесь не забыли...

Артем бросился к нашей «тележке», достал оттуда сверток и побежал к нам, а я воспользовался случаем и прямо спросил Гомера:

— Считают, что вы сами, Гомер, во время войны с Троей были в рядах ахейцев. Это правда?

— Был, — как-то очень задумчиво ответил Гомер. — А с кем из героев меня сравнивают?

— Ни с кем, — пожал я плечами. — Считают, что вы были простым воином, а потом воспели то, что сами видели.

Артем подбежал к нам и, развернув бумагу, осторожно взял Гомера за руку и вложил в нее ломоть хлеба с сыром.

— Ешьте, — сказал Артем. — Это хлеб и сыр...

Гомер медленно откусил небольшой кусочек бутерброда, проглотил его и, спрятав остальное в складках одежды, сказал:

— Хлеб — как воздух, сыр вкусный... Я верю вам, чужестранцы, вы не смеетесь над нищим стариком. Спрашивайте, я расскажу обо всем...

— Из ваших песен, Гомер, мы знаем, что Одиссей, убив женихов Пенелопы, вновь стал царем Итаки... Он долго жил?

— Когда-нибудь я сложу об этом песню, — сказал Гомер. — Не сейчас, потом... Да, Одиссей убил женихов... Воля и стена, вынесли родственники убитых трупы из дома. Кто жил на Итаке — тех скончили свои. Тех же, кто был из других городов, по домам разослали... Рыбакам поручили на судах быстроходных тела их доставить. Но вот Евпейт поднял против него кефаллонцев...

— Знаем, знаем, — сказал я. — Позвольте, Гомер, прочитать вам это место на память... «Злое дело, друзья, этот муж для ахейцев придумал!.. Нам это будет позором и в дальнем потомстве, если за наших невинных детей и за братьев убийцам мы не отмстим!..»

— Да, он так сказал и повел к Одиссееву дому толпу кефаллонцев...

— И был убит?

— Да, был убит...

— А потом, что было потом? — нетерпеливо спросил Артем.

— Прибыли рыбаки к семьям убитых, и ночью

неслышно пристали к Итаке семь кораблей чернощеких. Поздно увидел их мачты Одиссей. А кефаллонцы... одни равнодушно, другие с тайною злобой смотрели, как бьется у двери своей Одиссей. Первым погиб Телемах, сын Одиссея. Евмена сразили стрелой, и погиб свинопас, преданный, смелый старик... Выбили меч из руки Одиссея и ремнями ноги его и руки связали. Потом крики раздались: «Убить Одиссея! Смерть ему, смерть!..» — «Нет!» — сказали те, кто помнил силу и ум героя, того, кто по праву шлем и доспехи Ахилла носил. «Пусть же ослепнет!» — вскричал из толпы неизвестный, глаза его злобой пылали... Верно, родственник был он тому, кто погиб от руки Одиссея... И ослепили героя... Со смехом в лодку столкнули, а море бурлило... «Тебе, Посейдон, наша жертва, прими!» — так крича, провожали лодку с героем... Долго носилась она по буйным волнам, и шептал в уши страдальца ветер морской: «Помнишь, как ты ослепил Полифема? Квиты с тобой мы, живи, если сможешь, герой...»

— А что было потом?

— Волны выбросили челн на берег песчаный. Чайки кричали вокруг, дерзко кружились они над головой Одиссея... И плача кричали: «Ты жив, Одиссей!» Долго скитался герой, но все его гнали... Там хлеба кусок, там гроздь винограда — вот и вся его пища... Годы прошли. Узнать в старике ослепленном героя никто не посмел, и однажды, было это в Афинах, сидел Одиссей у огня, знатный хозяин велел миску с супом налить... Кто-то пел, и струны звенели, и шумно было вокруг... А потом разговор сам собой зашел о войне и потерях, и имя Одиссея кто-то назвал, говоря: «Нет, не пала бы Троя, если бы муж многомудрый хитрость свою не исполнил бы смело». Так они говорили, а нищий старик ближе сел к очагу. Свет без глаз не увидишь, только тепло шло к нему. И герои, друзья вдруг встали вокруг. «Ты один, Одиссей, нас пережил. Неужели бесследно мы из жизни ушли?» — так сказали герои, и тогда Одиссей, вспомнив все, вдруг поднялся и, босыми ногами осторожно ступая, в угол пошел, где звенела

кифара, и робко ее попросил... И, струны взяв все в ладонь, сразу их отпустил... Звук едва замер, запел Одиссей про Ахилла, про гнев его страшный, столько горя принесший ахейцам. Так и ходит герой по земле своей милой. Кто накормит, кто псов натравит, но слава о подвигах великих героев живет, и с нею живы они... И часто сила неведомая гонит его к этому берегу. Знает он — там, в дымке тумана, берег Итаки родной...

Мы вернулись к нашему аппарату. «Тележка» ответила на прикосновение Артема ворчанием моторов. Артем набрал на пульте аппарата какие-то цифры. В задумчивости я опустился на сиденье.

— Судя по всему, этот старец считает Одиссея и Гомера одним и тем же лицом... — сказал я. — Не знаю, как на это посмотрят мои коллеги... Некоторые, безусловно, встретят мое сообщение без энтузиазма...

— Вот что, — сказал Артем. Он стоял на земле и наклонился ко мне, грудью опираясь на борт «тележки». — Поверните к себе вот эту рукоять.

Я выполнил его указание и только тогда, когда Артем зашагал по тропинке навстречу старцу, а тот встал и пошел к нему навстречу, по знакомому дрожанию на глазах расплывающихся предметов я понял, что Артем остается... И откуда-то странно искашенный пришел вдруг возглас старца:

— О Зевс, наш родитель! Так есть еще боги на светлом Олимпе! Не ты ли это, сын мой, Телемах?

До сих пор не могу разобраться в случившемся. Меньше всего я мог ожидать, что так поступит человек, влюбленный в технику. Меньше всего...

А МОГЛА БЫ И БЫТЬ...

Юморо-фантастическая балль

«За разработку аппарата, названного «машиной времени», коллективу фабрики «Время» присвоить государственную премию имени постоянной Планка».

(Вырезка из газеты 2134 года)

Ах, какой это был мальчик! Ему говорили дважды два — он говорил: четыре.

— Двенадцать на двенадцать, — настаивали недоверчивые.

— Сто сорок четыре, — слышали они в ответ.

— Дай определение интеграла, — не унимались самые придирчивые.

— Интеграл — это... — И дальше шло определение.

И все это в четыре года. Малыш, карапуз — он удивлял своими способностями прославленных профессоров и магистров. Даже один академик урвал несколько часов, чтобы посмотреть на малыша. Академик тоже задавал вопросы, ахал, разводил руками. Но вот он надолго задумался, а потом внятно сказал:

— Природа бесконечна и полна парадоксов, —

после чего сосредоточенно посмотрел в стену и углубился в себя.

— Ах, профессор, — устало возразил Ваня (так звали нашего мальчика), — пустое! Природа гармонична, парадоксы вносим в нее мы сами.

Это уж было слишком. Академик вскочил и, оглядываясь на мальчика, стал отступать к двери.

— Дважды два — четыре! Так и передайте всем! — весело закричал мальчик вместо прощания.

Таков был Ваня. Исключительный ребенок. И это тем более удивительно, что родители ему попались совершенно неудачные. Как будто не его родители. Может быть, каждый из них в отдельности и любил малыша, но вместе у них это никак не получалось. Отец считал, что гениальность мальчика — итог наследственных качеств его, отца. Мать доказывала обратное. Сын подсмеивался над ними, но легче от этого не становилось. Родители ссорились чаще и чаще, и, когда это начиналось, Ваню отсылали в чулан.

Доступ магистрам и профессорам был закрыт. Широкая общественность вскоре позабыла о Ване. Это случилось само собой.

Но мальчишка перехитрил всех. Он электрифицировал чулан и с увлечением играл в детский конструктор. Да, да, в обычный конструктор. Конечно, только до того момента, пока ему в руки не попали первые радиолампы.

Он прямо задрожал, когда увидел эту штуковину впервые: он понял сразу, какие возможности таит эта игрушка. Конечно, игрушка. Ведь Ване шел всего пятый год, и он еще не знал, что все эти радиоприемники, телевизоры, мотоциклы, самосвалы и экскаваторы — вся эта техника всерьез. Он полагал, что взрослые просто-напросто играют во все это.

Отец Вани, механик мастерской по починке радиол и магнитофонов, таскал сыну испорченные лампы, триоды, конденсаторы, а тот разрушал их, отыскивая скрытые поломки. Полупроводниковые детали складывались в особый коробок.

Однажды, когда отец заглянул в чуланчик, сын протянул ему небольшой ящичек.

— Вот, — сказал он, удовлетворенно потирая ладошки. — Учти, это только начало.

В руках отца сиял голубым экраном маленький игрушка-телевизор.

— Да, — только и сказал отец, восхищенно покрутив головой. Потом подумал, пожевал губами и добавил. — Парень, видать, в меня.

Следующим утром он показал эту штучку сослуживцам, хитро подмигнул и сообщил:

— Моя работа.

Истинный смысл слов остался непонятым, а механика повысили в должности. Теперь начальники частенько отводили его в сторону и доверительно сообщали:

— Кузьма Серафимыч, вот тут у нас не все получается. Надо бы изобрести...

— Давайте, — властно обрывал Кузьма и забирал чертежи. Он был простым человеком и не любил разводить канитель.

Дома чертежи молча передавались Ванюшке.

— Общественная нагрузка, — ухмыляясь, пояснял отец.

Ваня молча рассматривал схему, потом брал красный карандаш.

— Вот здесь, здесь, здесь... — карандаш так и порхал по листам, — изменить!..

Мальчишка работал с охотой, а взамен требовал лишь исправных деталей и книг по новинкам техники.

Но однажды отец пришел в ателье и сам отозвал начальника в сторону.

— Все, — просто сказал он.

— Что все? — не понял начальник.

— Все, не могу больше изобретать, — отрезал Кузьма Серафимович и загадочно добавил: — По семейным обстоятельствам.

— А как же?.. — запротестовал было начальник.

— Не раньше, чем через четыре года!

Разговор был исчерпан.

Начальник, конечно, не знал, что не далее как вчера вечером Ваня отказался принимать заявки.

— Папа, — сказал он мягко, — теперь я не могу отрываться по пустякам. Я наткнулся на настоящую идею. Четыре года — и я сделаю такую игрушку, что все ахнут. Четыре года!

Отец знал железный характер сына и не стал возражать. Он только с видом сообщника заметил:

— Четыре? Может, и за три справимся?

— Нет, пока что я не управляю временем, — задумчиво ответил Ваня. Он быстро посмотрел на отца и вдруг спросил: — А как ты думаешь, что такое время?

— Время? — Лоб отца собрался морщинками. — Ну, это когда...

— Ах, опять эти неточные формулировки! — досадливо перебил сын.

Кузьма Серафимович повернулся и осторожно вышел из чулана. То, что он услышал, закрывая дверь, было совсем непонятно:

— Минута живет шестьдесят секунд, да, да, живет, живет...

Из этого разговора специалисту сразу видно, что необычайный мальчик решил разгадать тайну времени. Человек же, не связанный с тонкостями стыка радиотехники и теоретической физики, конечно, не осознал бы так просто, что Ваня решил изобрести машину времени. Но тем не менее это было так.

Да, Ваня решил соорудить именно ее, машину времени. И он добился своего.

В это трудно поверить, доказательств, что называется, никаких. Я единственный свидетель, слова которого могут послужить документом в раскрытии правды. Никого, я повторяю, никого не допускал Ваня к опасным экспериментам с машиной. Только меня, приятеля его детских игр и соседа по улице.

— Люди еще узнают об этом, узнают, — твердил он, когда мы оканчивали очередной опыт и шли на улицу играть с детворой в их незатейливые, старинные игры.

Казаки-разбойники, палочка-выручалочка — они

оживляли нас, делали, ну, что ли, более земными. Разумеется, по сравнению с игрой, придуманной Ваней, они казались примитивом и нелепицей.

Машина позволяла уноситься в восхитительные дали будущих эпох и погружаться в глубины прошлого. Особенно нравились нам рыцарские турниры. Грязь комьями летела из-под копыт лошадей, а всадники в красивых латах лупили друг друга мечами и ломали копья. Как правило, все оставались в живых. Мы устраивались где-нибудь рядом и листали прихваченного с собой Вальтера Скотта, сравнивая с реальностью.

Понятно, после такого жмурки во дворе выглядят как наскальные изображения дикаря рядом с киноэкраном. Кстати, бывало, что и наскальные изображения вырубались на наших глазах. Когда мы уходили в седую древность. Какие-то лохматые мужики так отделяли стенки пещер, что только искры сыпались.

И тем не менее мы возились вместе с детьми нашего родного двора.

— Так надо, — говорил, бывало, Ванюша. — Осторожность и еще раз осторожность. Мы не должны отличаться от всех. — Он не хотел, чтобы не доведенная до совершенства машина попала в чьи-нибудь руки. — Машину поломают, — уверял он, а мне осталось соглашаться.

Когда настал период погружения в прошлое и ухода в будущее, мы перенесли сеансы на ночь. Соседи по дому, попадавшие в сферу действия машины, уносились вместе с нами, а поутру рычаг времени приводился в нормальное положение, и соседи вставали как ни в чем не бывало, шли на работу. Каждый из них полагал, что в эту ночь ему снился удивительный, великолепный сон, со странностями, правда, но с кем не бывает... Только и всего, сон. Соседи были людьми осмотрительными, осторожными. И никому о странных снах на всякий случай не рассказывали. Тайна оставалась неприкосновенной.

Только один раз словно бес толкнул меня под бок. На трамвайной остановке я подождал одного из

соседей, длинного флегматичного завскладом Клотикова, заговорщически подмигнул ему и сказал, зайдя сзади:

— А хорош был этот, со страусовым пером на шлеме, с крокодилом на щите?

Завскладом дернулся всем телом, уставился на меня, потом, не раздумывая, прыгнул в подошедший трамвай, и его унесло.

Ванька выслушал это приключение довольно мрачно.

— Или кончаем эксперименты, или такого не повторится, — отчеканил он.

Я понимал своего друга. Ему доставалось не легко. Машина барахлила. Последний раз она чуть не развалилась от перегрузки. Мы с трудом выбрались из времен средневековья.

А между тем дома у него обстановка накалялась. Родители ссорились чаще и чаще. Гораздо чаще, чем во времена магистров и профессоров. И хотя с того момента прошло достаточно времени, они так и не пришли к единому мнению. Таковы уж были они, Ванины родители. Ах, если бы не эта их черта!..

Все произошло внезапно. Мы пришли к Ване и хотели сесть за работу. Не тут-то было. Родители ссорились. Успокоить их было невозможно. Я заметил, что трюмо уже разбито, а скатерть сдернута в сторону. И еще заметил, как дрожат руки у моего друга Вани. Он ненавидел эти минуты.

— А мы спросим у него самого, — вдруг громко сказал Кузьма Серафимович, увидев сына.

Я схватил шапку и помчался по ступеням вниз. О дальнейшем могу только догадываться.

Расхлябанная машина была настроена на малый радиус действия. Ваня подбежал к ней, рванул рычаг, чтобы перевести время хотя бы на два часа назад. Ему уже случалось успокаивать родителей таким способом. Но руки его дрожали сильней обычного. Он рванул, и время заскользило. Да, оно ушло за пределы Ваниного возраста. Машина исчезла, исчез и Ваня. А родители только помолодели, лет этак на

двенадцать-тринадцать. И еще их при этом разнесло в разные стороны.

Утром следующего дня я пришел узнать, чем все кончилось. Беглый осмотр комнат сразу сказал мне все. Вернуться из прошлого Ваня не мог: восстановитель времени в момент катастрофы был свинчен и лежал в углу чулана. Но я не пал духом. Ведь по железным законам вероятности все должно было повториться. Помолодевшие родители обязаны были в силу этих математических законов встретиться вновь, понравиться друг другу. А вновь родившийся Ваня, конечно, вновь должен был соорудить великолепный и очень нужный человечеству аппарат — машину времени.

Так и случилось. Они встретились. Я подкараулил их под теми же самыми часами, которые служили местом первой встречи тринадцать лет назад. Я ликовал. Еще бы, все шло как по маслу. Прекрасна ты, математическая закономерность, и ты, стальная логика событий! Ване — быть! Машине — быть!

Но что это? Парень, удивительно похожий на Ваниного отца, и девушка, ну, копия матери Вани, стоят и молчат. Они смотрят друг на друга недоверчиво, с опаской. И вдруг поворачиваются, идут в разные стороны. Мой лоб покрывается испариной. Видимо, память того и другого сохранила то будущее, которое поджидало их.

Так не родился мальчик, так погибла машина времени!

СНЕЖОК

В моем бумажнике паспорт, служебное удостоверение, несколько разноцветных книжечек с уплачеными членскими взносами, но сам я — призрак, эфемида. Я не должен ходить по этому заснеженному тротуару, дышать этим крепким, как нашатырный спирт, воздухом. У самого бесправного из бесправных, у лишенного всех жизненных благ и навеки заключенного в тюрьму больше прав, чем у меня. Неизмеримо больше!

Я так думаю, но не всегда верю в это. Слишком привычен и знаком окружающий меня мир. Ветки деревьев разбухли от изморози и стали похожими на молодые оленьи рога. Провода еле видны на фоне бесцветного неба. Они сделались толстыми и белыми, как манильский канат. На крыше физфакастынут в белесом сумраке антенны. Точно мачты прозрачного фрегата. Химфак дает знать о себе странным — никак не разберу: приятным или, наоборот, противным — запахом элементоорганических эфиров. Привычный повседневный мир! И только память тревожным комком сдавливает сердце и шепчет:

Все мечты, все нереальность,
Все как будто бы зеркальность
Навсегда ушедших дней.

Вчера еще было лето, а сегодня — зима. Как много лжи в этом слове: «вчера». Нет, не вчера это было...

У меня нет пальто. Вернее, оно висит где-то на вешалке, но номерок от него лежит в чужом кармане. И опять ложь: «в чужом». Не в чужом... Просто для этого еще не придумали слов. Я иду быстро, чтобы не замерзнуть. Как-нибудь обойдусь без пальто. Раньше я часто бегал раздетым на химфак или в главное здание.

Я остановился и вздрогнул. Ну, надо же так! Я чуть было не угодил под огромный «МАЗ». Шофер высунился, и вместе с жемчужным паром от дыхания в безгрешный колючий воздух ворвался затейливый мат.

Я засмеялся. Ну и дурак же ты, шофер! Я одна только видимость. Дави меня смелее! Твой защитник сумеет добиться оправдания. Нельзя убить того, кто не существует.

Какая-то, однако, чушь лезет все время в голову. Я стараюсь не дать себе забыться и отвлечься. Я должен помнить, что здесь я — чужой.

Навстречу мне идет яркая шеренга студентов. Беззаботные и гордые, точно мушкетеры после очередной победы над гвардейцами кардинала, идут они чуть вразвалочку, громко смеясь и безудержно хвастая.

— А тебе-то что досталось, Пингвин? — Высокий, щеголеватый парень повернулся к рыжему кото-рышке.

— Так! Ерунда! Абсорбция, изотерма Лангмюра, двойной электрический слой и двухструктурная модель воды... Я запросто, одной левой...

«Физхимию сдавали», — подумал я и задержал шаг.

— Ты только глянь, что на мне надето, — сказал рыжий, вытягивая из-под шарфа воротник синей в белую полоску рубашки. — Не знаю, как только держится еще! Все экзамены в ней сдаю. Счастливая! Костюмчик тоже старенький, еще со школы.

Я ощущал какую-то неострую, грустную зависть.

Вот и красный гранит ступеней. Запорошенные канадские ели. Прикрыта кокетливой снежной шапочкой каменная лысина Бутлерова.

Я привычно полез в карман за пропуском.

Сердце екнуло и упало.

Преувеличенно бодро поздоровался с вахтершей и, сунув ей полураскрытый пропуск под самый нос, побежал к лифту.

Бедная вахтерша! Если бы она только видела, какая дата стоит у меня в графе «Продлен по...»!

Зажглась красная стрелка. Сейчас раздвинутся двери лифта. И я подумал, что мне лучше не подыматься на четвертый этаж. Что, если я встречу его и нас кто-нибудь увидит вместе? От одной этой мысли мне стало холодно.

О том, чтобы поехать домой, тоже не могло быть и речи. Родители бы этого не перенесли. Они ни о чем не должны знать. Если уж я и встречусь с ним, то нужно будет сразу же обо всем договориться.

Я даже засмеялся, думая о нем. Юмор, наверное, прямо пропорционален необычности и неестественности ситуации. И подумать только, такой переход произошел мгновенно! Во всяком случае, субъективно мгновенно. А объективно? Сколько времени прошло с того момента, как я на защите диссертации сдернул черное покрывало?

* * *

Мои теоретические предпосылки ни у кого не вызвали особых возражений. Шеф, естественно, дал блестящий отзыв, официальные оппоненты придрались лишь к каким-то частностям.

Один из них, профессор Просохин, долго противился платком очки, дышал на стекла и кряхтел. Медленно и скрипуче, как несмазанное колесо, он что-то бормотал над бумажкой. Всем было глубоко безразлично; сколько в диссертации глав, страниц и рисунков, сколько отечественной и сколько иностранной библиографии. Члены Ученого совета уже мысленно

оценили работу и, скучая, слушали нудного и скрупулезного профессора.

Время от времени я делал пометки, записывая отдельные фразы. Мне еще предстояло ответное слово. Наконец Просохин кончил речь сакриментальной фразой:

— Однако замеченные мной недостатки ни в коей мере не могут умалить значение данной работы, которая отвечает всем требованиям, предъявленным к такого рода работам, а автор ее, безусловно, заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата физико-математических наук.

Председатель Ученого совета профессор Валентинов, высокий красавец, с алюминиевой сединой, сановито откашлялся и спросил:

— Как, диссертант будет отвечать обоим оппонентам сразу или в отдельности?

— Сразу! Сразу! — раздались из зала возгласы членов Ученого совета, которым уже осточертела однобразная процедура защиты.

— Ну, в таком случае, — сказал Валентинов и улыбнулся чарующей улыбкой лорда, получившего орден Подвязки, — попросим занять место на кафедре нашего уважаемого гостя, Самсона Ивановича Гогоцеридзе.

Член-корреспондент Гогоцеридзе влетел на кафедру, точно джигит на коня. Свирепо оглядел зал и, никого не испугав — Самсон Иванович был добрым человеком, — дал пулеметную очередь:

— Тщательный и кропотливый анализ, проделанный нашим уважаемым профессором Сергеем Александровичем Просохиным, избавляет меня от необходимости детального обзора диссертации уважаемого Виктора Аркадьевича (благосклонный кивок в мою сторону). Поэтому я остановлюсь лишь на некоторых недостатках работы. Их немного, и они тонут в море положительного материала, который налицо.

Гогоцеридзе перевел дух и вытер белоснежным платочком красное лицо.

— Да... я не буду говорить о достоинствах работы, а лишь коротенько о недостатках.

Это «коротенько» вылилось в семнадцать минут. Я уже начал волноваться, но шеф едва заметно подмигнул мне, и я успокоился. Перечислив все недостатки, Гогоцеридзе выпил стакан боржома и произнес традиционное заключение, что, несмотря на то-то и то-то, диссертация отвечает, а диссертант заслуживает.

Я поднялся с места для ответного слова. Так как меня никто не громил, а отдельные частности, не понравившиеся оппонентам, были не существенны, я решил не огрызаться. Минут пять я благодарил всех тех, кто помог мне в работе. Это было едва ли не самое главное. Не дай бог, кого-нибудь забыть! Потом я расшаркивался перед оппонентами, обещая учесть все их замечания в своей дальнейшей работе и вообще руководствоваться в жизни их ценнейшими советами.

Шеф кивал в такт моим словам головой. Все шло отлично.

Потом Валентинов призвал зал к активности. Но выступить никто не спешил. Нехотя, точно по обязанности, вышел один из членов Ученого совета, что-то там пробормотал и сел. Еще кто-то минут пять проговорил на отвлеченные темы и сказал, что такие молодые ученые, как я, нужны, а моя работа даже превышает уровень кандидатской диссертации.

И вдруг я услышал долгожданный вопрос, его задала мне незнакомая девушка:

— Я очень внимательно следила за тем местом в докладе Виктора Аркадьевича, где он дает теоретическое обоснование возможности перемещения против вектора времени. Я даже подчеркнула этот абзац в автореферате. Мне бы очень хотелось знать о предпосылках экспериментальной проверки этого эффекта.

Вопрос был что надо! Мы с шефом предвидели его и еще месяц тому назад заготовили шикарный ответ. О том, что у нас уже готова установка, шеф не велел даже заикаться. Это могло бы повредить защи-

те. Все бы сразу оживились, начались бы расспросы — что и как. Насилу я уговорил шефа все же перенести установку в зал защиты и скрыть ее черным покрывалом. Так, на всякий случай...

Когда девушка задала свой вопрос, шеф улыбнулся и, кивнув на установку, приложил палец к губам. Я подмигнул ему: еще бы, разве я себе враг?

Я поднялся для того, чтобы ответить на вопросы и лишний раз блеснуть эрудицией. Изрек несколько общих фраз, поблагодарил выступавших и перешел к ответу на тот вопрос. По сути, это был единственный настоящий вопрос, на который стоило отвечать.

И тут я увидел глаза девушки. Темно-медовые с золотыми искорками, внимательные и серьезные. Сэр Ланселот вскочил на коня. Дон-Кихот вонзил копье в крыло ветряной мельницы.

Не знаю, как это получилось, но я подошел к установке, сдернул покрывало и глухо сказал:

— Вот!

В зале стояла тишина. На шефа я старался не смотреть. Порыв прошел, и я понял, что сделал глупость. Но отступать было некуда. И я, точно в омут головой, кинулся в атаку:

— Мощность этой экспериментальной установки еще очень мала. Поэтому я смогу перенестись в прошлое не далее чем на несколько месяцев. Я сделаю это сейчас. Когда я исчезну, то попрошу всех оставаться на местах. И уж ни в коем случае не вставать на то место, где сейчас стоит установка... Я скоро вернусь.

Зал не дышал. А я подошел к распределительному стендсу и подключил установку. Как в полусне, я надел на лоб хрустальный обруч, снял пиджак, засучил рукава и приложил к рукам медные контакты. Потом я нажал кнопку. Последнее, что я увидел, — это был раскрытый рот профессора Валентинова. В руках профессор держал записную книжку в затейливом кожаном переплете, которую он купил в Южной Америке.

В зале было холодно и сумрачно. Я снял обруч, поставил лимб на нуль и выключил установку. Потом я огляделся. На стенах росли сказочные морозные листья. Они светились опаловым блеском. Мутные блики застыли на пустых скамьях. Высокий потолок утопал во мраке. Я подошел к дверям и потянул их на себя. Они были заперты. Вот невезение! Это могло испортить все дело. Поднимать шум бесполезно, даже рискованно. Все комнаты на ночь опечатываются. Ждать до утра? Но будут ли ждать меня те, кого я оставил... в будущем?

Интересно, сколько сейчас времени? Где-то вверху над доской должны быть часы. Мне казалось, что я различаю слабый отблеск их круглого стекла. Я начал вспоминать, где расположен выключатель. Как странно! Сколько раз я бывал в этом зале и днем и вечером, но ни разу не обратил внимания, где находится выключатель.

Я подошел к стене, прижался к ней и, вытянув руки, начал обходить зал по периметру. Наконец я нашарил выключатель. Он оказался возле самой двери. И как это я раньше не сообразил?!

Вспыхнул свет. Часы показывали двадцать семь минут пятого. До начала рабочего дня оставалось четыре часа. Если только я случайно не угодил в воскресенье. И я решил подождать. Я выключил свет, прошел в глубину зала и улегся на задней скамье. Когда утром сюда придет уборщица, она меня не заметит. Сколько раз я спал здесь!

Но тогда все было по-иному. На кафедре что-то бубнил преподаватель, вокруг были студенты. Одни записывали лекцию, другие играли в балду, третий шептались. А я спал.

Я долго вертелся на жесткой скамье. Вот досада! И почему только я не взял с собой пиджак! На мне была одна только нейлоновая рубашка с засученными рукавами. Я опустил рукава, обнял себя за плечи и попытался уснуть. Но мысли гнали сон.

Как только отопрут зал, мне нужно будет неза-

метно проскользнуть в лабораторию. До прихода товарищей и, главное, его. Я постараюсь переодеться в старый лыжный костюм, в котором обычно провожу эксперименты. Он висит в моем шкафчике, рядом с белым халатом. Хорошо еще, что бумажник с деньгами был не в пиджаке, а в брюках! Мне уже сейчас хочется есть, а что будет утром... Действительно, что будет угром?

* * *

Все случилось, как я и предполагал. Ползая под столами, мне удалось обмануть бдительность тети Кати, которая ворчала под нос, посыпая пол мокрыми опилками, и проскользнуть в коридор. За установку я не волновался. Студентов у нас приучили ничего руками не трогать, а научные сотрудники не станут вертеть незнакомый прибор. Особенно если на кожухе сделана предупредительная надпись.

Переодевшись, я стремглав понесся по лестницам вниз. Я решил перебежать на химфак. Там у меня меньше знакомых, и мне легче будет обдумать свое положение. Пробегая по коридору второго этажа, я заглянул в приоткрытую дверь читальни. Там никого не было. Я тихо прошел по ковру к подоконнику, заставленному горшками с кактусами и агавами. За окном шумел утренний город. Окутанные дымками трубы, мосты с пробегающими троллейбусами, спешащие на работу люди. И это была реальность, такая же объективная реальность, как и я сам.

Все столы в читальне были заняты. Преподаватели и аспиранты оставили свои портфели, папки, тетради, исписанные листы бумаги, авторучки. Через несколько минут они придут сюда и вернутся к прерванной работе. За одним из профессорских столов я заметил предмет, который заставил меня насторожиться. Это была записная книжка профессора Валентинова. Желтый кожаный переплет украшали цветные иероглифы древних ацтеков. В эту книжку профессор записывает все, что ему предстоит сделать назавтра. Я быстро пролистал исписанные страни-

цы. Последняя запись была сделана одиннадцатого декабря. «Значит, сегодня одиннадцатое, а запись сделана вчера», — решил я, потому что под датой было написано:

1. Позвонить Ник. Андр. по поводу Астанговой.
2. 11.30 — 13.20 — лекция на III курсе.
3. В 14.00 — Ученый совет.
4. В 17.00 — аспиранты.

Да, сегодня одиннадцатое декабря... Больше семи месяцев...

И тут мне в голову пришла великолепная мысль. Я оглянулся, не стоит ли кто в дверях, и, быстро положив записную книжку в карман, выбежал из читальни.

* * *

На химфаке царила экзаменационная суэта. Все были озабочены, торопливы, нервны. С лестниц скатывались смеющиеся орды счастливцев. Даже вахтерши были захвачены общим настроением.

— Тот и сдает, кто учит, — говорила одна из них, разматывая клубок шерсти, — моя вон и книжки на ночь под подушку кладет, и в туфельку пятак прячет, а коли не учит, то и ничего...

Передо мной, шипя, раскрылись двери лифта, и я все никак не мог сообразить, что мне делать. Двери с шумом захлопнулись. Прозвенел зуммер, и лифт, повинуясь вызову откуда-то сверху, ушел без меня. Я решил подождать начала рабочего дня и позвонить ему. А то уйдет на химфак или еще куда-нибудь.

* * *

Монета с лязгом провалилась в стальную глотку автомата. Кокетливый женский голос пропел:

— Алло-у?

Я проглотил чуть не сорвавшуюся с языка фразу: «Приветик, Раечка, это я, Виктор».

— Алло-у?

— Виктора Аркадьевича, пожалуйста, — сказал я, облизывая пересохшие губы.

Трубку положили на стекло письменного стола. Я слышал характерный звук. И вообще я знаю, куда они кладут трубку. Стало тихо. Лишь время от времени доносились приглушенные расстоянием разговоры. Но вот послышались шаги. Мужчина шел широко и уверенно. Мне было приятно узнать, что у него такой шаг. Да это, немножко не поспевая за мужчиной, семенили каблучки-гвоздики. Я напряг слух.

— Если бы я не знала, что вы здесь, Виктор Аркадьевич, — откуда-то издалека, с другой планеты долетало Раечкино сопрано, — я бы решила, что меня разыгрывают. Ну в точности ваш голос!

— Я слушаю, — трубку взял мужчина.

Вот те и на!

Голос его мне был незнаком и неприятен. Но я вспомнил, как звучит мой собственный голос в магнитофонной записи, и успокоился. Свой голос трудно узнать. К нему нужно долго привыкать.

— Виктор Аркадьевич, — сказал я в трубку, стараясь дышать глубоко и спокойно, — не перебивайте меня и старайтесь отвечать короче. Главное, не удивляйтесь и не возмущайтесь... У меня очень важное дело, и никто, кроме нас с вами, не должен об этом знать. Вы меня понимаете?

— Нет. Кто это говорит?

— Виктор Аркадьевич, вы планируете эксперимент по движению микросистемы против вектора времени? — Я пошел в банк.

— Кто это говорит?!

— Успокойтесь, пожалуйста. Нам нужно встретиться, и вы все поймете. Я вам все объясню...

Наверное, он принимает меня за шантажиста или шпиона.

— Почему вы не хотите назвать себя? — В его голосе звучало нескрываемое раздражение.

— Вы меня не знаете. Совсем не знаете! Я случайно проведал о ваших планах... совершенно слу-

чайно. Я работаю над той же проблемой, что и вы. Но... я попал в беду. У меня неудача. Мне нужна ваша помощь.

Дыхание в трубке участилось. Я мысленно ликовал. Кажется, клюнуло! Впрочем, я действовал на-верняка. Ведь я знал его, как... можно знать себя.

— Вы не находите, что все это несколько странно? — наконец сказал он.

— Ничуть. Все абсолютно нормально. Я прошу вас только о встрече. Ни о чем больше. Будь вы девушкой, наш разговор был бы естествен: он просит, она ломается... Но вы не девушка и не можете мне отказать. Не имеете права наконец!

— Почему вы так думаете?

Я не ожидал от него такого дурацкого вопроса.

— Почему я так думаю? — переспросил я. — Да хотя бы потому, что «я знал ее, как можно знать себя, я ждал ее, как можно ждать любя». Это я о вас!

— Хорошо! Давайте встретимся, где вам удобно... Как мы узнаем друг друга?

— О, не беспокойтесь! Мы узнаем друг друга в любой толпе в первую же секунду.

Я тут же осекся. Незачем переигрывать. Он этого не любит. Но было уже поздно.

— Что вы хотите этим сказать? — опять в его голосе появилось недоверие.

Есть синий вечер, он напомнит,
Не даст забыть, не даст уйти:
Вот так рабу в каменоломне
Цепь ограничила пути.

Я процитировал строфиу стихотворения, которое он написал еще студентом и никогда никому не показывал.

Трубка молчала.

— Итак, где и во сколько? — наконец спросил он.

Вот молодчина! А я и не знал, что он такой молодчина... Он сейчас очень волнуется, я это знаю, но какой спокойный голос! Какой бесстрастный!

— Вечер у вас свободен?

— Только до семи часов.

Интересно, куда он собирается?.. Наверное, что-нибудь важное. Иначе он бы забросил для меня все дела. Я-то знаю! Он любопытен до невозможности.

— А если сразу же после работы? У вас дома...
Мама куда-нибудь уходит?

Я хотел сказать «ваша мама», но не смог и сказал просто: «мама».

— Приходите в пять часов. Вы, надеюсь, знаете, где я живу?

— Да, знаю.

— Я почему-то так и подумал. Итак, в пять?

— Да, в пять. Спасибо. До свидания! Вы молодчина!

* * *

Мы оба, он и я, все еще не можем прийти в себя. Я смотрю на свою квартиру, оглядываю каждую вещь. Все здесь интересует меня. Обои и картины, которые написаны мной, мои книги и скульптура, выполненная моим другом. Как на величайшее чудо, смотрю я на мамину швейную машину, накрытую кружевной салфеткой, и на телевизор, на котором развалился, закрыв экран пушистым хвостом, мой старый рыжий кот. Я почти не нахожу здесь перемен. Может быть, потому, что я покинул эту квартиру только вчера? Но ведь вчера она была на семь месяцев старше, чем та, в которой я очутился сегодня!

Ничто не поразило меня больше, чем моя квартира. Может быть, потому, что в ней был он? Он? Я говорю «он», как будто бы это другой отдельный от меня человек... Впрочем, действительно другой и отдельный! Кто же из нас более реален, более на своем месте: он или я?

— Боюсь, что мы сейчас думаем с вами об одном и том же, — говорит он, как-то вымученно улыбаясь.

— Да, вероятно... Кстати, почему мы говорим друг другу «вы»? Ведь мы... Во всяком случае, мы ближе, чем самые кровные близнецы.

— Да, черт возьми! Я никак не сформулирую... Вертится на языке и не дается! Минуточку... Мы

с вами... Мы с тобой одно и то же лицо при условии движения во времени. Но одновременно мы можем существовать лишь раздельно! Улавливаешь суть?

— И это ты говоришь мне? Яйца собираются учить курицу?

— Та-та-та! Мы, кажется, хорохоримся? — В его глазах плещутся веселые чертики. — Идею о переносе в прошлое разработал я, а ты ее только претворил в жизнь.

Я даже сел от такой наглости. Но, подумав好好енько, я нашел в его мысли известный резон. Более того, я даже придумал, как обратить против него его же оружие. Он хотел еще что-то сказать, но я опередил его:

— Стоп, старина! Стоп! Так не годится. — Я подавил рождающуюся у него во рту фразу. — Нужно стрелять по очереди... Я принимаю ваш выстрел, поручик. Будем считать, что пуля сорвала мой эполет. Теперь мой черед. Да знаете ли вы, самовлюбленный мальчишка, что идея принадлежит не вам? Да, да, не машите руками! Я принимаю ваши возражения без прений. Она не моя, согласен, но и не ваша! Она пришла в голову тому, кто младше вас на год и младше меня на девятнадцать месяцев... Что, съел? Один ноль в мою пользу! Вы убиты, поручик. Прими, господи, его душу; хороший был человек.

Он рассмеялся. Ну разве он не молодчина? Я просто влюблуюсь в него. Эх, если бы можно было навсегда остаться так, вдвоем. Я так мечтал о брате! Но он мне не брат...

— Старость еще не очень потрепала тебя. Сметка есть! — Он похлопал меня по плечу. — Великолепная мысль! Не худо бы ее развить... Где осталась установка?

— В зале, на факультете. А что?

— Я мыслил ее с углом инверсии в четыре сотых секунды. Как ты ее сделал?

— У меня, то есть у тебя, в расчеты вкрадась ошибка. Не совсем точно раскрыта неопределенность — бесконечность на бесконечность.

— Почему не точно? По правилу Лопиталя!

— Оно здесь неприменимо. Я использовал метод Ферштмана. Получился угол в пятьдесят две тысячиных.

— Но это все равно... установка на одного человека. Жаль!

— Что жаль?

— Если бы мы могли отправиться на год назад вдвоем... Мы попали бы в тот момент, когда ко мне, то есть к нему, вернее во всем нам, пришла эта идея! Каково?

— Здорово! Великолепная мысль. Нас бы стало трое! Три мушкетера!

— Вернее: бог-сын, бог-отец и бог-дух святой! Трое в одном лице.

— А с тобой неплохо работать! — Я жадно всматривался в его лицо, пытался уловить те необратимые изменения, которые принесло мне время.

— С тобой тоже хорошо, — в его голосе я почувствовал нотку нежности. Он тоже пристально рассматривал меня. Еще бы! Ему предстояло стать таким через семь месяцев. Кому не интересно?..

Мы замолчали. Я не думал, что эта встреча так потрясет меня. Я представлял себе все совершенно иначе. Мне казалось, что я буду сверкающим послом из будущего, мудрым и блестящим, как фосфорическая женщина. Буду поучать, советовать, а «он» будет ахать и восхищаться, закатывать глаза и падать в обморок. А он вот какой! И это только естественно, только естественно. Действительность, как всегда, оказалась самой простой и самой ошеломляющей. Мудра, старушка природа, мудра! Что ей наши гипотезы?

— Послушай, старина, а не поесть ли нам? — Он первым нарушил молчание.

— Впервые за все время я слышу от тебя разумные слова. Что у тебя сегодня на обед, Лукулл?

— Суп с фасолью, заправленный жареной мукой с луком... Отбивная с кровью, я жарю в кипящем масле — три минуты с одной стороны и три минуты с другой. Твои вкусы, надеюсь, не изменились?

Он замолчал, как видно, припоминая.

Я проглотил слюну. Мне чертовски захотелось поесть.

— Да! — продолжал он. — Компот из сухофруктов, и я купил еще баночку морского гребешка.

— Мускул морского гребешка?! В каком соусе?! — вскричал я.

— В укропном, — несколько удивленно ответил он.

— Ты когда-нибудь уже покупал эти консервы?

— Нет. Сегодня первый раз купил в университете, чтобы попробовать. А что?

— Так... Ничего.

Я вспомнил тот день, когда впервые купил эту баночку. Я принес ее домой. Как и сейчас, мама куда-то ушла. Я обедал в одиночестве. Торопясь на свидание, я раскрывал консервы на весу. Нож соскочил, банка выпала, и белый укропный соус оказался на моих брюках.

Я искоса взглянул на его брюки — они были как новенькие, и стрелка что надо! Мои за эти семь месяцев уже немножко износились, а над левым коленом можно было разглядеть слабое пятно от консервов.

«Ничего, сейчас у него будет такое же, — подумал я злорадно. — Кажется, он тоже собирается вскрыть баночку на весу».

И тут я подумал: может быть, имеет смысл активно вмешаться в человеческую историю и хоть в чем-то улучшить ее? Но, по зрелому размышлению, я решил, что, пожалуй, не стоит. Это был бы весьма безответственный акт, допустимый лишь в научно-фантастическом романе. Нельзя вмешиваться в процесс, если последствия такого вмешательства тебе неизвестны.

По сему быть пятну на штанах у чистюли!

— У! Вот собака! — прошептал он, ловя на коленях раскрытую банку с нежным, имеющим вкус крабов мускулом морского гребешка.

Кажется, я тогда выругался так же.

Кот раскрыл левый глаз, но, не обнаружив собаки, вновь превратил его в косую щелочку.

Мы все-таки попробовали гребешок. Он съел свою долю перед супом, а я вместе с гарниром, после того как уничтожил отбивную. Потом мы разложили диван-кровать и растянулись во всю его ширь, не снимая ботинок, чтобы всласть покурить. Привычки у нас были одинаковые. Оказывается, я не меняюсь.

Я с наслаждением пускал кольца. Мы молчали. Я заметил, что он несколько раз украдкой смотрит на часы.

— Ты сказал, что свободен только до семи, куда ты идешь? Если не секрет, конечно.

— Секрет? От тебя?

— Ты не учишь памяти. Человеку свойственно забывать. Забыть же все равно, что не знать. Поэтому, если секрет...

— Ерунда! У меня свидание с Ирой. На Калужской, возле автомата.

— С Ирой?!

— Ты разве с ней незнаком? Это было бы оригинально... Ну, как она там... в будущем, не подурнела? Или вы с ней...

За его деланной шуткой чувствовалось беспокойство. Оно-то и помогло мне окончательно вспомнить, какой сегодня день.

И числовая абстракция — одиннадцатое декабря, наполнилась для меня грустным смыслом памяти сердца.

* * *

Я ждал тогда Иру около автоматов. Люди входили в кабины и выходили. Назначали друг другу свидания, смеялись, уговаривали, просили. Пар от дыхания, пронизанный светом фонарей, был рыжим и чуть-чуть радужным. Большим янтарным глазом, не мигая, смотрел на меня циферблат. Она опаздывала на три минуты. Минутная стрелка долго оставалась недвижимой, потом внезапно прыгала. И в резонанс с ней что-то прыгало в сердце.

Я увидел ее издали, когда она переходила улицу. Она спешила. Вокруг ее меховых ботинок кружились маленькие метели. В глазах ее горели огоньки. Но я не верил им. Она была холодная, как морозная пыль на лисьем воротнике. Высокая и очень красивая.

Далекая она была, далекая.

Это-то и подстегнуло меня сказать ей все. Я чувствовал, что она не любит меня, но не хотел, не мог этому верить. Гнал от себя. И торопил события. Я нравился ей, она со мной не скучала. Так нужно было и продолжать. Шутить и не бледнеть от любви. Будь я к ней более холоден, более небрежен, как знать, что могло тогда выйти. Она привыкла ко всем общему преклонению и шла от одной победы к другой. Любопытная и неразбуженная.

А ей хотелось не властвовать, а почувствовать чужую власть, испытать нежную покорность перед чужим спокойствием и уверенной силой.

Я понимал это, но ничего не мог сделать. Я был влюблён и потому безоружен. Она не могла не победить. Это была неравная битва.

Тот день был моим Ватерлоо.

Я сказал ей все.

Что она могла мне ответить? Что предложить? Дружбу?

Она понимала, что я не из таких, кто склоняется перед победителем и становится его рабом. Может быть, ей и хотелось удержать меня около себя на роли отвергнутого вздохателя, но она понимала, что из этого ничего не выйдет.

Она не предложила мне дружбу, не сказала, что «не знает» своих чувств ко мне, что ей нужно «расобраться». Она была молоц.

Вызов брошен, и на него нужно отвечать. Может быть, она и сожалела, что я поторопился. Не знаю. Только она сказала:

— Нет.

— Я всегда рада буду тебя видеть, всегда, — еще сказала она.

Я понял, что все кончено. Я не приходил к ней больше и не звонил. И она не звонила.
Расстались мы у Крымского моста.

* * *

И теперь, через какой-нибудь час все это предстояло пережить ему. Всё! Начиная от ее опоздания на пять минут до «нет» у Крымского моста. И мне до боли стало жаль его, до слез. Только сейчас я ощутил, что он это я, но еще чего-то не знающий, чего-то не понявший, не совершивший какой-то ошибки. Мне очень захотелось оградить его от предстоящей боли, предостеречь его, вооружить моим опытом. Это было очень сложное чувство.

И еще мне очень хотелось встретиться с ней, с прежней, не осознавшей крушения наших встреч. Сейчас бы я выиграл битву. Все было бы совершенно иначе. Она бы мучилась ревностью и сомнением, она бы обвиняла меня в бесчувствии. Я бы заставил ее полюбить.

А может быть, все это мне только казалось?

Может быть, не в моей власти было что-то изменить?

— Я пойду на свидание вместо тебя!

— Зачем? — Лицо его померкло и стало холодным.

— Ты же не знаешь, что тебе предстоит сегодня! Ты не знаешь ни ее, ни себя! Пусти меня! Только сегодня... И я исчезну. Ты будешь мне благодарен. Пусть у тебя все будет иначе! Не как у меня!

— Нет. Я не хочу знать, как было у тебя.

— Ты же не знаешь, ничего не знаешь! Сегодняшняя встреча непоправима... Я знаю и скажу тебе.

— Нет, не нужно!

— Ты не понял меня! Я не пойду вместо тебя, ладно. Но ты должен вести себя по-другому, не так, как я тогда. Лучше не ходи совсем. Подожди, пока она сама тебе позвонит. Она позвонит.

— Я не хочу тебя слушать! Понимаешь? Не хочу!

— Но почему? Я же хочу открыть тебе глаза. Не ради себя, ради тебя!

— Не нужно! — глухо сказал он.

Я заглянул в его глаза и понял: он знал все и все понимал озарением любящего сердца, как и я когда-то. Знал, но не хотел верить, как и я когда-то. И ничего не мог изменить, как и я когда-то. Он пойдет на свидание и скажет ей все. Я понял это. Когда-то такой мысленный диалог был у меня с самим собой. Он сейчас говорит об этом со мной. Какая разница?

С детской колыбели человек хочет все делать сам. Делать и испытывать, ошибаться и вставать, потирая синяки. И это хорошо.

— Пожалуй, мне лучше будет вернуться?

— Да, пожалуй... Мы еще встретимся?

Я засмеялся.

— Ты всегда будешь во мне. А я... я всегда буду ускользать от тебя. Твоя жизнь — это погоня за мной. Мы сдвинуты по фазе.

— Я исчезну, когда ты вернешься в свое время?

— Нет, мы просто сольемся в неуловимом миге, имя которому настоящее. Оно скользящая точка на прямой из прошлого в будущее. Попрощаемся?

— Я провожу тебя. До университета.

— Хорошо.

* * *

Я не отпускаю его руку и долго смотрю ему в глаза. Наше прошлое помогает нам узнать себя. Это очень важно.

— Ну, прощай? — говорю я.

— До свидания, — улыбается он, — ты всегда будешь возвращаться ко мне. Мы обязательно встретимся, когда ты снова полюбишь.

— До свидания, — соглашаюсь я.

Мне грустно. Я нагибаюсь, собираю руками нежный рассыпчатый снег, крепко сжимаю его пальцами в плотный льдистый комок. Я собираюсь запу-

стить снежок в него. Но глаза мои почему-то туманятся, и я только машу рукой.

Он тихо улыбается.

Я поворачиваюсь и отворяю массивную дверь.

* * *

Я открываю глаза и трогаю хрустальный обруч. Я оглядываю зал. Здесь ничего не изменилось! Профессор Валентинов даже не успел закрыть рта. В янтарных глазах девушки испуг и восхищение. Шеф бледен и страшен. Немая сцена. Сейчас откроется дверь, и кто-то в шлеме пожарника скажет: — «К вам едет ревизор!».

— Ну? — наконец выдавливает Валентинов.

Я, не понимая, смотрю на него.

— Мы ждем... Пожалуйста, — говорит он.

— Простите, я не совсем понимаю вас, — я еще не пришел в себя и действительно не понимаю, что он от меня хочет.

— Вы обещали нам исчезнуть...

Он улыбается. Морщины его разглаживаются. Он приходит в чувство и снова становится кавалером ордена Подвязки.

— А разве я не... Разве я не отсутствовал здесь несколько часов?

— Да нет же! — это, кажется, кричит девушка.

В ее крикке столько душевной боли. Боли за меня и еще за что-то.

— Так я не исчезал?

— Нет! — улыбается Лорд. И лучики-морщинки вокруг его глаз говорят: «Ну, пошутил и будет. Эх-хе-хе, молодо-зелено».

— Не исчезал?.. — Я снял обруч и выключил рукоильник.

Потом я подошел к Валентинову и протянул ему желтую записную книжку с ацтекским орнаментом. В руках профессора была точно такая же.

— Сравните эти две книжки, профессор. Они должны быть совершенно одинаковыми. С одной лишь разницей: последняя запись в книжке, которую я

держу в руках, сделана одиннадцатого декабря прошлого года. А сейчас июль, — и я указал на окно, где в густой синеве летал тополиный пух.

Все почему-то тоже посмотрели в окно, точно вдруг засомневались, а действительно ли сейчас июль, а не декабрь.

— Кроме того, вот! — Я достал из кармана крепкий, смерзшийся снежок и с удовольствием запустил им в линолеумную доску, сверху донизу исписанную формулами.

Снежок попал точно в середину и прилип.

ДО СВИДАНИЯ, МАРСИАНИ!

Сначала он глядел в щель между досками; затем, подпрыгнув, уцепился за их острия, подтянулся и уселся на поперечной планке забора. Была ночь; последние остатки вечерней, подсвеченной белизны ушли с неба за горизонт. Мальчик закрывал глаза — дорога вытягивалась перед ним, как взлетная полоса, зеленел лес; открывал — все уходило во мрак. И лишь в одном месте притихшего мира было светло. Дом стоял на горе, а где-то далеко внизу, там, где пересекались лес, небо и узкая тропинка, горел огонь. Большое желтое пламя, окруженное темнотой, как краями чаши, рвалось вверх и в стороны; дым клубился в пустом пространстве над ним.

Мальчик оглянулся. Смутно, расплывчато дом все же был виден, и это вселяло в мальчика чувство безопасности. Послышался гул мотора: в небе пролетел самолет. Мальчик напряженно следил за далеким огнем; стараясь не шуметь, спрыгнул с забора.

Дом был крайним в поселке, и дорога сразу пошла вниз. Дорожная пыль, холодная сверху, чуть глубже хранила дневное тепло. Это открытие понравилось мальчику; некоторое время он шел, закапывая ноги поглубже, потом внезапно опомнился. Он ушел

далеко и, оглянувшись, не увидел ни вершины холма, ни своего дома, ни остальных более высоких домов. Огонь впереди тоже исчез, другой холм заслонил его. Мальчик остановился. Он видел небо со всеми маленькими звездочками, такое чистое, будто бы даже немного влажное и глянцевитое, как только что полученная переводная картинка. Он вспомнил вдруг тусклое стеклянное небо большого города и, не колеблясь, двинулся дальше, поглядывая вверх, стараясь отыскать Марс. Чувство безопасности вернулось к нему, и ему стало весело.

Жара еще не было, но уже сильно пахло сухим дымом; и он ждал, что вот-вот за темными спинами деревьев покажется догорающий факел. Он устал от долгих подъемов и спусков, от страшного ночного леса, от мощных мохнатых еловых лап, то и дело закрывающих небо, от острых сучков и низких веток, от колючих кустов и горбатых корней. Капли пота падали с его лица за открытый ворот рубашки.

Держась рукой за теплый ствол дерева, мальчик стоял у края поляны. На самой ее середине покачивался шар высотой с трехэтажный дом. От него шло сияние. Кусты по краям поляны дымились, и ветви на деревьях со стороны, повернутой к шару, обуглились, но огня уже не было.

— Межпланетный корабль может даже сгореть в атмосфере, — сказал сам себе мальчик.

Шар остывал быстро. Когда мальчик глядел на все это с холма, издали он видел бесформенный оранжевый клубок; пока дошел, шар стал бледно-розовым, и цвет его продолжал меняться. Совсем недавно мальчик был с экскурсией на заводе; вот точно так же стыли в кузнечном цехе куски металла, вынутые из печи. Обшивка шара бледнела, по ней, сливаясь, бежали сизые полосы. Розовый свет померк, стало темно. Шар был, наверное, уже совсем холодный. Внезапно на вершине его вспыхнул прожектор, и луч, ярче любого земного, но совсем не режущий глаз, начал двигаться, подобно гигантскому радиусу. Он при-

ближался, но мальчик не отходил и не отошел даже тогда, когда луч уперся в него. В боковой части шара появилась щель; она быстро увеличивалась, и мальчик понял, что это открывается дверь. Отверстие осветилось изнутри, оттуда показалась дорожка и, легко разворачиваясь, достигла Земли.

— А у нас трап подкатывают. — Мальчик подошел ближе и коснулся края дорожки. Как будто бы не она только что разворачивалась — такую твердость ощутила рука.

Свет в отверстии усилился, и показался ОН. Он медленно спускался по своему отвесному трапу. Фигура его, подобно человеческой, была вытянута вертикально, и две руки, подобные человеческим, висели по обе стороны фигуры. Но лицо его мальчику не понравилось. Оно все было в буграх и складках и не походило на человечьи лица. Он дошел до края дорожки и остановился, подумал, как бы вслушиваясь, прежде чем ступить на Землю, затем откинул маску с лица...

— Поздравляю с благополучным прибытием. — Мальчик дружески улыбнулся. — Я знаю, почему у вас такой некрасивый скафандр. Я недавно читал книгу о летучих мышах — у них такие же складки. Это для того, чтобы можно было ориентироваться в темноте с помощью ультразвука...

Незнакомец молчал, глядя на мальчика. У него были большие глаза — раза в два больше человеческих; взгляд их был приятен.

— Откуда вы?

Мальчик достал из кармана смятую, замусоленную карту звездного неба. Едва взглянув на нее, приселец поднял руку, и в ладони его, как у фокусника, оказался какой-то предмет, который он подал мальчику. Это была объемная модель солнечной системы. Непонятно, как все держалось внутри прозрачной оболочки, но там светило Солнце, и планеты кружились вокруг него по орбитам. Мальчик нашел орбиту Земли и удивился мощности далеких телескопов, разглядевших на маленьком шарике знакомые очертания океанов, материков и даже выступы больших

городов. Тонкий, длинный палец пришельца указал на планету Марс.

— Вы марсианин! — обрадовался мальчик. — Я почему-то так и думал. Ну, здравствуйте и давайте знакомиться! Я Саша, житель Земли. — Он показал на себя.

— У, — сказал марсианин, делая то же самое.

Мальчик протянул руку, марсианин — свою. Сильное его пожатие не причинило боли мальчику.

— Пойдемте, — мальчик потянул марсианина, — человечество должно как можно скорей узнать о вашем прибытии. Ваш корабль, наверное, видели, не могли спутать с падающей звездой. А может быть, нас уже ищут — слышите гул моторов? — но из-за деревьев сверху ничего не видно. Здесь недалеко поселок, а в нем почта, телеграф и много разных людей...

Он вытащил огрызок карандаша, написал на обороте своей звездной карты: «Не трогать до прибытия Академии наук» — и нацепил записку на колючку ближнего куста. Потом он в последний раз взглянул на поляну — место самого значительного события своей жизни, темные деревья расступились: он увидел все большие города мира и толпы бегущих людей...

Марсианин взмахнул рукой: дорожка, свернувшись, исчезла в отверстии, закрылась дверь, свет в вершине шара погас.

— Мы скоро вернёмся сюда. — Мальчик двинулся, и марсианин пошел за ним. Мысли в голове мальчика бежали, обгоняя одна другую.

— Я мчался сюда, не разбирая дороги, и мне было все равно, поцарапаюсь я или нет, но теперь мы обойдем всю поляну, пока не отыщем тропинку, чтобы ни одна ветка не коснулась тебя. Ведь ты гость Земли. О, как я люблю тебя, марсианин! Как ждал я тебя и верил, что вы уже когда-то были у нас, но, не встретив близких по разуму, улетели! И вот ты опять здесь. Ты совсем не злой, ты добрый, марсианин. Ты не будешь ничего разрушать у нас и завоевывать тоже не будешь: ведь ты человек с высоким развитием. Как я ждал тебя, марсианин! И если бы

ты не прилетел сюда, я бы сам нашел дорогу к тебе. Через десять, пятнадцать, двадцать лет я был бы у вас. А возможно, мы еще полетим вместе — куда-нибудь в другую галактику.

Они шли по тропинке; отодвигая ветви, мальчик все время придерживал их; смотрел, чтобы марсианин не споткнулся о переплетения корней. Уже начинало светать, блестела роса, пели птицы, из лесных оврагов поднимался туман, и мальчик поглядывал на марсианина, желая узнать, как ему нравятся цвета, запахи, звуки Земли.

Над лесной опушкой висели три вертолета. Едва только мальчик и марсианин вышли на открытое место, вертолеты начали снижаться, полетели веревочные лестницы, люди, военные и штатские, полезли вниз. Самым первым спускался человек в черной шапочке академика; большая седая борода его металась по ветру. Схватив марсианина за руку, мальчик побежал навстречу.

— Марсианин! — Он подвел своего спутника и отступил назад.

Академик приподнял шапочку, военные взяли под козырек, защелкали фотоаппараты.

— Его шар там, в лесу, — сказал мальчик, — я еще ночью увидел зарево...

— Молодец! — Академик вытащил большой блокнот с золотыми буквами. — Фамилия, имя, адрес? Я сообщу во все газеты. Завтра же мы будем здесь с большой экспедицией, я тебя вызову телеграммой. Ну, отходи теперь...

Он показал марсианину на лестницу. Марсианин кивнул и полез в кабину. Академик следовал за ним. Остальные разбежались по своим машинам. Винты вертолетов завертелись сильней; по траве пошла рябь. Мальчик поднял голову.

— До свидания, марсианин! Я жду тебя! До свидания!..

Вертолеты шли прямо к поднимающемуся красному Солнцу; оно становилось все больше и больше, как в окне космического корабля, и огненные спирали наматывались на винты вертолетов.

Спасательная экспедиция собралась быстро. Шесть взрослых мужчин двинулись по дороге к лесу, чтобы разойтись на опушке в поисках мальчика. День был ясен, небо чисто, по дороге, пыля, шли одна за другой машины с грузами... Долго им искать не пришлось: они увидели мальчика в самом начале леса. Он спал в тени куста; высокие травинки раскачивались над бледным, незагорелым лицом городского жителя. Ноги его, вылезавшие из коротких штанишек, были сплошь исцарапаны; легкие сандалии перепачканы золой. Он дышал неровно, вздрагивал и загребал руками. Доктор наклонился, прислушался, выпрямился.

— Ничего. Он просто спит.

Мужчины — все в высоких резиновых сапогах — стояли вокруг серьезно, неподвижно. Они не знали, будить ли мальчишку и тут же задать ему радостную встрепку или посидеть, подождать, покурить.

— Не понимаю, не понимаю! — Отец все еще был растерян, но способность рассуждать уже возвращалась к нему. — Беру отпуск, приезжаю с ним сюда, и на третью же ночь он убегает из дома. Куда, зачем?..

— Мальчишка! — Доктор пожал плечами. — Может быть, пожар его привлек? Ночью сгорела копна сена на лесной поляне. Пока дошел туда, пока обратно. Правда, там быстро все погасили.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>К. Андреев. Бег времени</i>	3
<i>Е. Парнов, М. Емцев. Уравнение с Бледного Нептуна</i>	21
<i>Е. Войскунский, И. Лукодьянов. Черный столб . . .</i>	69
<i>В. Крапивин. Я иду встречать брата</i>	188
<i>Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. О странствующих и путешествующих</i>	221
<i>А. Днепров. Когда задают вопросы...</i>	233
<i>И. Варшавский. В космосе</i>	248
<i>И. Варшавский. Биотоки, биотоки...</i>	272
<i>И. Варшавский. Дневник</i>	275
<i>Глеб Анфилов. ЭРЭМ</i>	279
<i>Анатолий Глебов. Золотой дождь</i>	284
<i>А. Полещук. Тайна Гомера</i>	319
<i>Владимир Григорьев. А могла бы и быть</i>	332
<i>Е. Парнов, М. Емцев. Снежок</i>	339
<i>Р. Яров. До свидания, марсианин!</i>	360

ФАНТАСТИКА. 1963 год. М., «Молодая гвардия».

1963.

368 с.

На обороте тит. л. сост. *К. Андреев*

Р2

Ф22

Редактор *Б. Клюева*

Художник *В. Нагаев*

Худож. редактор *Н. Печникова*

Техн. редактор *А. Бугрова*

А07231. Подп. к печ. 5/XI 1963 г. Бум. 84×108¹/32.
Печ. л. 11,5(18,86). Уч.-изд. л. 17,5. Тираж 75 000 экз.
Заказ 1377. Цена 68 коп.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая
гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.

68 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ